



Les Grands-Croix Commandeurs
Chevaliers du Sérénissime des
Cocus réunis en grand sous la
présidence du vénérable
de l'Ordre, S E D' ont

comme à l'imp Alexandre
Pouchkine grand Maître
historiographe de
l'Ordre

Les pétuel Cte J Borck
A. B. Наумов

ПОСМЕРТНО
ПОДСУДИМЫЙ

А. В. Наумов

ПОСМЕРТНО ПОДСУДИМЫЙ

**Москва
1992**

67.3
Н 34

Редактор Т. С. ПАРФЕНОВА

Наумов А. В.

Н 34 **Посмертно подсудимый.** М.: Российское право, Вердикт, 1992. — 336 с.

ISBN 5-7260-0449-3

В книге рассматриваются материалы следствия и суда по делу о последней и трагической дуэли Пушкина, не подвергавшиеся еще специальному исследованию ни литературоведа, ни юриста. Это — протоколы допросов Дантеса, Данзаса и Вяземского и документы, проливающие свет на причины и обстоятельства роковой дуэли. Выясняются пробелы следствия и суда (в частности обсуждавшийся при этом вопрос о допросе Н. Н. Пушкиной), правомерность вынесения всем подсудимым смертного приговора.

Особое место занимают в работе вопросы тайного и гласного надзора за поэтом со стороны полиции и жандармерии.

Для широкого круга читателей.

Н 1203010000-157
012(01)-91 КБ-4-93-1992

67.3

ISBN 5-7260-0449-3

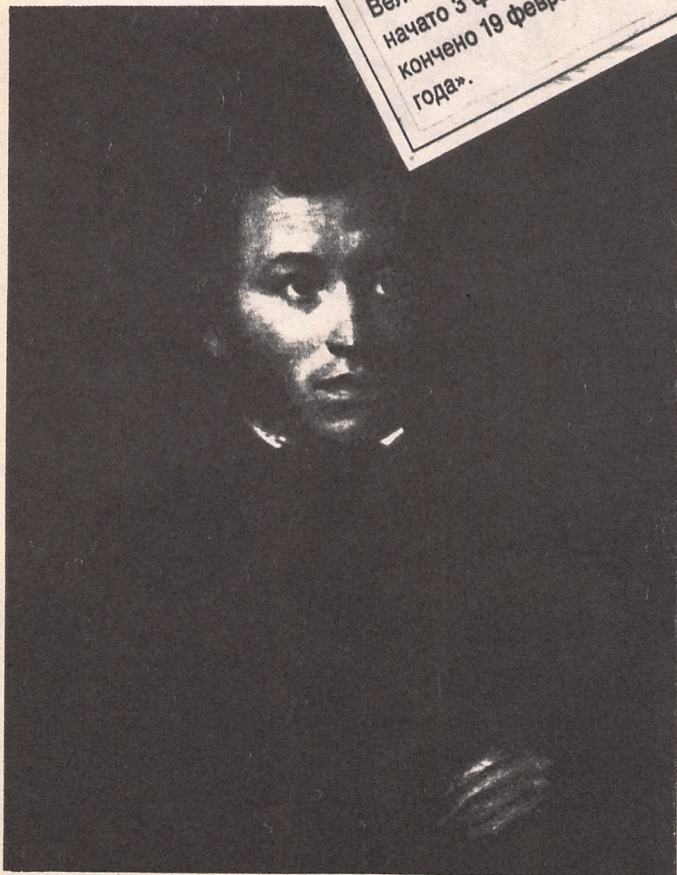
© Наумов А. В., 1992

© Издательство «Российское право», 1992

© МП «Вердикт», 1992

Качество печати иллюстраций обусловлено качеством оригиналов.

«Военно-судное дело,
произведенное в
комиссии военного суда,
учрежденной при
Лейб Гвардии Конном
полку над ... Камергером
Двора
Его Императорского
Величества Пушкиным ...
начато 3 февраля,
кончено 19 февраля 1837
года».

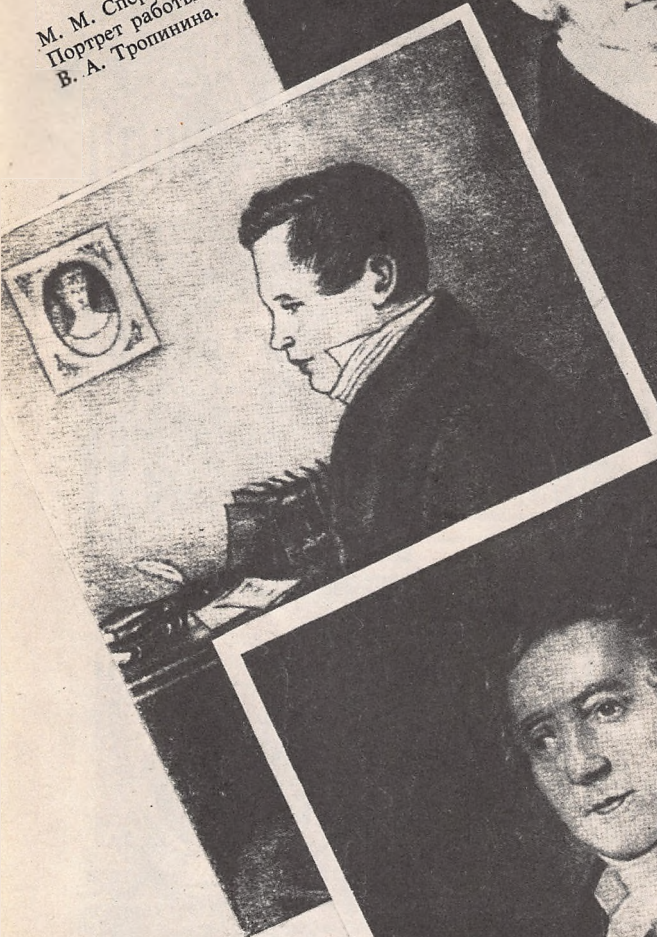


А. С. Пушкин. 1837. Неизвестный художник (К. П. Брюллов?).



Лицей. Рисунок А. С. Пушкина. 1829.
Свидетельство об окончании Пушкиным Лицея.
Портреты первых российских министров (среди них портреты
Г. Р. Державина, В. П. Кочубея и Н. С. Мордвинова).

М. М. Сперанский.
Портрет работы
В. А. Тропинина.



И. И. Пушкин.

И. И. Дмитриев.
Портрет работы
В. А. Тропинина.

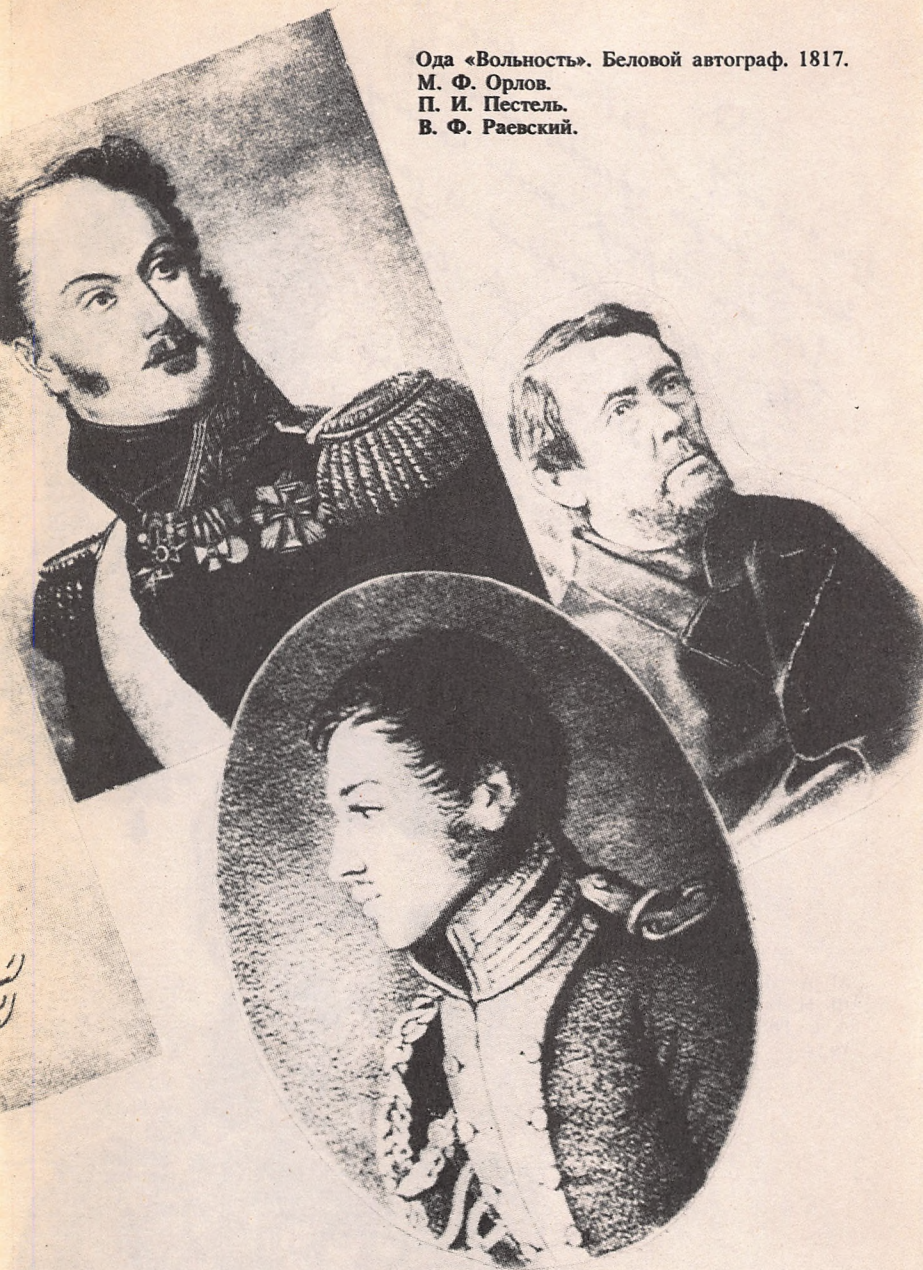


Ваше письмо
счастье

Очень, конечно, приятно,
что вы писали мне!
Пожалуйста, напишите мне,
как вы себя чувствуете,
и когда вы сможете
приехать в Москву.

Очень рада узнать,
что вы все еще живы
и здоровы. Желаю вам
успехов во всем.
С любовью,
Ваша мать,
Анна Ивановна.

Ода «Вольность». Беловой автограф. 1817.
М. Ф. Орлов.
П. И. Пестель.
В. Ф. Раевский.



XX

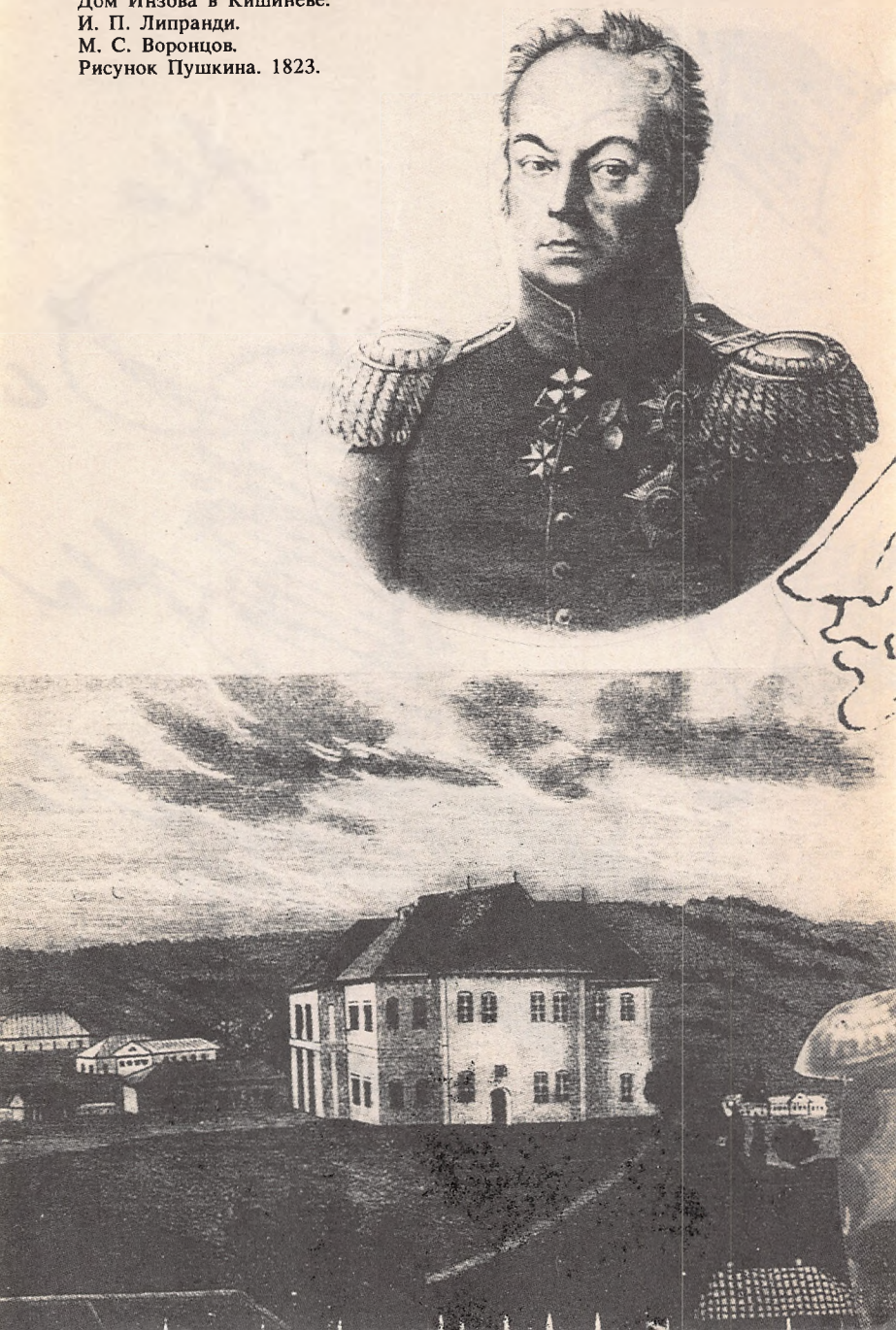
Все монарх... Обшир владык
Идеи мир спеку по корабль
Звои вой соруж востит владык.
На войи соруж востит владык.
Все судит - мурман, убожен
Ураис недоблесид онд;
В музюмации востит владык
Радикальн; рожит на в
Мобил мурман
Убожен мурман
И мурман
Гам
И



М. А. Милорадович.
Ф. Н. Глинка.
А. С. Пушкин. Автопортрет.
1821.



И. Н. Инзов.
Дом Инзова в Кишиневе.
И. П. Липранди.
М. С. Воронцов.
Рисунок Пушкина. 1823.



Handwritten text at the top of the page, partially cut off.

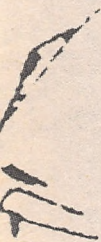
We refer

to the

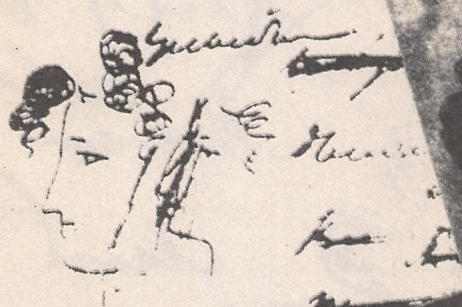
of the

of the

of the



А. Н. Пешуров.
И. Ф. Паскевич.
К. В. Нессельроде.
Обязательство
А. С. Пушкина о срочном
выезде из Одессы
в Псков.





№ 46 979

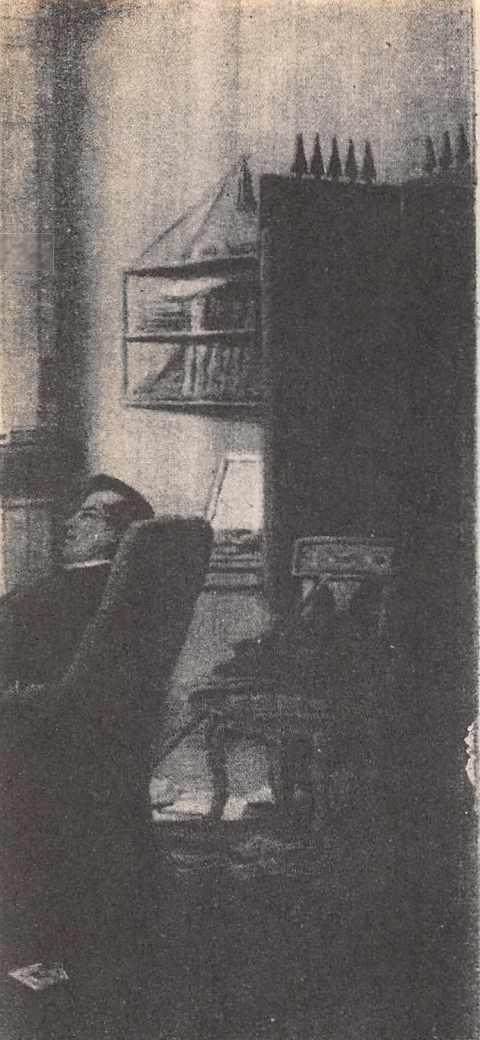
№ 210

5



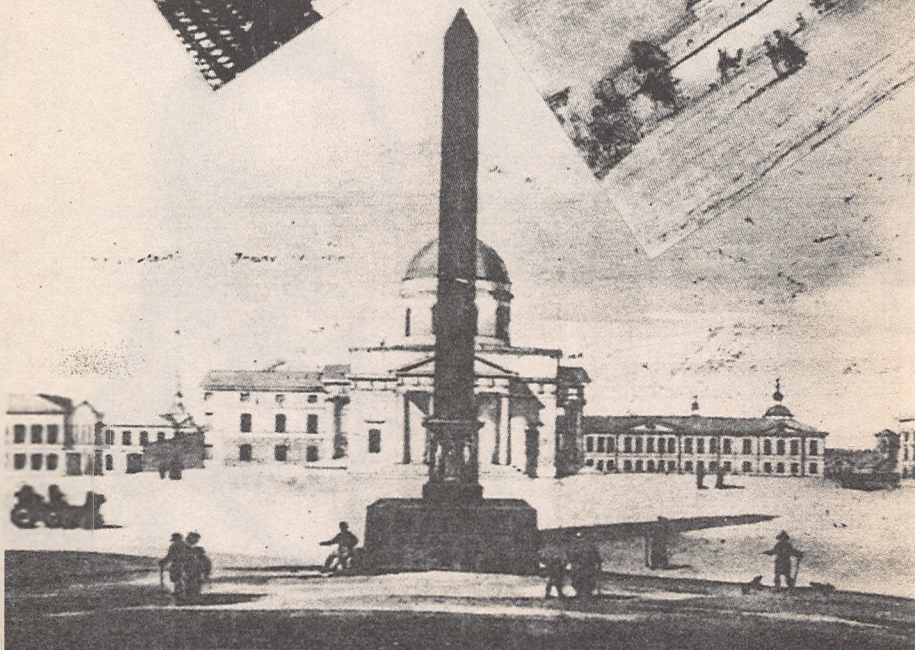
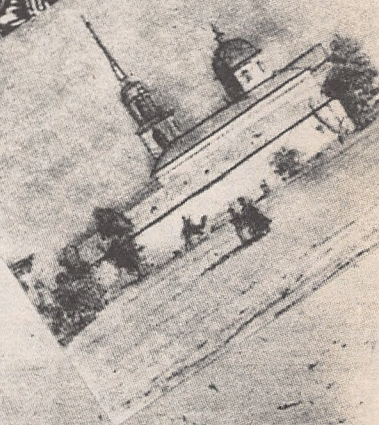
Купондоминимия Сунт одыста
батмиде позануаруу онд Тун
Оглекуро Градонорантиниа Аларупп
дефт замедкеини компасуфта ифт
Одесеу де Арекомы табнарелуст де
Грегориани Топозс Тираобт, кекома
Каблукатиде сундиде ке нунма по
болуу опрусеуды, а не спубетерине
де Тираобт деуфта Арекуу де
Тун Градонорануу Грегориануу
Оглекуро 29. юни 1924

Купондоминимия Сунт одыста
Аларупп



Пушин в гостях у Пушкина
в Михайловском.
Картина Н. Н. Ге.
А. А. Дельвиг.
«Литературная газета»,
издававшаяся А. А. Дельвигом
при активном участии
Пушкина.





Копия с оригинала. Копия с оригинала. Улица Иоанна. Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала.
Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала.
Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала. Копия с оригинала.



М. П. Бутурлин.
Нижегородский кремль
(первая половина XIX в.).
Оренбург (XIX в.).
В. А. Перовский.



СОВРЕМЕННИКЪ,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1856.



СОВРЕМЕННИКЪ,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1856.



А. Н. Оленин.

«Современник» — журнал, издававшийся Пушкиным.

П. А. Плетнев.

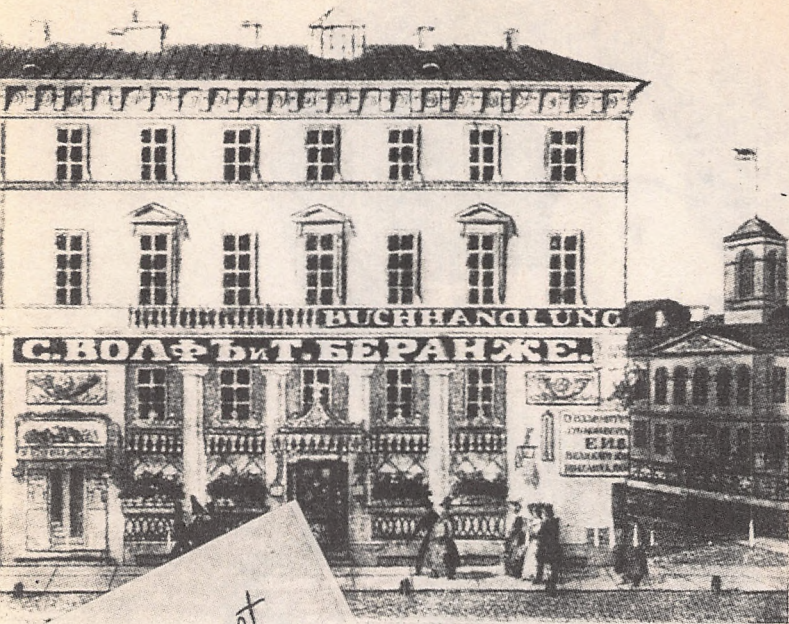
А. С. Пушкин. Портрет работы И. Линева (?). 1836—1837.

Les Grands-Croix, Commandeurs et
Chevaliers du Sérénissime Ordre des
Cocus réunis en grand Chapitre sous la
présidence du vénérable grand-Maître
de l'Ordre, S. E. D. L. Naruchkine, ont
nommé à l'unanimité Mr. Alexandre
Ponichkine coadjuteur du grand Maître
de l'Ordre des Cocus et historiographe de
l'Ordre.

Le secrétaire perpétuel: C^{te} J. Morch

Анонимный пасквиль.
Дантес.
Геккерен.





... six Commandeurs et
... Sécrétissime Ordre des
... en grand Chapitre sous la
... ce du vénérable grand-Maître
... dre, S. E. D. L. Narychkine

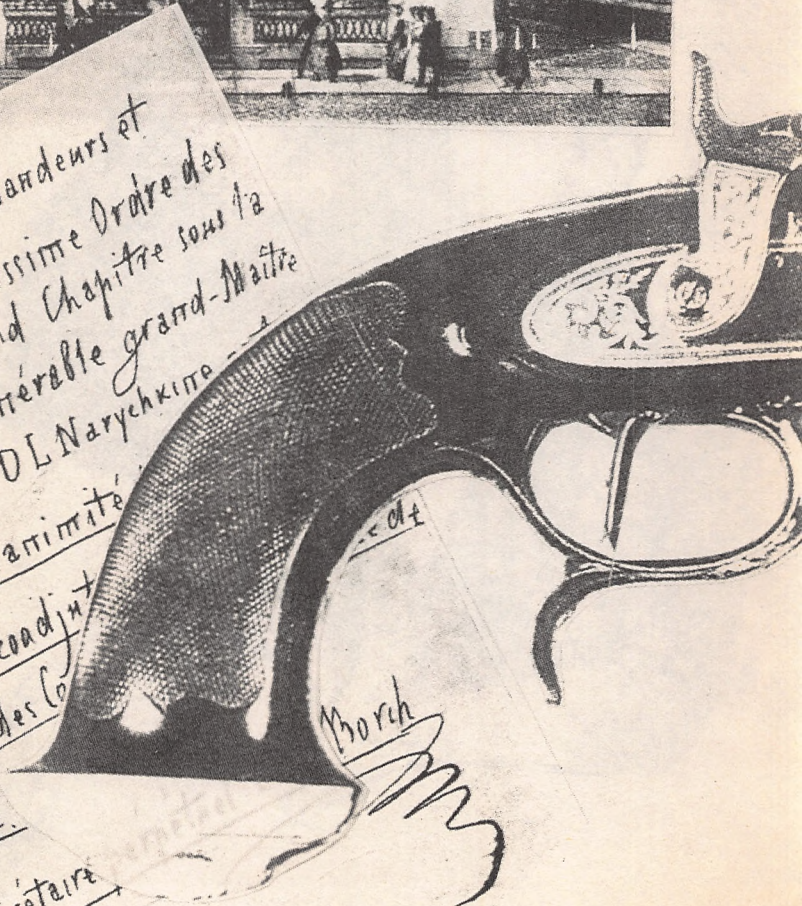
... é à l'unanimité

... chkinie coadjut
... le l'Ordre des Co

l'Ordre

Le secrétaire

Morch





Петербург. Кондитерская
Вольфа.
К. Данзас.

№ 114

28. Январ. 1837, 43
30

28 Января
1837 года
№ 231

Полицейскому Докладу, что вчера в 5-
часу по поединку сего года в саду
Заведения Коллежской Дачи, происходи-
ла дуэль, между Камергером — Юнкером —
Александром Пушкиным и Поручи-
ком Кавамугардским. Ся Вели-
чества Полка Баронам Теккероме,
первый из них ранен пулюю в ли-
вую часть бедра, а последней в —
правую руку на вылет и получил
Контузию в бедро. — Про Пушкина
при вступлении, оказавшись ему
его Превосходительством Г. лейб-
Медику Арендтом, находится в —
опасности жизни. — О сем Вашему
Превосходительству и мною гостю сообщено
Сторонний брат Пушкина Жуковский

Н. Ф.

Донесение полицейского
врача о дуэли и ранении
Пушкина.

Н. Ф. Арендт.

Один из бюллетеней
о состоянии здоровья
Пушкина, писанный Жуковским
для оповещения
многочисленных посетителей
квартиры поэта.

В. И. Даль.



Первая половина ночи беспокойна,
последняя лучше.

Ночью грозная -

щихъ припадковъ нѣтъ; но темъ
же нѣтъ, и еще и быть не можетъ

облегчения





Последняя квартира
Пушкина.
Дом Волконской на Мойке.
П. А. Вяземский.
В. А. Жуковский.
Н. Н. Пушкина.

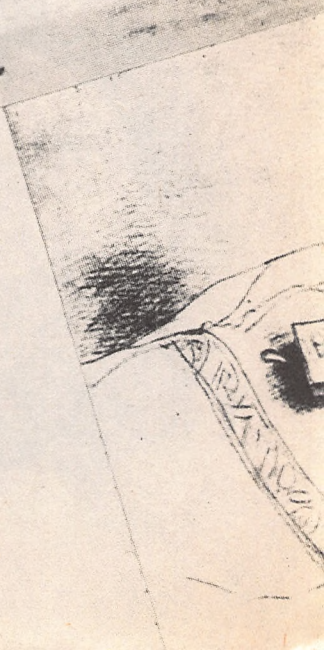






Тайный увоз тела
А. С. Пушкина.
С картины А. Наумова.

А. И. Тургенев.
Пушкин в гробу.
Рисунок Ф. Бруни. 30 января
1837 г.





«Военно-судное дело,
произведенное в
комиссии военного суда,
учрежденной при
Лейб Гвардии Конном
полку над ... Камергером
Двора
Его Императорского
Величества Пушкиным ...
начато 3 февраля,
кончено 19 февраля 1837
года».

А. В. Наумов

ПОСМЕРТНО ПОДСУДИМЫЙ

	От автора	35
I.	Под тайным и гласным надзором полиции и жандармерии	40
	Надзор тайной полиции в Петербурге	40
	Надзор в Кишиневе	52
	Пушкин и Липранди	59
	Пушкин и Каролина Собаньская	66
	Пушкин в Одессе	67
	Тройной надзор в Михайловском	78
	Пушкин и III Отделение	86
	Переписка Пушкина с Бенкендорфом	120
	Надзор полицейских литераторов	133
	Посмертный обыск	136
	Жандармы и похороны поэта	145
	Отношение министерства внутренних дел к памяти поэта	149
II.	Юридическое окружение	155
	А. П. Кунцын	155
	М. М. Сперанский	165
	Министры юстиции	172
	Лицейсты, посвятившие себя юридическому поприщу	181
III.	Посмертно подсудимый	187
	Следствие	187
	Николай I и организация процесса	187
	«А судьи кто?»	191
	Законодательные основы военно-уголовного судопроизводства	195
	Следственные действия и установление обстоятельств и причин дуэли	
	Первый допрос подсуди- мых	198

Служебные характеристики Дантеса, их приобщение к делу	209
Допрос П. А. Вяземского .	212
Нессельроде, нидерландский посланник и пушкинские письма . . .	214
Материалы военно-судного дела как источник сведений о самой дуэли . .	222
Приобщенные к делу служебные характеристики Данзаса	226
Последние допросы участников дуэли и противоречия в их показаниях . .	226
Особое мнение аудитора военно-судной комиссии. Мог ли Данзас предотвратить дуэль?	229
Бенкендорф и приобщение к делу материалов посмертного обыска в доме поэта	232
Приговор и его царская конфирмация	235
Виселица всем подсудимым	238
Вывод суда о вине посланника	246
Оценка приговора генералитетом гвардейского корпуса. Могла ли быть допрошена Наталья Николаевна?	250
Пробелы следствия и суда	256
Производство по делу в военном министерстве	260
Царское прощение Дантесу	265
Обида Дантеса на петербургское светское общество	266
«Кольчуга» Дантеса и «надувательство» с пистолетами	269
IV. Политические и правовые взгляды Пушкина	278
Эволюция государственно-правовых взглядов	278
Идеи законности и правосудия	305
Приложение	328

От автора

«Военно-судное дело, произведенное
в комиссии военного суда,
учрежденной при Лейб-Гвардии
Конном полку над... Камергером Двора
Его Императорского Величества
Пушкиным... начато 3 февраля,
кончено 19 [февраля] 1837 года».

(С обложки дела)

Читатель может заметить, что это дело, видимо, не имело отношения к великому русскому поэту А. С. Пушкину, а касалось какого-то его однофамильца. И действительно, суд начался 3 февраля 1837 г.*, когда поэт уже скончался. Далее. В деле значится *камергер* Пушкин, тогда как поэт, как известно, пребывал в скромном придворном звании камер-юнкера. И тем не менее (хотя и умер, хотя и не камергер), персонажем военно-судебного дела был именно он, Александр Сергеевич Пушкин — *посмертно подсудимый*.

Это происходило после смерти поэта. При жизни же он не раз был близок к тому, чтобы стать подсудимым. Это могло случиться и в 1820 году, когда за вольнолюбивые стихи и эпиграммы Александр I намеревался сослать Пушкина в Сибирь либо даже заточить в Соловецкий монастырь. Только заступничество Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского спасло молодого поэта, и царь ограничился высылкой Пушкина под видом служебного назначения в Екатеринослав, а затем в Кишинев и Одессу. Могло это произойти и в 1824 году, когда было перехвачено его частное письмо, в котором поэт проговаривался о своих атеистических настроениях (криминал по тем временам великий). Последнее послужило чуть ли не главной официальной при-

* Даты в соответствии с историко-литературной традицией приводятся по старому стилю.

чиной новой ссылки поэта в Михайловское. Невероятно близко к тому, чтобы стать подсудимым с перспективой самых тяжких для себя последствий, Пушкин оказался и чуть позже в связи с восстанием декабристов, когда в ходе следствия и суда над ними выяснилось, что значили для них его стихи. Однако новый царь «простил» поэта и возвратил его из михайловской ссылки. В действительности же все было гораздо сложнее. Официально освобожденный Николаем I от ответственности по делу декабристов Пушкин фактически превратился в поднадзорного только что созданного печально знаменитого III Отделения и оставался им до самой смерти.

Очередная возможность ближайшего знакомства с николаевским правосудием представилась поэту в 1827 году в связи с написанным ранее стихотворением «Андрей Шенья». Один из верноподданных направил это стихотворение с подзаголовком «На 14 декабря» Бенкендорфу, а тот ознакомил с ним Николая I. Вследствие этого Пушкину пришлось давать объяснения не только шефу жандармов, но и комиссии военного суда. В 1828 году Пушкину угрожало строгое наказание в связи с его авторством «богохульной» поэмы «Гавририада».

Однако судьба все-таки сделала Пушкина подсудимым и в полном смысле этого слова со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и вынесением в отношении него судебного приговора. Дело в том, что над умершим поэтом был произведен суд за нарушение законов о запрещении дуэлей по всей форме процессуальных и на основе материальных уголовных законов того времени. История донесла до нас материалы этого судебного процесса, которые, как и всякие другие документы, связанные с гибелью великого поэта, представляют большой интерес. Судопроизводство того времени объединяло в одном процессе и следствие, и суд, поэтому о следствии и суде мы говорим условно. Судьи фактически соединяли в себе обязанности и следователей, и обвинителей, и защитников, и, собственно, судей.

В пушкиноведении материалы дела о дуэли* являются одним из документальных источников для изучения причин и обстоятельств трагической дуэли. Однако, как это ни странно, материалы дела не подвергались специальному исследованию ни литературоведами, ни юристами**, хотя несомненно, что многие документы требуют не только литературоведческого, но и юридического подхода. Внимательное же изучение материалов военно-судного дела о дуэли и особенно сопоставление их с российским законодательством пушкинского времени позволяют уточнить некоторые устоявшиеся в литературоведении позиции. Например, общепринятое мнение о чрезмерно мягком приговоре, вынесенном Дантесу. Юристы, знакомившиеся с военно-судебным делом, лишь подтверждали это мнение. Так, в 1937 году в журнале «Советская юстиция» писалось: «Поэта судьи не знали: камер-юнкер заслонил поэта». Изучение дела и сопоставление приговора по делу с действовавшим тогда законодательством позволяет решительно отказаться от этой устойчивой версии, которая, на наш взгляд, не возвышала поэта и память о нем, а, наоборот, принижала его общественное значение в глазах современников. Во-первых, насчет того, что будто бы «камер-юнкер заслонил поэта». Для судей и военачальников всех рангов, прикосновенных к процессу, Пушкин был камергером (они и не предполагали, что поэт всего лишь камер-юнкер), камер-юнкером он был для царя и его окружения. Во-вторых, судьи и военачальники вынесли Дантесу суровый по тем временам приговор, по своей строгости значительно превышавший судебную практику по делам о дуэлях того времени, и лишь царь свел это наказание к чуть ли не символическому. К тому

* Оно было опубликовано в 1900 году. См.: Дуэль Пушкина с Дантесом — Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 199 с.

** В юридических журналах («Социалистическая законность» и «Советская юстиция») этому процессу было посвящено несколько небольших ознакомительного характера статей, приуроченных к пушкинским юбилеям, — М. Н. Гернета, В. Д. Гольдинера, А. Т. Бажанова, А. Вознесенского и др.

же трудно решить, строгим или мягким было наказание, вынесенное Дантесу, даже с чисто юридической точки зрения ввиду противоречивости николаевского уголовного законодательства: в то время Воинские Артикулы Петра I еще не были отменены, однако уже в 1835 году вступил в силу Свод законов. Следует отметить, что по вопросу о соотношении этих законодательных актов противоречивые мнения высказывались и в дореволюционной юридической литературе.

Изучение материалов военно-судного дела позволяет уточнить и роль ближайшего царского окружения (Бенкендорфа, Нессельроде, Чернышева) в организации этого процесса, влиянии на его ход, увидеть новые грани их действительного отношения к поэту. Однако, по мнению автора, главное значение материалов этого дела заключается в том, что они, с одной стороны, высвечивают некоторые (пусть даже известные) обстоятельства роковой дуэли, а с другой — через суконно-канцелярские обороты процессуальных документов помогают уловить детали той нравственной атмосферы, в которой находился в то время поэт.

Можно говорить и об устойчивом творческом интересе Пушкина к идеям законности и правосудия, т. е. к правовой «материи». Поэт в художественной форме отразил наиболее реакционные черты, присущие российскому феодально-крепостническому судопроизводству. Это и его классовая направленность и неприкрытая кастовость, продажность судей и жестокие меры «отыскания истины» по уголовному делу, и просто неприкрытое беззаконие. В этом отношении достаточно лишь упомянуть такие шедевры его прозы, как «Дубровский» и «Капитанская дочка». Эта же тема (и не только на фоне российского судопроизводства) нашла свое художественное воплощение и в поэзии Пушкина («Полтава», «Моцарт и Сальери», «Анджело»). Рассматриваются эти проблемы на вполне профессиональном с юридической точки зрения уровне, что может быть объяснено целым рядом причин.

Так, солидную для своего времени юридическую подготовку Пушкин получил в Лицее, где наряду с другими предметами изучались и основные юридические дисциплины. Следует отметить, что юриспруденцию лицеистам преподавал А. П. Куницын, которого с полным основанием можно назвать одним из крупнейших ученых-юристов своего времени. Он знакомил лицеистов не только с законодательными основами действовавшего в России права, но смело обращал внимание на различного рода злоупотребления, царившие в российских судах. Интерес к правовой материи, привитый поэту на школьной скамье, не ослабел в течение всей его жизни. И хотя круг интересов Пушкина был, как известно, энциклопедически широк, вопросы права занимали среди них не последнее место. Так, в его личной библиотеке было немало книг и по чисто юридическим вопросам, в том числе сборников российских законов.

Существовал и еще один источник правовых познаний поэта. Это, так сказать, его «юридическое» окружение. Достаточно указать на его отношения с М. М. Сперанским — крупным государственным деятелем, руководителем грандиозной по своим масштабам работы по кодификации российского законодательства; на общение с министрами юстиции — И. И. Дмитриевым, Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, с лицейскими друзьями и товарищами, посвятившими себя юридическому поприщу, — И. И. Пушиным, Д. Н. Масловым, М. Л. Яковлевым.

Таким образом, Пушкин имел непосредственное отношение к праву, юстиции и судопроизводству. В связи с этим вполне правомерным является юридический аспект изучения как биографии поэта, так и его творчества.

I. Под тайным и гласным надзором полиции и жандармерии

В любых биографических исследованиях о поэте прочно обосновались упоминания о полиции, III Отделении, Бенкендорфе. У читателя, безраздельно находящегося во власти поэтического гения, это не может не вызвать противоречивого чувства. Зачем такое соединение самого светлого и самого черного (самого грязного)? Так ли уж много это все значило в жизни поэта? Ю. Нагибин по этому поводу замечает: «Можно подумать, что почти вся недолгая жизнь поэта ушла на борьбу с жандармами и Бенкендорфом. Это унижает Пушкина¹». Действительно, Пушкин был неизмеримо выше всех бенкендорфов, и жизнь поэта, разумеется, не сводилась к борьбе с ними. Но, увы, факты есть факты и не считаться с тем, что полиция и бенкендорфы серьезно отравляли жизнь гения, было бы также отступлением от исторической правды. Например, хотя бы один факт: для того чтобы выехать в 1831 году ненадолго из Петербурга в Москву, не попав к Бенкендорфу, Пушкин должен был «испрашивать» на то согласие у *квартильного надзирателя* (!), а затем униженно объясняться по этому поводу с шефом жандармов.

НАДЗОР ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Когда поэт вызвал к себе профессиональный интерес тайной полиции? Сохранившиеся официальные документы позволяют связать этот интерес с доносом, поступившим 2 апреля 1820 г. на имя министра внутренних дел Кочубея. В нем В. Н. Каразин информировал министра: «В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вы-

шедшие оттуда..., из воспитанников более или менее есть почти всяк Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи вступили... Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые, например, на *двуглавого орла*, на *Стурдзу*, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!..»².

Несколько слов о доносителе — Каразине (1773—1842). Это очень противоречивая личность. С одной стороны, еще в начале царствования Александра I в 1801 году он высказывал в письме, написанном непосредственно на «высочайшее» имя, мысли, направленные на ограничение самодержавия законами, облегчение положения крепостных крестьян, введения гласности судопроизводства. С такого же рода советами он и позднее обращался к правительству. За эти взгляды Каразин был подвергнут репрессиям: на полгода был заточен в Шлиссельбургскую крепость (в 1820 г.), а потом был лишен права проживать в Петербурге и Москве и находился под надзором полиции. С другой стороны, указанный верноподданнический донос министру внутренних дел. С одной стороны, близость к Радищеву, обширная просветительская деятельность, неоспоримые заслуги в основании Харьковского университета. С другой — собственное объяснение мотивов одного из его доносов на Пушкина, разъясненного им самим в его письме В. П. Кочубею от 4 июня 1820 г.: «...единственная цель моя быть употребленным по департаменту, который я предполагаю *необходимым*, и который поручениями Лавровым, фон Фоком и Германом никоим образом заменен быть не может!»³. Каразин имел в виду департамент министерства внутренних дел, осуществлявший функции тайной полиции. Он советует министру, чтобы это дело было поставлено фундаментально, а не строилось в расчете лишь на одно мастерство таких энтузиастов, как, например, фон Фок и Лавров.

В специальной работе, посвященной описанию жизни и деятельности Каразина, все позитивное в этой личности (то, что мы называем «с одной стороны») настолько перевешивает отрицательное, что автор ее приходит к выводу о том, что доносов Каразина Кочубею вовсе не было⁴. Однако внимательное ознакомление с его письмом от 4 июня 1820 г. министру внутренних дел позволяет нам придерживаться другого мнения. В своих советах царю и правительству Каразин был вполне искренен.

Он хотел, чтобы и государство, и власть были сильными. Те недостатки, с которыми он боролся, расшатывали устой самодержавия и крепостничества. Каразин считал, что его советы правильно будут оценены правительством, он сам будет защищен, должным образом оценен. Но он просчитался.

Почему же Каразин привлекал внимание тайной полиции к эпиграмме молодого Пушкина на Стурдзу? В ней всего четыре строки:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу*.

А. С. Стурдза (1791—1854) — русский дипломат, ярый поборник идей Священного союза, реакционный публицист. По поручению Александра I («венчанного солдата») написал «Записку о настоящем положении Германии», в которой восставал против университетов как рассадников революционного духа, настаивал на строжайшем над ними надзоре полиции. Поэт в своей эпиграмме высказал резкое осуждение дипломату-полицейскому, напомнил ему об участии реакционного немецкого писателя Коцебу, являвшегося агентом русского правительства и заколотого немецким студентом Карлом Зандом в марте 1819 года.

Из дневников Каразина видно, что ему юный поэт был известен не только как автор эпиграммы на Стурдзу, но и как автор еще более известных «Сказок» («Ура! в Россию скачет кочующий деспот...»): «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в *благодарность*, написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом...⁵».

Министр внутренних дел, ознакомившись с доносом, уведомляет об этом царя, а также отдает приказ петербургскому военному генерал-губернатору Милорадовичу достать копии пушкинской оды «Вольность» и его же эпиграмм политического характера. Как все это было выполнено, известно из мемуаров Ф. Глинки. «Раз утром выхожу я из своей квартиры... и вижу Пушкина, идущего мне навстречу... Пушкин заговорил первый: «Я шел

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В девяти томах. Изд. Второе. Изд-во АН СССР. М., 1956—1958. Т. 1. С. 350. Дальнейшие ссылки на это издание помещены в тексте непосредственно после цитирования. В скобках указывается том и страница так: (1, 350).

к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему *пятьдесят* рублей, прося дать ему на прочтение моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги». При этом рассказе я тотчас узнал Фогеля* с его проделками. «Теперь, — продолжал Пушкин, немного озабоченный, — меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться... Вот я и шел посоветоваться с вами...». Мы прислонились к стенке и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности». Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место»⁶.

Несколько слов о личности мемуариста. Ф. Н. Глинка (1786—1880) — участник Отечественной войны 1812 г. (награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и несколькими боевыми орденами), поэт и публицист, председатель Вольного общества любителей российской словесности, член общества «Зеленая лампа», а также декабристских Союза спасения и Союза благоденствия. За принадлежность к декабристскому движению был сослан вначале в Петрозаводск, а впоследствии переведен по службе в Тверь, затем в Орел. В период описываемых событий Глинка был чиновником по особым поручениям при петербургском военном генерал-губернаторе М. А. Милорадовиче. Смысл этих особых поручений станет ясен из формулярного списка Глинки: «С ведома и по велению Государя Императора употребляем был для производства исследований по предметам, заключающим в себе важность и тайну»⁷. Таким образом, выполнение тех полицейских функций, которые возлагались на военного генерал-губернатора и осуществлялись через

* По характеристике Ф. Глинки, Фогель был одним из самых знаменитых тайных агентов.

тайный надзор, и являлись содержанием служебной деятельности Глинки. Несомненно, что доброжелательная позиция, занятая в этом деле Милорадовичем по отношению к Пушкину, в немалой степени была обусловлена ходатайством Глинки перед своим начальником об облегчении участи поэта. Думается, что свое служебное положение Глинка использовал и для того, чтобы многие доносы о деятельности декабристских обществ не получали ход и не вышли за пределы его «тайной» канцелярии.

О большой гражданской смелости Глинки и его любви к молодому поэту свидетельствует не только его поведение в деле о высылке Пушкина из столицы. В сентябрьской книжке «Сына отечества» за 1820 год он поместил свое стихотворное послание опальному поэту, на что требовалось немалое мужество:

О Пушкин, Пушкин! Кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
.....
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..⁸

Пушкин, прочитав эти строки в июле 1821 года, в письме своему брату из ссылки просил последнего: «Если ты его увидишь, обними его братски, скажи ему, что он славная душа — и что я люблю его...» (10, 29). А вскоре поэт увековечит Глинку в своем известном к нему послании, назвав его «великодушным гражданином».

В соответствии с воспоминаниями Глинки Пушкин в точности выполнил его советы. Милорадович проявил благородство и от имени царя «простил» поэта. Однако совсем иного мнения о поэте был сам царь. Над Пушкиным нависла беда. Царь предлагал сослать его либо в Сибирь, либо на Соловецкие острова. Одним из первых об этом узнал Чаадаев. Поздним вечером он посетил Н. М. Карамзина, «принудил историографа оставить свою работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина у императора Александра»⁹. Заступничество Карамзина зафиксировано в его письме И. И. Дмитриеву от 19 апреля 1820 г. (в нем же есть и подтверждение рассказа Глинки о сути конфликта поэта с полицией): «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное: служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствия. Хотя я уже дав-

но, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однако же, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет»¹⁰. Ходатайство Карамзина, а также Жуковского, Оленина и Энгельгардта сделало свое дело и ссылка в Сибирь или на Соловки была заменена переводом по службе в Екатеринослав. 6 мая 1820 г. Пушкин покидает Петербург.

Чуть иначе об официальном «знакомстве» поэта с тайной полицией рассказывает в своих «Записках» Ф. Ф. Вигель. Он познакомился с Пушкиным вскоре после окончания им лицея. Так же как и юный поэт, он был членом литературного общества «Арзамас». Наиболее тесные, можно сказать, дружеские связи Вигеля с Пушкиным относятся к кишиневскому и одесскому периодам жизни поэта. В дальнейшем Вигель сделал карьеру, дослужившись до чина тайного советника и должности директора департамента иностранных вероисповеданий. Вигель следующим образом объясняет эпизод с Милорадовичем: «Кто-то из употребляемых Милорадовичем (т. е. тайных агентов. — А. Н.), чтобы подслужиться ему, донес, что есть в рукописи ужасное якобинское сочинение под названием «Свобода» недавно прославившегося поэта Пушкина и что он с великим трудом мог достать его. Сие последнее могло быть справедливо, ибо ни автор, ни приятели его не имели намерения его распускать. Милорадович, не прочитав даже рукописи, поспешил доложить о том государю, который приказал ему, призвав виновного, допросить его. Пушкин рассказал ему все дело с величайшим чистосердечием; не знаю, как представил он его императору, только Пушкина велено... сослать в Сибирь. Трудно было заставить Александра отменить приговор; к счастью, два мужа твердых, благородных... дерзнули доказать ему всю жестокость наказания и умолить о смягчении его»¹¹.

Оставим в стороне и на совести мемуариста изложение не очень достойной роли Милорадовича в этом деле, не согласующееся с вполне устойчивой характеристикой последнего его современниками. М. М. Милорадович — один из героев Отечественной войны 1812 года. Мемуарные свидетельства Глинки о благожелательном отношении петербургского военного генерал-губернатора к Пушкину и заступничестве за него перед царем более соответствуют истине, чем интерпретация этих событий Вигелем. Это, например, подтверждается и письмом отца

поэта (С. Л. Пушкина) Жуковскому (датируемым началом мая 1820 г.): «Что касается графа Милорадовича, то я не знаю, увидев его, брошусь ли я к его ногам или в его объятия»¹². Исходя из сути обсуждаемых событий, нас более интересуют расхождения мемуаристов в источниках получения властями информации о свободолюбивых стихах Пушкина. По рассказу Глинки, у Милорадовича, а значит и у тайной полиции, не было рукописных списков антимонархических и антикрепостнических стихотворений Пушкина. Вигель же утверждает, что Милорадович через своего тайного агента получил рукопись оды «Вольность». В принципе, обе версии можно признать вполне правдоподобными. Думается, что и в вигелевском варианте речь шла не об авторских рукописях, в связи с чем необходим допрос их предполагаемого автора. Однако, по нашему мнению, информация Глинки, учитывая его служебное положение, представляется более достоверной. Но главное, в чем сходились оба мемуариста, это то, что улики против Пушкина у тайной полиции появились лишь в апреле 1820 года.

Тем не менее, по-видимому, Пушкин фактически стал объектом негласного наблюдения несколько раньше. Первый советский исследователь этой темы Б. Л. Модзалевский попытался определить начало пристального внимания тайной полиции к личности поэта. «Под недреманное око» полицейского надзора Пушкин попал, по всей вероятности, тотчас же по выпуске из лицея, вернее, — по приезде своем, осенью 1817 года в Петербург из Михайловского»¹³. Чем же мог привлечь внимание тайной полиции юноша, начинающий самостоятельную жизнь? В августе 1817 года поселяется в столице и начинает службу восемнадцатилетний переводчик иностранной коллегии в скромном чине коллежского секретаря. В этом качестве интереса для тайной полиции юный поэт явно не представлял. Не было ли, однако, к нему полицейского интереса в связи с его окружением? На первый взгляд вокруг него — одна благонамеренность: Карамзин — царский историограф, Жуковский также определенно свой человек в царском окружении, Оленин — президент Академии художеств. Чаще всего Пушкин посещал именно салон Оленина, а также салон Карамзиных и салон княгини Е. И. Голицыной («ночной княгини»). Правда, в то же время завязываются знакомства и с будущими декабристами — Н. Тургеневым, М. Орловым, М. Луниным и другими. Но осенью 1817 года — это все

достойные и благонадежные, с точки зрения полицейских, люди. Может быть, «криминал» заключался в образе жизни юного поэта? Рвением по службе он не отличался, зато сразу же стал завсегдатаем театра, активным участником дружеских вечеринок. Но и это все для полиции не интересно. И, пожалуй, самое главное — несмотря на свой юный возраст, в культурных кругах столицы Пушкин уже известен как поэт, на которого возлагают большие надежды. Для полиции не последним было и то, кто возлагает эти надежды (Державин, Жуковский)? По поэтической части юный поэт посещает последние заседания распавшегося в конце 1817 года литературного общества «Арзамас», однако и его состав и ставившиеся там литературные «спектакли» не могли быть предосудительными для полицейских ревнителей самодержавных устоев. Самым уязвимым в этом плане было то, что в 1817 году Пушкин успел написать оду «Вольность». Разумеется, что ее содержание — серьезнейший повод для установления полицейской слежки за поэтом. Однако написание ее в литературоведении датируется приблизительно июлем — декабрем. Даже если при этом допустить, что написана она была в летние месяцы, то и в этом случае вряд ли сотрудники и агенты тайной полиции были первыми ее читателями. Все-таки для того, чтобы ода дошла до этого заведения, необходимо определенное время. Если же учесть, что, как уже отмечалось, полицейский агент даже в 1820 году безуспешно пытался достать тексты запрещенных стихов Пушкина, то очевидно, что осенью 1817 года восемнадцатилетний поэт еще не представлял интереса для всезнающего ведомства. Не представлял тогда, но с каждым последующим днем своим творчеством, новыми друзьями и своим образом жизни поэт становился все более занимательным для этого учреждения. Можно категорически утверждать, что молодой Пушкин неизбежно должен был попасть в поле зрения тайной полиции.

Тех агентов полиции, которых не слишком интересовала литература, Пушкин мог привлечь к себе даже своим внешним видом. Представим себе на фоне чопорно одетой петербургской публики молодого человека в испанском плаще и широкополой шляпе («Боливаре», названной так по имени предводителя революционного движения в испанских колониях Южной Америки). Естественно, что глаз полицейских не мог пройти мимо такой фигуры, а в их уме не возникнуть вопрос: «Кто таков?» Это можно

сказать о внешнем республиканско-демократическом виде поэта. Что же касается его политических убеждений, то он не только не скрывал их, но буквально бравировал ими. В мемуарных записках И. И. Пушина приводятся опасные остроты Пушкина по поводу убийства в саду, где прогуливался император, сорвавшегося с цепи медвежонка («нашелся один добрый человек, да и тот медведь»), по поводу ледохода на Неве («теперь самое безопасное время — по Неве идет лед», т. е. что «нечего опасаться крепости»)¹⁴. Другие мемуаристы рассказывали не менее любопытные в этом отношении вещи. «...Пушкин, сидя в театральном кресле, показывал находившимся подле него лицам портрет убийцы герцога Беррийского, Лувеля, с его надписью: «урок царям»¹⁵. Театр и был первым местом, где Пушкина официально «заметила» полиция в своей повседневной профессиональной сфере. Молодость и темперамент поэта делали свое дело. Он, не стесняясь, подавал в театральном зале громкие реплики и вообще нередко вел себя вызывающе. Следствием этого и явилось первое полицейское дело, «посвященное» лично поэту: «Дело о замечании, сделанном коллежскому секретарю Александру Пушкину в неприличном поступке в Каменном театре». Дело состоит из двух бумаг. Первая адресована Санкт-Петербургским обер-полицмейстером И. С. Горголи непосредственно начальнику Пушкина по иностранной коллегии советнику П. Я. Убри:

Милостивый государь мой
Петр Яковлевич!

20-го числа сего месяца служащий в Иностранной Коллегии Переводчиком Пушкин быв в Каменном театре... во время Антракту пришел у онаго в креслы и проходя между рядов кресел остановился против сидевшего Коллежского Советника Перевощикова с женою, почему Г. Перевощиков просил его проходить далее, но Пушкин приняв сие за обиду наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами.

О поступке его уведомляя Ваше превосходительство, — с истинным почтением и преданностью имею честь быть

Вашего превосходительства
покорный слуга

№ 15001
23 декабря 1818 г.
Его Пр-ву
П. Я. Убри

Иван Горголи

Второй документ — ответ П. Я. Убри.
Милостивый Государь мой Иван Саввич!

В следствие отношения Вашего Превосходительства от 23 минувшего декабря под № 15001. Я не оставил сделать строгое замечание служащему в Государственной Коллегии Иностранных дел Коллежскому Секретарю Пушкину на счет неприличного поступка его с Коллежским Советником Перевощиковым, с тем, чтобы он воздержался впредь от подобных поступков; в чем и дал он мне обещание.

С истинным почтением и преданностью
имею честь быть Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою

Петр Убри

№ 64

Генваря 9 дня 1819 г.¹⁶.

Не будем строги к юному поэту. Ведь даже полиция объяснила случившееся тем, что Пушкин обиделся на замечание коллежского советника (чувство собственного достоинства было присуще поэту не только в молодости, но и на протяжении всей жизни), а достоинство же коллежского советника должно быть удовлетворено тем, что лишь благодаря этому эпизоду его имя известно даже в преддверии XXI века. Говоря же о петербургском обер-полицмейстере, можно с уверенностью сказать, что вряд ли тот мог догадываться, что и его имя этот нашаливший коллежский секретарь «увековечит» в своих стихах, да не в каких-нибудь, а в самых антисамодержавных — в «Сказках», в которых среди других предполагаемых «сказочных» поступков царя выделяется следующий: «Закон поставлю на место вам Горголи». Если учесть, что, исходя из содержания стихотворения, оно датируется мартом-апрелем 1818 года, можно сделать вывод, что личность обер-полицмейстера заинтересовала поэта прежде, чем тот по своей полицейской службе обратил внимание на Пушкина.

Одновременно с интересом поэта к светской жизни (театр, балы, вечеринки с друзьями) с каждым днем все отчетливее проглядываются его симпатии к прогрессивным взглядам будущих декабристов: Тургенева, Якушкина, Муравьева, крепнет его дружба с Чаадаевым. Весной 1819 года в Петербурге организуется негласный литературный кружок «Зеленая лампа», связанный с тайным

обществом — Союзом Благоденствия. На заседаниях «Зеленой лампы» обсуждались не только литературные вопросы, но и политические, там читались и антиправительственные стихи. Пушкин принимал самое активное участие в заседаниях этого кружка. Он подозревал и о существовании тайного политического общества, и о том, что его участниками являются Н. И. Тургенев и И. И. Пущин, о чем Пущин упоминает в своих мемуарных записках. Нельзя думать, что влияние более старших по возрасту и опыту друзей поэта на развитие его политических взглядов было односторонним. Как показал впоследствии судебный процесс по делу декабристов, и сам поэт сыграл огромную роль в распространении свободолюбивых идей в 1817—1820 гг. и тем самым в организации и развитии декабристского движения. Действительно, в эти годы им были написаны ода «Вольность» (1817), «Сказки», «К Чаадаеву» (1818), «Деревня», «На Стурдзу», эпиграммы на Аракчеева и других (1819—1820). Эти стихи передавались из уст в уста и быстро расходились среди читателей в многочисленных списках. По словам И. И. Пущина, «тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе»¹⁷. Трудно не согласиться с Александром I, который в беседе с директором Царскосельского лицея Энгельгардтом (после уведомления царя Милорадовичем о чистосердечном признании поэта в авторстве «противоправительственных» стихов) сказал, что Пушкин «наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает»¹⁸ (возмутительными, разумеется, с точки зрения царя).

Широкое распространение неопубликованных стихов Пушкина оказало ему плохую службу еще до официального знакомства с тайной полицией. Все те, кто читал оду «Вольность», «Сказки» и эпиграммы, не могли не сознавать, какой интерес их автор представлял для тайной полиции и какой угрозе он в связи с этим подвергался. Еще до того, как он был вызван к петербургскому военному генерал-губернатору, вокруг его имени распространилась гнусная сплетня о том, что будто бы за свои вольнолюбивые стихи он был подвергнут телесному наказанию в тайной полиции. Об этом, например, сделал запись в своем дневнике кишиневский знакомый Пушкина молодой офицер Ф. Н. Лугинин. «Он (Пушкин. — А. Н.) много писал против правительства и тем сделал о себе

много шуму, его хотели сослать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его,.. и послали его в Кишинев с тем, чтоб никуда не выезжал.. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи»¹⁹. Это в точности подтверждается и черновым (не отправленным) письмом Пушкина Александру I, написанным примерно в начале июля — сентябре 1825 года в Михайловском. В нем, в частности, поэт писал:

«Необдуманнные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, буд-то я был отведен в тайную полицию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние, дрался на дуэли — мне было 20 лет в 1820 — я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В.» (предполагается «Ваше Величество». — А. Н.) (10, 182, 788).

«Возмутительные» стихи дошли все же позже до тайной полиции, и, как уже отмечалось, стали известны царю. Официальным следствием этого было «перемещение» поэта по службе из столичного Петербурга в провинциальный Екатеринослав. Так, в «препроводительном» документе, официально врученном Пушкину, сообщалось:

«По указу Его Величества государь император Александр Павлович и прочая, и прочая, и прочая. Показатель сего, Ведомства государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к главному попечителю колонистов южного края г. генерал-лейтенанту Инзову; посему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему.

В Санкт-Петербурге мая 5-го дня 1820-го года»²⁰.

Неофициальным последствием «перемещения» по службе явилось установление негласного надзора полиции за фактически сосланным. Кстати говоря, сам поэт всегда называл себя юридически точно — ссылкой. Особенно ясно это видно из его переписки с друзьями и знакомыми. Так, в 1823 году один из его знакомых — А. Г. Род-

зянко опубликовал направленную против поэта сатиру, в которой иронически отзывался о его политическом фрондёрстве:

«...два, или три Ноэля,
Гимн Занду на стихах,
В руках портрет Лувеля»²¹.

В своем письме от 13 июня 1823 г. А. А. Бестужеву, не веря в авторство Родзянко, он пишет: «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости...» (10, 62). В письме от 22 мая 1824 г. А. И. Казначееву — правителю одесской канцелярии Воронцова он называет получаемые им ежегодно 700 рублей не «как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника» (10, 87). В письме к брату — Л. С. Пушкину, датированном январем-февралем 1824 г., он, сетуя на то, что ему отказывают в отпуске, в качестве варианта своего возможного поведения называет и такой: «...не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь» (10, 80). Не мог же поэт считать себя вечно сосланным, поэтому побег за границу был для него вполне мотивированным.

НАДЗОР В КИШИНЕВЕ

Пушкин был направлен на службу в так называемый попечительный комитет о колонистах южной России, принадлежащий к ведомству иностранных дел и находившийся в Екатеринославе. Возглавлял этот комитет, как уже отмечалось, И. М. Инзов. Это был один из героев Отечественной войны 1812 года, благожелательно относившийся к сосланному поэту. Одной из причин этого было также доброе отношение к поэту со стороны И. А. Капидострии, который в это время возглавлял (вместе с К. В. Нессельроде) коллегия иностранных дел* и был непосредственным начальником Инзова. В официальной депеше от 5 мая 1820 г. о прикомандировании Пушкина к канцелярии Инзова (завизированной императором), подкупающей современного читателя искренней заботой о юном поэте, а также высокой оценкой его как поэта и человека, Капидострия дает ему следующую характеристику:

* В 1822 году вследствие разногласий с Александром I по внешнеполитическим вопросам был вынужден покинуть Россию, а в 1827 году стал президентом Греции.

«Исполненный гордости в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную...

Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек — как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований.

...Он будет прикомандирован к вашей особе, генерал, и будет заниматься в вашей канцелярии как сверхштатный. Судьба его будет зависеть от успехов ваших добрых советов.

Соблаговолите же дать ему их...»²².

Первое впечатление Инзова от личного знакомства с поэтом также свидетельствует о значительном запасе доброты в характере боевого генерала и о самых добрых намерениях его по отношению к сосланному поэту. В ответе Капидострии он, в частности, писал:

«С г. Пушкиным я не успел еще короче познакомиться. Но замечаю однако ж, что не испорченность сердца, но по молодости не обузданная нравственностью пылкость ума была причиною его погрешностей. Я постараюсь, чтобы советы мои не были бесплодны, и буду держать его более на глазах»²³. Справедливости ради следует сказать, что Инзов полюбил вверенного его попечительству молодого чиновника и вовсе не надоедал ему ни своим надзором за ним, ни своими поучениями.

Прожил Пушкин в Екатеринославе всего две недели. Выкупавшись в Днепре, он тяжело заболел. Во время болезни его нашел проезжавший с семьей в Крым через Екатеринослав генерал Н. Н. Раевский, герой Отечественной войны 1812 года. Он уговорил Инзова отпустить с ним больного поэта. С Раевскими Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму и вернулся уже не в Екатеринослав, а в Кишинев. Дело в том, что за это время Инзов стал исполнять обязанности наместника Бессарабии и перевел в Кишинев и попечительный комитет. В Кишиневе Пушкин прожил около трех лет — с конца сентября 1820-го до весны 1823 года, нередко отлучаясь: то в Киев, то в Каменку, то в Одессу. В Кишиневе Пушкин тесно общается с активными членами тайного Южного общества — генералом М. Ф. Орловым, поэтом В. Ф. Раевским, К. А. Охотниковым, знакомится с Пестелем.

Пушкин, случайно узнав о предстоящем аресте Раевского, сумел предупредить его, и тот успел сжечь наиболее компрометирующие его бумаги. В мае 1821 года Пушкин вступил в кишиневскую масонскую ложу «Овидий» № 25», возглавлявшуюся членом Южного тайного общества П. С. Пушциным.

Тайная полиция внимательно следила за поднадзорным поэтом. Так, один из секретных агентов сообщал в своем донесении в 1821 году: «Пушкин ругает публично и даже в казенных домах не только военное начальство, но даже и правительство»²⁴. Но и ругаемое им правительство не забывало о сосланном поэте. Князь П. М. Волконский, начальник Главного штаба военного министерства, в специальном секретном письме от 19 ноября 1821 г. напоминал Инзову о его обязанности следить за поднадзорным:

«До сведения Его Императорского Величества дошло, что в Бессарабии уже открыты, или учреждаются масонские ложи под управлением в Измаиле генерал-майора Тучкова*, а в Кишиневе некоего князя Суццо**, из Молдавии прибывшего: при первом должен находиться также иностранец Элиа де Фра, а при втором Пушкин, состоящий при Вашем превосходительстве и за поведением коего поручено было вам иметь строжайшее наблюдение...

Касательно г-на Пушкина также донести Его Императорскому Величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени определения его к вам, как он вел себя, и почему не обратили Вы внимания на занятия его по масонским ломам? Повторяем вновь Вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор...

В заключение прошу Ваше превосходительство подробно о сем донести секретно и с подписью собственной руки для доклада Его Императорскому Величеству...»²⁵.

Как видно, добрейший служака-генерал вызвал неудовольствие и у царя, и у начальника Главного штаба недооценкой своих полицейских в отношении поэта обязанностей и, выражаясь по-современному, «схлопотал»

* С. А. Тучков (1767—1839) — литератор, генерал-майор, позднее генерал-лейтенант, во время кишиневской ссылки Пушкина служил в Измаиле, где поэт с ним и встречался, член кишиневской масонской ложи «Овидий».

** Суццо Георгий (1763—1836) — молдавский эмигрант, бежавший из Румынии.

выговор. Все это свидетельствует о том, что и Александр I, и его окружение смотрели на молодого сосланного ими поэта как на представляющего опасность для самодержавия, способного подорвать устои монархии и крепостничества. Современного читателя, видимо, удивит, что военный генералитет (Начальник Главного штаба, военный генерал-губернатор, наместник) выполнял и полицейские функции. Однако для начала XIX века в этом не было ничего необычного. Жандармскую службу в гатчинских войсках учредил в 1792 году Павел I еще до своего восшествия на престол. Александр I значительно усовершенствовал ее и в 1817 году им была создана так называемая служба жандармов внутренней стражи или, как чаще всего называли ее, — конная городская полиция. Но Александр, боясь переворотов (он помнил, как сам стал императором) и никому не доверяя, учредил еще два тайных органа. Так, в 1805 году был создан Комитет высшей полиции, предназначенный для деятельности во время отъезда императора из столицы. В него входили три министра: военный, юстиции и внутренних дел. Главная цель комитета состояла в поддержании порядка и открытии враждебной деятельности иностранцев в России, могущие помешать военным действиям, которые тогда начались с Францией. 13 января 1807 г. был создан еще один тайный комитет — Комитет охраны общей безопасности, состоящий из министров — военного, юстиции, внутренних дел, двух генералов и одного фельдмаршала. Этот комитет по праву считался возрожденной Тайной канцелярией (существовавшей при Екатерине II). Этот комитет занимался делами о подозреваемых в переписке с неприятелем и «зловредных разглашениях», о слухах относительно восстания в Польше, о возбуждении народа слухами о вольности крестьян, о подозрениях в существовании заговоров против царя и его фамилии, об оскорблении их дерзкими и неприличными словами, о государственной измене, о возмутительных воззваниях и вредных сочинениях, о тайных обществах, о поступках разных лиц, грозящих общепринятому благочинию, и т. д.»²⁶. Следует добавить, что наряду с этими комитетами существовало и особое министерство полиции, имевшее широкую организацию агентов-шпионов. В 1819 году это министерство со своим агентурным аппаратом вошло в министерство внутренних дел. Этот аппарат, занимавшийся в основном политическим сыском, сосредоточивался в основном в так называемой

«особенной канцелярии» министерства внутренних дел. После подавления восстания в лейб-гвардии Семеновском полку в 1820 году была образована тайная полиция при штабе гвардейского корпуса, а в связи с восстаниями в военных поселениях и при Управлении военных поселений (под общим руководством А. А. Аракчеева). Таким образом, полицейские функции выполняли военное ведомство и ведомство внутренних дел, при этом они не только тесно сотрудничали, но и конкурировали друг с другом.

Вернемся, однако, к ответу Инзова на запрос начальника Главного штаба. 1 декабря 1821 г. заместитель Бессарабии, благоволивший к Пушкину, дает в своем ответе Волконскому доброжелательный для ссыльного поэта отзыв:

«...Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Я занимаю его письменной корреспонденцией на французском языке и переводами с русского на французский; ибо по малой его опытности в делах, не могу доверять ему иных бумаг: относительно же занятия его в масонской ложе, то по неоткрытию таковой, не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было. Впрочем обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствует необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное еще чувство возбуждилось и в г. Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу»²⁷.

В том же духе Инзов аттестовал своего подчиненного и перед руководителем Коллегии иностранных дел И. А. Капидострией (также в секретном письме от 28 апреля 1821 г.): «Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговоре со мной обнаруживает иногда питические мысли. Но я уверен, что лета и время образуют его в сем случае и опытом заставят признать непоследовательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия»²⁸.

То, что инзовские сведения о «лояльности» сосланного поэта были далеки от истины, свидетельствует процитированное выше донесение секретного агента полиции («ругает правительство»). Это подтверждают и мемуарные свидетельства сослуживцев поэта по Кишиневу. Так, П. И. Долгоруков в своем Дневнике в записи от 11 января 1822 г. отмечал: «Пушкин прислан сюда, просто сказать, жить под присмотром... он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России»²⁹. Характерна в этом отношении и запись от 20 июля того же года: «Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»³⁰.

Но не только Волконский интересовался поведением сосланного (ему это было положено по службе). Следил за ним и сам Аракчеев, навеки ославленный пушкинской эпиграммой и поэтому внимательно читавший вышедшее из-под его пера. В связи с тем, что за время пребывания Пушкина на юге в журналах и альманахах было напечатано много его стихотворений, Аракчеев в своем письме Александру I обращал внимание царя: «Известного Вам Пушкина стихи печатают в журналах, с означением из Кавказа, видно для того, чтобы известить об нем подобных его сотоварищей и друзей»³¹.

Продолжает считать себя обязанным следить за судьбой сосланного по его доносу и Каразин. В письме от 4 июня 1820 г. министру внутренних дел В. П. Кочубею он обращает его внимание на некоторые стихотворения, написанные по поводу высылки Пушкина из Петербурга на юг и опубликованные в журналах: «...я хотел было показать места в нескольких номерах наших журналов, имеющие отношения к высылке Пушкина... Бездумная эта молодежь хочет *блеснуть* своим неуважением к правительству»³². Каразин, в частности, указывает на стихотворение

Кюхельбекера «Поэты», в котором Пушкину посвящены следующие строки:

И ты — наш юный Корифей, —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана?
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен.

Прямо скажем, доноситель и здесь хорошо понял необнаруженное цензурой откровенное сочувствие высланному.

Следует отметить, что Пушкин не только был объектом внимания тайной полиции, но иногда, так сказать, «волею судеб» оказался помехой в ее деятельности. В этом отношении характерен эпизод, связанный с арестом В. Ф. Раевского, вошедшего в историю под именем «первого декабриста». Раевский — один из самых близких поэту в его кишиневском окружении. Он был старше Пушкина на четыре года и участвовал в Отечественной войне 1812 года (за храбрость, проявленную в Бородинском сражении, был награжден золотой шпагой). Один из основателей Кишиневской управы Южного тайного общества. В бытность Пушкина в Кишиневе являлся адъютантом командира дивизии М. Ф. Орлова, заведовал дивизионной военной школой. Вел активную пропаганду среди солдат, по обвинению в чем и был арестован в начале 1822 года. Пушкин случайно узнал о готовящемся аресте Раевского, успел предупредить его об этом. Вот как об этих событиях рассказывает в своих воспоминаниях, написанных в 1841 году, сам Раевский:

«1822 года, февраля 5, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей...

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом, Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе... Сабанеев* сейчас уехал от генерала (имеется в виду Инзов. — А. Н.). Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, я, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзуш-

* Командир корпуса, в который входила дивизия М. Ф. Орлова, поборник палочной дисциплины и других аракеевских порядков в армии.

ко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого не дослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован»³³.

Предупрежденный Пушкиным Раевский успел уничтожить некоторые наиболее компрометирующие его документы. На следствии он держался мужественно и только благодаря его стойкости не была раскрыта деятельность Южного тайного общества. Военный суд приговорил Раевского к смертной казни, замененной четырехлетним тюремным заключением. Затем он был сослан на поселение в Сибирь, где и умер.

Дружеские отношения Пушкина и Раевского в Кишиневе* сложились на почве общих общественно-политических взглядов и литературных интересов. Раевский писал стихи. По своим литературным склонностям принадлежал к направлению архаистов (Кюхельбекер, Катенин). Это вызывало между ними горячие споры. Вместе с тем отдельные образцы гражданской поэзии Раевского вызывали восторженные отзывы Пушкина («К друзьям в Кишинев», «Певец в темнице» и др.). Раевскому адресованы стихи Пушкина: «Не тем горжуся, мой певец...», «Ты прав, мой друг...» (1822 г.). В свою очередь Раевским написано стихотворное обращение к Пушкину: «Оставь другим певцам любовь! Любовь ли петь, где брызжет кровь...»

ПУШКИН И ЛИПРАНДИ

Жизнь подбрасывает иногда на редкость замысловатые неожиданности. Допустим, как могут относиться друг к другу «дивный гений» и агент тайной полиции? По-видимому, один из них может быть только надзираемым, а другой надзирающим. Однако И. П. Липранди — не рядовой, а деятельнейший агент тайной полиции, профессионал, в кишиневско-одесский период жизни поэта был его близким другом. В письме к Вяземскому в начале 1822 года Пушкин напишет о нем: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его» (10, 32). Близкие связи Пушкина с Липранди в кишиневский период подтверждал в своих мемуарах и А. Ф. Вельтман (писатель,

* В январе 1826 года поэт из Михайловского писал Жуковскому: «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским» (10, 198).

служивший в Кишиневе военным топографом и встречавшийся с Пушкиным): «Чаще всего я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин»³⁴.

Бесспорно, что И. П. Липранди — весьма загадочная личность с необычной биографией. Он представлял большой интерес и для Пушкина. В литературоведении справедливо считается, что Липранди является прототипом Сильвио в пушкинском «Выстреле». Липранди — участник русско-шведской войны (1808—1809), за проявленную храбрость награжден орденом Анны 3-й степени и золотым оружием (шпагой). В Отечественную войну 1812 года принимал участие в боях при Бородино, Малоярославце, был ранен, награжден орденом Владимира 4-й степени, а также стал георгиевским кавалером. В 1815 году — начальник русской военной агентуры в Париже. На этом посту тесно сотрудничал с префектом парижской сыскной полиции известным Видоком. Объединенными усилиями ими был раскрыт антиправительственный бонапартистский заговор. Попутно Видок ознакомил Липранди с трущобами и тайнами Парижа. Но так удачно начавшаяся карьера военного разведчика вскоре дала трещину. За одну из своих многочисленных дуэлей Липранди попадает в опалу, и в августе 1820 года он уже продолжает службу обычным армейским подполковником в Кишиневе. Здесь, обладая недюжинными способностями к военной разведке и глубокими познаниями в отношении Турции и Молдавии, он вновь пошел в гору и возглавил агентурную работу в штабе русских войск в Бессарабии. На этот период приходятся и близкие отношения Пушкина с Липранди. В 1822 году Липранди вышел в отставку и стал чиновником особых поручений при новороссийском генерал-губернаторе графе Воронцове в Одессе. После разгрома восстания декабристов Липранди был арестован по обвинению в причастности к декабристскому движению, но спустя месяц с небольшим освобожден с «оправдательным аттестатом». В дальнейшем принимал активное участие в русско-турецкой войне 1826—1829 гг., в которой также проявил себя незаурядным военным разведчиком. В 1832 году в звании генерал-майора вышел в отставку, много пишет о своей профессиональной деятельности, становится признанным теоретиком военной разведки. В 1840 году Липранди — чиновник особых поручений при министре внутренних дел. На этом посту особую известность он при-

обрел своей провокационной деятельностью по раскрытию кружка петрашевцев³⁵. Однако обвиненный в злоупотреблениях, был отстранен от службы и вновь занялся теорией, но теперь уже не военной разведки, а русской тайной полиции.

В литературоведении спорным является вопрос о том, был ли Липранди агентом тайной полиции (а не только военным разведчиком) в свою кишиневско-одесскую бытность, т. е. во время дружеских отношений с Пушкиным? Трудность решения этого вопроса заключается в том, что, разумеется, военная разведка не отделялась непреодолимым барьером от агентурно-сыскной работы тайной полиции (хотя бы по методам). Первая деятельность в отличие от второй никогда не была порицаемой в обществе и всегда рассматривалась как обычная разновидность воинской службы вообще. Военно-разведывательной деятельностью занимался по долгу службы, например, П. И. Пестель. В. В. Вересаев приходит к выводу, что Липранди в кишиневский период не шпионил за Пушкиным. М. В. Нечкина и П. А. Садиков считают, что Липранди в то время не был провокатором — агентом тайной полиции, а являлся членом Южного тайного общества. Это мнение основано на воспоминаниях декабриста С. Г. Волконского, утверждавшего в своих «Записках, что Липранди был в «уважение его передовых мыслей и убеждений принят в члены открывшегося в 15-й дивизии отдела тайного общества, известного под названием «Зеленой книги»³⁶. В пользу этого свидетельствует и следующее донесение тайного агента: «Липранди говорит часовым, у него стоящим: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира (М. Ф. Орлова. — А. Н.). Я ваш защитник. Молите бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые наставление сие передайте один другому»³⁷.

Однако ряд исследователей выдвигают версию, в соответствии с которой Липранди являлся агентом тайной полиции уже во время своей кишиневской службы (П. Е. Щеголев, С. Я. Гессен, С. Я. Штрайх, Б. Л. Модзалевский, Б. А. Трубецкой и др.). Так, Б. А. Трубецкой приводит в пользу этой версии, по крайней мере, семь доводов. Первое — его связь с руководителями политического сыска в России — Бенкендорфом и Дубельтом. В 1872 году он сам писал о своей «испытанно 37-летней взаимной дружбе» с Дубельтом. Однако, если из 72

вычсть 37, то получится 36, а это означает, что «дружба» (знакомство их произошло раньше) началась значительно позже кишиневского периода жизни Пушкина. Второе. Б. А. Трубецкой ссылается на откровения самого Липранди относительно форм и методов агентурно-провокаторской деятельности и своего отношения к революционному движению в своем «Объяснении» к своей же «Записке» в III Отделение, сочиненной им в 1849 году. Там Липранди пишет, что революционные заговоры — это «зло великой важности, угрожающее коренным потрясением общественному государственному порядку», что «таков мой образ мыслей и таково мое внутреннее убеждение», что он «почитал себя в обязанности следить все нити порученного моему наблюдению дела, как бы они при первом взгляде не представлялись ничтожными и не заслуживающими внимания»³⁸. Однако и здесь сказанное относится к 1849 году, а за четверть века убеждения человека могли коренным образом измениться. Третьей, и едва ли не главной, уликой против Липранди Б. А. Трубецкой считает странности его поведения в связи с арестом В. Ф. Раевского «4 февраля 1822 г. Липранди с подозрительной неожиданностью выезжает на четыре с лишним месяца в Петербург. А через день (!), 6 февраля, был арестован В. Ф. Раевский и затем начались репрессии против видных деятелей кишиневской ячейки Южного общества»³⁹. Следует отметить, что сам Раевский несколько по-иному излагает эти события. После того как Пушкин предупредил его о предстоящем аресте, Раевский предложил ему пойти с ним к Липранди, чтобы посоветоваться, и этот визит тут же состоялся. Раевский датирует посещение 5 февраля 1822 г., а свой арест 6 февраля. Даже если мемуарист ошибался немного в датах, его рассказ не может не изменить оценку поведения опытного разведчика. Одно дело, когда тайный агент, «наведя» на «первого декабриста» военное командование, уезжает из города, чтобы не быть причастным к аресту. Совсем другое, имевшееся в данном случае, когда выясняется, что арест Раевского был уже предрешен, об этом знал не только сам декабрист, но и Пушкин. В этой ситуации внезапный выезд тайного агента уже никак не вяжется с его опытностью в агентурно-сыских делах. Следовательно, и этот факт не может быть признан достаточным доказательством. Что же касается репрессий против «видных деятелей» кишиневской ячейки Южного тайного общества, то и здесь не чувствуется руки «профессионала» в этом

деле. Допустим, по донесениям Липранди был смещен с поста командующего дивизией М. Ф. Орлов, а командир бригады этой дивизии П. С. Пущин уволен в отставку. Вряд ли опытный разведчик и агентурист смог не увидеть связи, например, Орлова с руководителем всего Южного тайного общества Пестелем. И Орлов и Пущин «потерпели гонения по службе» в связи с делом Раевского. Детали этого дела были известны правительству (так же как и состояние дел в дивизии Орлова) вовсе не только от тайных агентов. Четвертой уликой причастности Липранди к ведомству тайной полиции Б. А. Трубецкой считает то, что тому удалось легко уйти от ответственности по делу декабристов. Да, Липранди попал в знаменитый Алфавит декабристов. Однако в нем в отношении Липранди было записано следующее: «Был взят по показанию Комарова, назвавшего его членом, но на вопросы Комиссии все главные члены Южного и Северного общества утвердительно отвечали, что Липранди не только не принадлежал к обществу, но не знал о существовании оно́го и ни с кем из членов не имел сношений. Сам Комаров не подтвердил своего показания, сделав оно́е гадательно»⁴⁰. Таким образом у следственной комиссии была лишь одна улика — показания Комарова, от которых тот отказался. В связи с этим нет ничего необычного в том, что Липранди был освобожден от ареста. Кстати сказать, в такой ситуации оказался далеко не один Липранди. Вспомним хотя бы Грибоедова, в отношении которого следствие располагало куда более вескими уликами. Ссылка же на мемуарное свидетельство генерал-майора С. Желтухина об уверенности Липранди в его скором освобождении от следствия также может показаться странной сама по себе, если к ее оценке мы подойдем будучи уже уверенными в причастности Липранди к декабристскому движению (пусть даже и по долгу своей разведывательно-провокаторской деятельности). Если же мы отрешимся от этого, как от уже абсолютно доказанного, то ничего странного в этом не увидим. Пятый довод против Липранди заключается в следующем: подозрительно, что Николай I через два года после ареста — освобождения Липранди назначил его начальником вновь учрежденной высшей тайной заграничной полиции. Однако и это само по себе ни о чем не говорит. Николаю было известно (через того же Бенкендорфа) о редких талантах Липранди как специалиста именно в области заграничной агентурной работы, о том, что он многого добился на этом поприще. Перед след-

ственной комиссией он «очистился», и у Николая I вопрос о его назначении, видимо, не вызывал сомнений. Существует аналогичный пример: Грибоедов, чье членство в Северном обществе подтвердили на следствии Рылеев, Трубецкой, Оболенский, Бриген, Оржицкий, после следствия заведовал внешними сношениями с Персией и Турцией, а в 1828 году был назначен полномочным министром-резидентом (послом) в Иран. В качестве шестого довода Б. А. Трубецким приводится запись самого Пушкина в его второй «Программе записок», относящихся к 1833 году: «Кишинев... — Липр[анди] — 12 год — *mort de sa femme — le r n gat**». Однако ренегат — это, как известно, отступник, человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников. Следовательно, если последнее относится к Липранди, то это означает, что в 1833 году поэт считал, что Липранди изменил своим ранним политическим убеждениям (кишиневско-одесского периода), а вовсе не считал, что он был тайным агентом десять лет назад.

Слабым, по нашему мнению, доказательством (его можно считать седьмым) является и ссылка на письмо Н. С. Алексеева Пушкину от 30 сентября 1826 г. В нем Алексеев сообщает поэту, что Липранди «живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает откуда берет деньги»⁴¹. Б. А. Трубецкой делает вывод, что, по-видимому, Алексеев уже признал в Липранди нечистоплотного в морально-политическом отношении человека, подозревал его в давних связях с полицией. «Сорить деньгами» Липранди не стеснялся не только в присутствии Алексеева. Это его свойство было известно и В. Ф. Раевскому, и самому Пушкину, и многим другим. Следовательно, можно сделать такой вывод: Липранди пировал на свои «сорок серебряников», если исходить из того, что он был новичком сыска, дилетантом, а не профессиональным военным разведчиком. Однако Липранди не был, как известно, ни дилетантом в своем деле, ни новичком.

Вряд ли можно однозначно оценивать и отказ Пушкина встретиться (вместе с Липранди) с находившимся в заключении в Тираспольской крепости В. Ф. Раевским. В своих воспоминаниях сам Липранди описал это следующим образом: «На вопрос мой, почему он не повидался с Раевским, когда ему было предложено самим корпус-

* Смерть жены — ренегат (8, 75).

ным командиром (Сабанеевым. — А. Н.), Пушкин, как мне показалось, будто бы несколько был озадачен моим вопросом и стал оправдываться тем, что он спешил, и кончил полным признанием, что в его положении ему нельзя было воспользоваться этим предложением...»⁴². По этому вопросу В. Кулешов справедливо заметил, что «Пушкин поступил весьма осторожно и мудро»⁴³. Он знал, что Сабанеев «засадил» Раевского в тюрьму и несомненно использовал бы посещение Пушкиным арестованного как против Раевского, так и против самого Пушкина.

Мы вовсе не подвергаем сомнению серьезность подозрений, выдвинутых в литературе в отношении Липранди. Тем не менее, по нашему мнению, это всего лишь, так сказать, «косвенные» и разрозненные улики. И в настоящее время нет документальных данных, позволяющих категорически утверждать, что Липранди на юге шпионил за Пушкиным, являясь агентом тайной полиции. «Окончательное решение вопроса, — справедливо утверждает А. Ф. Возный, по-видимому, возможно в том случае, если будут обнаружены исчезнувшие дневники и другие бумаги Липранди, его письма». По мнению этого автора, «документы о получении Липранди денег на агентурную работу и его отчеты о ней» могут находиться в одесском архиве Воронцова»⁴⁴. В общем, для окончательного вывода нужны документальные подтверждения. И вряд ли этот вопрос можно решать с такой легкостью: «Если вчитаться в его (Липранди. — А. Н.) мемуары, опубликованные в прошлом веке, станет ясно, что он подвизался тогда на юге в качестве секретного агента самодержавия., следил за ссыльным Пушкиным, декабристами, греческими повстанцами»⁴⁵. По нашему мнению, непредвзятое прочтение этих записок позволяет сделать вывод о том, что их автор на редкость доброжелателен к юному поэту, а «Записки» по справедливости считаются «одним из ценнейших источников биографии поэта, с обширным кругом сведений, касающихся кишиневского и одесского окружения Пушкина, его быта, привычек, исторических, социальных и отчасти литературных интересов»⁴⁶.

Если признать, что Липранди уже в южной ссылке Пушкина шпионил за ним, то определенную трудность вызывает объяснение того, почему он не донес куда следует об антиправительственных взглядах поэта? Б. А. Трубецкой объясняет это тем, что Липранди «считал достаточными те сведения о Пушкине, которые, как он полагал, должен был сообщить генерал Инзов, под надзор которого

был послан Пушкин»⁴⁷. Но так мог думать лишь новичок сыска, а не профессионал, каковым был Липранди. Он прекрасно знал, с какой заботливостью и теплотой относился Инзов к опальному поэту, как выгораживал его. Долг Липранди — тайного агента — требовал от него совсем иного поведения. Более правдоподобно, по нашему мнению, объясняет это В. Кулешов. «Он (Липранди. — А. Н.) мог точно знать, что Пушкин к заговору не принадлежит, а сообщением о резких, неосторожных высказываниях поэта Петербург не удивишь»⁴⁸.

Если же согласиться с той версией, что Липранди стал агентом тайной полиции позже кишиневско-одесского периода жизни поэта, то следует отметить, что Пушкину в определенной мере «везло» на «переродившихся» друзей. Таковым был и Я. Н. Толстой (1791—1867) — участник Отечественной войны 1812 года, член Союза Благочестивия, председатель общества «Зеленая лампа», адресат стихотворения Пушкина «Философ ранний, ты бежишь...» Известно очень теплое письмо Пушкина Я. Н. Толстому от 26 сентября 1822 г. из Кишинева. Однако впоследствии следует перерождение, он выбирает «путь Липранди и Дубельта» и становится агентом III Отделения⁴⁹.

ПУШКИН И КАРОЛИНА СОБАНЬСКАЯ

Переписка поэта свидетельствует о том, что одному из самых сильных любовных увлечений Пушкин был обязан не кому иному, как агенту тайной полиции. Последний, вернее последняя, является и адресатом одного из шедевров пушкинской лирики — «Что в имени тебе моем?». Оно написано 5 января 1830 г. в ответ на просьбу польской красавицы Каролины Собаньской. 2 февраля Пушкин написал в ее адрес два письма, поражающих нас глубиной его чувств к адресату. В одном из них сказано: «Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни» (10, 270). Следовательно, Пушкин познакомился с Собаньской в феврале 1821 года во время кишиневской ссылки, в один из своих приездов из Кишинева в Киев. Каролина Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, — дочь киевского губернского предводителя дворянства, впоследствии тайного советника и сенатора, видного мазона. Получила отличное образование, слыла прекрасной

пианисткой. Юной девушкой ее выдали за пятидесятилетнего помещика, но жила она с ним недолго. В 1819 году сблизилась с графом И. О. Виттом — начальником военных поселений в Новороссийске, организатором тайного сыска за декабристами на юге (и впоследствии за Пушкиным в Михайловском). По воспоминаниям современников, Собаньская страстно любила этого человека, нравственные качества которого были таковы, что даже великий князь Константин Павлович (моралист, как известно, не особенный) называл его «негодяем» и «достойным виселицы». Связь их продолжалась до 1836 года. В Собаньскую был влюблен и Адам Мицкевич, посвятивший ей ряд стихотворений. Не менее чем сама Каролина, известна в литературе и ее сестра — Эвелина Ганская, ставшая незадолго до смерти Бальзака его женой. Кстати сказать, Эвелину по Одессе знал и Пушкин. Об этом сохранилось его собственное свидетельство в письме к А. Н. Раевскому в октябре 1823 года из Одессы, где поэт называет ее Аталой, по имени одноименной героини романа Шатобриана. О том, что для Витта Каролина была не только любовницей, но и его тайным агентом (а впоследствии и жандармским агентом), свидетельствует в своих «Записках» Вигель. Он был «ослеплен ее привлекательностью, — вспоминает мемуарист, — но когда, несколько лет спустя, узнал я, что Витт употреблял ее и серьезным образом, что она служила секретарем сему в речах умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышень поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от нее отвращение»⁵⁰. О последующих ее связях с самим Бенкендорфом свидетельствует ее письмо к нему, на котором есть пометка о том, что первый жандарм России ответил ей 4 декабря 1832 г.⁵¹. С Собаньской Пушкин встречался в Одессе, а в 1828 году и в Петербурге. Разумеется, нет никаких оснований предполагать, что в своей агентурной деятельности эта дама делала какие-либо исключения для Пушкина.

ПУШКИН В ОДЕССЕ

Если бы поэт был действительно командированным по службе в Кишинев, он, как и прочие служащие, имел бы право на отпуск. По истечении трех лет Пушкин попытался реализовать предполагаемое право. 13 января 1823 г.

он в официальном рапорте на имя К. В. Нессельроде просит об этом руководителя внешнего ведомства России:

«Граф,

Будучи причислен по повелению его величества к его превосходительству бессарабскому генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда меня призывают дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца...»⁵².

Командированному «по службе» отпуск, как отмечено, был положен. Но Пушкин-то не был таковым, а являлся сосланным, и ему никакого отпуска, естественно, не полагалось. Царь помнил, за что сослал молодого поэта, и вовсе не был намерен возвращать его из ссылки. 27 марта 1823 г. Нессельроде сообщил Инзову о царском решении по делу:

«Вследствие доклада моего о сем государю его величество соизволил приказать мне уведомить г-на Пушкина через посредство вашего превосходительства, что он ныне желаемого позволения получить не может»⁵³.

Не может и все тут. Не обязан же в самом деле император (!) снисходить до объяснения своих решений какому-то коллежскому секретарю. Все по-царски и все по-нессельродовски.

В начале августа 1823 года Пушкину (опять-таки по ходатайству друзей) удалось переехать из Кишинева в Одессу. Как место ссылки Одесса (крупный морской порт, оперный театр, просвещенная публика) была предпочтительнее заброшенно-провинциального Кишинева. Однако, по всей видимости, для переезда были и другие, более веские, причины, в том числе и связанные с полицейским надзором над ссыльным поэтом. Как справедливо считал Б. Мейлах, успехи тайной полиции в борьбе с прогрессивным революционным движением на юге России (арест В. Ф. Раевского, опала М. Ф. Орлова, увольнение из армии П. С. Пущина) не могли не внушить Пушкину «серьезную тревогу и о своей дальнейшей судьбе»⁵⁴. Поэт не мог не чувствовать, что и он своими связями с указанными лицами, попавшими в поле зрения агентуры политического сыска, также представлял интерес для тех, кто, например, выследил того же Раевского. Кроме того, сам Пушкин догадывался, что кишиневской ячейкой Южное тайное общество не ограничивалось и в этом смыс-

ле его не такие уж редкие «заезды» в Каменку были не лучшим доказательством его лояльности к правительству. Все обращения «наверх» об отпуске или хотя бы кратковременном возвращении в Петербург обернулись официальным отказом. Пушкину стало ясно, что ему по-прежнему не верили и его кишиневское окружение и кишиневский надзор были в этом отношении не последней тому причиной. Требовалось сменить обстановку, поэтому Одесса в некотором роде представлялась местом даже заманчивым.

Однако едва ли не с первых дней жизни в европеизированной Одессе настроение поэта не только не улучшилось по сравнению с кишиневским, но, может быть, даже ухудшилось. Возьмем, к примеру, первые два из сохранившихся писем поэта из Одессы. Первое — П. А. Вяземскому от 19 августа 1823 г.: «Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется, — *да сам не свой* (курсив наш. — А. Н.)» (10,63). Второе (по сути дела, разъяснение первого) — брату Льву, написанное 6 дней спустя: «...Я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объясняет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — *да новая печаль мне жжала грудь* (курсив наш. — А. Н.) — мне стало жаль моих покинутых цепей» (10, 64).

С новым своим начальником — графом М. С. Воронцовым отношения у Пушкина не сложились. Менее чем через год поэт пишет своему другу и покровителю А. И. Тургеневу: «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое» (10, 96). Причин «неуживчивости» поэта с Воронцовым несколько, но главные из них — две. Одна — личного плана (ревность одесского начальника и досаждавшие ему эпиграммы поэта). Другая же более официального порядка. Воронцов, приступая к исполнению обязанностей генерал-губернатора, предпринял энергичные шаги в направлении экономического развития вверенного ему края. Однако вместо ожидаемого высочайшего благоволения и одобрения своей деятельности он ощутил явные знаки монаршьего недовольства (царь, например, обошел его при награде, заслуженно им ожидаемой). Не без помощи своих петербург-

ских друзей, близких к придворным кругам, он понял, что дело заключается в ослаблении контроля за общественно-политической обстановкой в Одессе и крае, который он за своими экономическими преобразованиями, по мнению царедворцев, несколько запустил. Чтобы вернуть прежнее расположение царя, надо было действовать. К тому же он прекрасно сознавал, что одним из «возмутителей» его одесского спокойствия был ссыльный поэт. Так, уже в письме от 6 марта 1824 г. царскому любимцу — графу П. Д. Киселеву (в расчете на то, что основное содержание его станет известно Александру I) Воронцов следующим образом объясняет свое отношение к поэту: «...я хотел бы, чтобы повнимательнее присмотрелись к тому, кто в действительности меня окружает и с кем я говорю о делах. Если имеют в виду Пушкина и Александра Раевского, то по поводу последнего скажу Вам, что я не могу помешать ему жить в Одессе, когда ему того хочется,.. но... я лишь едва соблюдаю с ним формы, которые требуют благовоспитанность... Что же до Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели, он боится меня, так как хорошо знает, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его к себе; я вполне уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове... По всему, что я узнаю о нем и через Гурьева (одесский градоначальник. — А. Н.), и через Казначеева (правитель канцелярии Воронцова. — А. Н.), и через *полицию* (курсив мой. — А. Н.), он теперь вполне благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его, и лично я был бы этому очень рад, так как не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта...»⁵⁵.

В интересующем нас плане (размеры гласного и тайного надзора над поэтом) отметим следующие особенности письма. Во-первых, насколько «всерьез» одесский генерал-губернатор в отличие от Инзова осуществлял в отношении поэта свои надзорно-полицейские функции. Во-вторых, этим озабочен не только Воронцов, но и полиция и другие официальные должностные лица. Некоторые из них в отношении Пушкина были настроены куда более враждебно, чем Воронцов. Так, уже в январе 1824 года военный генерал-полцимейстер 1-й армии И. Н. Скобелев писал главнокомандующему этой армии: «Не лучше ли бы оному Пушкину, который изрядные дарования свои употребил в явное зло, запретить изда-

вать развратные стихотворения?.. Я не имею у себя стихов сказанного вертопраха, которые повсюду ходят под именем «Мысль о свободе». Но судя по выражениям, ко мне дошедшим (также повсюду читающимся), они должны быть весьма дерзки... Если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор? Один пример больше бы сформировал пользы, но сколько же, напротив, водворится вреда неуместною к негодяям нежностью»⁵⁰.

Интересно, что «вредную» роль Пушкина в Одесском обществе одинаково оценивали не только генерал-губернатор и полиция (в том числе военная). Даже друзья, оставшиеся в Петербурге и Москве, очень хорошо представляли себе, как воспринимало пушкинское влияние ближайшее царское окружение. Так, П. А. Вяземский, предупреждая друга об осторожности «на язык и на перо», писал ему в конце мая 1824 года: «Верные люди сказывали мне, что уже на Одессу смотрят, как на *champ d'asyle** а в этом поле, верно, никакая ягодка более тебя не обращает внимания. В случае какой-нибудь непогоды Воронцов не отстоит тебя и не защитит... Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно!»⁵⁷.

О явно неблагоприятной политической репутации поэта в период его одесской жизни свидетельствовал и его дальний родственник М. Д. Бутурлин — мелкий чиновник в канцелярии Воронцова. Так, в своих мемуарных записках он отмечал, что, нередко встречаясь с Пушкиным в театре, он желал сблизиться с ним, но «Александр Сергеевич слыл вольнодумцем и чуть ли почти не атеистом, и мне дано было заранее предостережение о нем из Флоренции... как об опасном человеке»⁵⁸. Предостережение это исходило из его семьи, которая в связи с болезнью отца М. Д. Бутурлина — Д. П. Бутурлина еще в 1817 году уехала во Флоренцию. Д. П. Бутурлин — известный в России библиофил, сенатор, директор Эрмитажа. Пушкин с сестрой в детстве были частыми посетителями московского дома Бутурлиных.

Воронцов быстро разобрался в том, что ссыльный поэт для него далеко не удачное приобретение. Уже 24 марта 1824 г. в письме к Нессельроде он просит об удалении

* Пристанище.

его из Одессы: «Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него. Не думаю, что служба при генерале Инзове что-нибудь изменит, потому что хотя он и не будет в Одессе, но Кишинев так близок отсюда, что ничто не помешает его почитателям ездить туда... По всем этим причинам я прошу Ваше сиятельство довести об этом до сведения государя и испросить его решение. Если Пушкин будет жить в другой губернии, он найдет более поощритель к занятиям и избежит здешнего опасного общества»⁵⁹. Через десять дней (8 апреля 1824 г.) он же (Воронцов) откровенно пишет своему другу и царедворцу Н. М. Лонгинову (разумеется, снова в надежде, что это дойдет и до царского окружения, а может быть, и самого царя): «...я писал к гр. Нессельроде, прося, чтоб меня избавили от поэта Пушкина. На теперешнее поведение его я жаловаться не могу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лени, другое — таскается с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, кого и без того он имеет много... В Одессе много разного сорта людей, с коими эдакая молодежь охотно водится, и, желая добра самому Пушкину, я прошу, чтоб его перевели в другое место, где бы он имел и больше времени и больше возможностей заниматься, и я буду очень рад не иметь его в Одессе»⁶⁰. Менее чем через месяц (29 апреля) он вновь пишет Лонгинову: «О Пушкине не имею еще ответа от гр. Нессельрода, но надеюсь, меня от него избавят», а 2 мая — опять Нессельроде: «Я повторяю мою просьбу — избавить меня от Пушкина: это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его более ни в Одессе, ни в Кишиневе»⁶¹.

Во всех таких письмах, сильно напоминающих доносы, Воронцов под видом объективно положительной аттестации поведения Пушкина в действительности сообщает правительству о том, что Пушкин лишь ведет себя осторожно, на самом же деле до исправления его очень далеко. Однако опытный сановник не успел оправдаться перед царем и получил от него личное указание на «промашку» генерал-губернатора и наместника относительно политической крамолы в Одессе и вверенном ему крае. В своем письме к Воронцову от 1—2 мая 1824 г. монарх обращал внимание генерал-губернатора: «Я имею сведения, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из Польских губерний и даже из военнслужащих без позво-

ления своего начальства многие лица; кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неоснованными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние... Будучи уверен в усердии и попечительности Вашей о благе общем, я не сомневаюсь, что Вы обратите на сей предмет особое свое внимание и примите строгие меры, дабы подобные беспорядки... не могли иметь места в столь важном торговом городе, каковой Одесса...⁶².

В этом царском послании и в самом деле нет ни намека на одобрение, так сказать, хозяйственной деятельности Воронцова (что объективно было со стороны царя несправедливо). Как и предполагал сам одесский генерал-губернатор, царское неудовольствие вызывалось людьми, «могущими иметь на слабые умы вредное влияние». Вскоре Воронцов получил письмо от Нессельроде, датированное 16 мая, в известной мере свидетельствующее о прощении его (Воронцова) царем за допущенные погрешности по части выполнения им высших генерал-губернаторских обязанностей (полицейский надзор за независимо мыслящими людьми, ограничение их влияния на общество). Нессельроде сообщал: «Я представил императору Ваше письмо о Пушкине (имеется в виду письмо от 28 марта. — А. Н.). Он был вполне удовлетворен тем, как вы судите об этом молодом человеке»⁶³. Главным в этом письме для Воронцова было то, что и в официальном Петербурге желают удаления Пушкина из Одессы и что подходящий повод для этого должен найти сам Воронцов.

А найти повод оказалось не так легко. Пушкин был уже не тем, каким он приехал в южную ссылку (достаточно вспомнить его отказ посетить в тюрьме В. Ф. Раевского). И Воронцов понимал, что надо использовать все. Зная самолюбие поэта, одесский генерал-губернатор 22 мая отдал предписание «господину коллежскому секретарю Пушкину» отправиться в уезды для участия в борьбе с саранчой. Пушкин, приняв это за очередное оскорбление, не выполнил поручения генерал-губернатора и подал прошение об отставке. 2 июня в официальном заявлении на имя царя (через Воронцова и коллеггию иностранных дел) он делает это, ссылаясь на «слабость здоровья». Однако сразу же после подачи прошения Пушкин полностью откровенно и совсем по-иному объясняет мотивы своего решения об отставке в записке А. И. Казначееву: «Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему,

ничто так не бесчестит, как покровительство... Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника... Единственное, чего я жажду, это — независимости...» (10, 88). Последнее, конечно же, понимали и царь, и Нессельроде, понимали, разумеется, по-своему. Пушкин представил прошение об отставке официально. Однако Воронцов, не до конца уверенный в том, что события будут разворачиваться в соответствии с его желаниями, вначале сообщает об этом Нессельроде в «частном» порядке, чтобы тот либо дал ход пушкинскому прошению, либо не предпринимал по нему никаких шагов: «Пушкин представил прошение об отставке. Не зная, по справедливости, как поступить с этой просьбой, я посылаю вам ее в частном письме и настоятельно прошу вас дать ей ход, либо мне ее возвратить, в зависимости от того, как вы рассудите»⁶⁴. 27 июня Нессельроде также «частным» образом отвечает Воронцову на его письмо, в котором сообщает, что «Император решил и дело Пушкина: он не останется при вас...»⁶⁵.

В это время положение Пушкина неожиданно осложнилось тем, что правительство получило изъятое на почте письмо поэта (как считается в литературоведении, адресованное Кюхельбекеру и отправленное в апреле — мае 1824 г.), в котором он проговаривался о своих атеистических взглядах: «читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. — Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et regulateur*, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная» (10, 86).

Письмо это в сочетании с тайными и открытыми доносами о Пушкине (того же Воронцова) оказалось решающим для его судьбы. 11 июля Нессельроде уже официально сообщает о «высочайшей» в отношении Пушкина воле и возлагает на Воронцова ее исполнение: «Я представил на рассмотрение императора письма, которые ваше сиятельство прислали мне, по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его Величество вполне согласился с вашим

* Что не может быть существа разумного, творца и правителя.

предложением об удалении его из Одессы, после рассмотрения тех основательных доводов, на которых вы основываете ваши предположения, и подкрепленных, в это время, другими сведениями, полученными Его Величеством об этом молодом человеке. Все доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественном поприще. Вы убедитесь в этом из приложенного при сем письма (имеется в виду цитируемое выше атеистическое письмо Пушкина. — А. Н.). Его Величество поручил переслать его Вам; об нем узнала московская полиция, потому что оно ходило из рук в руки и получило всеобщую известность. Вследствие этого, Его Величество, в видах законного наказания, приказал мне исключить его из списков чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение; впрочем, Его Величество не соглашается оставить его совершенно без надзора, на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, все более и более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить, по возможности, такие последствия, император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства. Ваше сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами»⁶⁶.

Пушкин находился еще в неведении относительно своей дальнейшей судьбы (да и Воронцов не знал о предстоящей ссылке «прикомандированного» к нему поэта именно в Михайловское), а исполнение царской воли уже началось. Нессельроде на следующий же день после отправки официальной депеши с объявлением «высочайшей воли» в отношении Пушкина также в официальном документе на имя остзейского (рижского) военного генерал-губернатора (в ведении которого находилась Псковская губерния) маркиза Ф. О. Паулуччи уведомляет его и о «высочайшей воле» в отношении Пушкина, и о новых его (Паулуччи) обязанностях в отношении поэта. Документ этот любопытен по ряду моментов и заслуживает приведения его полностью:

«Господин маркиз,
Император повелевает мне препроводить вашему пре-

восходительству прилагаемую копию депеши, отправленную мною новороссийскому генерал-губернатору касательно коллежского секретаря Пушкина, который несколько лет тому назад был сослан в полуденные края империи за некоторые заблуждения, в которых он провинился в Петербурге. Надеюсь, что с течением времени удаление от столицы и в связи с тем деятельность, которую могла предоставить этому молодому человеку служба, сначала при генерале Инзове и потом при графе Воронцове будут в состоянии привести его на стезю добра и успокоят избыток воображения, к несчастью не всецело посвященного развитию русской литературы — природному призванию г. Пушкина, которому он уже следовал с величайшим успехом. Ваше превосходительство, усмотрите, прочитав бумаги, которые я имею честь вам сообщить, что это ожидание не оправдалось. Император убедился, что ему необходимо принять по отношению к г. Пушкину некоторые новые меры строгости, и, зная, что его родные владеют недвижимостью в Псковской губернии, его Величество положил сослать его туда, вверяя его вашим, господин маркиз, неусыпным заботам и надзору местных властей. От вашего превосходительства будет зависеть, по прибытии Пушкина в Псков дать этому решению его величества наиболее соответствующее исполнение.

Примите, господин маркиз, уверение, в моем высоком уважении»⁶⁷.

Что же примечательного в этом документе? Во-первых, в нем не кто иной, как сам министр иностранных дел наконец-то «официальное перемещение» поэта по службе (в Кишинев) откровенно назвал ссылкой. Во-вторых, не менее откровенно были названы и причины этой ссылки. В-третьих, разочарованность царя и его ближайшего окружения в их надеждах на «перевоспитание» поэта в «полуденных» краях. При этом Пушкину вменяются в вину и новые прегрешения, и как следствие их, назначаются в отношении него новые, более строгие меры наказания. И в-четвертых, министр иностранных дел напомнил военному генерал-губернатору о пристальном «надзоре» за Пушкиным по месту его новой ссылки.

Через день уже Паулуччи сообщает подчиненному ему псковскому губернатору Б. А. Адераксу царскую волю о необходимости учредить «над означенным Пушкиным, сосланным на жительство к родственникам своим в губернии, вам вверенной, надлежащий надзор». При этом он не просто излагает «высочайшую волю» по этому предмету,

а формулирует собственную программу этого надзора: «Во исполнение сего я поручаю Вашему превосходительству снести с г. предводителем дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина, дабы сей по прибытии в Псковскую губернию и по взятии Вашим превосходительством от него подписки в том, что он будет вести себя благоугодно, не занимаясь никакими неприличными сочинениями и суждениями, находился под бдительным надзором, причем нужно поручить избранному для надзора дворянину, чтобы он в таких случаях, когда замечены будут предосудительные г. Пушкина, поступки, тотчас доложил о том мне через В. пр. О всех же распоряжениях ваших по сему предмету я буду ожидать вашего уведомления»⁶⁸.

Выполнение монаршей воли в Одессе последовало также незамедлительно. 29 июля Пушкин подписывается под следующим распоряжением одесского градоначальника: «Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г. Одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу, а по прибытии в Псков явиться к г. гражданскому губернатору. 29 дня. 1824». К этому документу приложена расписка в получении прогонных денег: «По маршруту из Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять рублей четыре копейки»⁶⁹. Читателя, видимо, не может не умилять размер отпущенной поэту суммы дорожных денег с указанием «четырех копеек», но эти «четыре копейки» были так важны для отчетов, что они фигурировали не только в документации градоначальника, но и генерал-губернатора и даже самого министра иностранных дел. Так, в тот же день, т. е. 29 июля одесский градоначальник доносил Воронцову: «Пушкин завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения по числу верст 1621, на три лошади, выдано ему денег 389 р. 4 к.»⁷⁰. Выдача денежного пособия была, видимо, очень важной финансовой операцией, так как об этом Воронцов через четыре месяца (30 ноября) счел необходимым доложить Нессельроде.

Пушкин, как отмечалось, дал властям расписку в том, что он не должен отклоняться от предписанного ему маршрута. Однако, по мемуарным свидетельствам

А. П. Керн, он нарушил это обязательство и заехал к одному из своих друзей — А. Г. Родзянко, проживавшему в своей деревне в Хорольском уезде Полтавской губернии. Он «прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади в хомуте...»⁷¹.

Выехал же Пушкин из Одессы 31 июля 1824 г. к новому месту ссылки, где его как уже официально ссыльного ждал более строгий надзор.

ТРОЙНОЙ НАДЗОР В МИХАЙЛОВСКОМ

Пушкин приехал в Михайловское 9 августа 1824 г. и пробыл там более двух лет. Несмотря на строгое предписание — вначале прибыть в Псков для представления губернатору, поэт, не заезжая туда (терять ссыльному было особенно нечего), от Опочки свернул прямо в Михайловское. Однако, как было уже отмечено, еще до отъезда Пушкина из Одессы надзор за ним усилиями Нессельроде, Воронцова, Паулуччи и Адеракса был тщательно продуман и организован.

Непосредственное официальное наблюдение за поэтом осуществлял (так сказать, по долгу «службы» общественной) А. Н. Пещуров — опочекский уездный предводитель дворянства. Кроме того, псковский губернатор Адеракс предлагал помещику И. М. Рокотову (один из соседей Пушкина по Михайловскому) осуществлять слежку за Пушкиным, но тот отказался. Следует отметить, что этот официальный надзор, надзор, вытекающий из губернских функций полицейского характера, был далеко не символическим. Например, в 1825 году, желая улучшить положение сына, Надежда Осиповна обратилась к Александру I, чтобы тот разрешил сосланному поэту выехать из Михайловского для производства необходимой ему хирургической операции (по поводу аневризма). Просьба Н. О. Пушкиной была удовлетворена и начальник Главного штаба И. И. Дибич в июне 1825 года уведомил ее об этом. Вместе с тем он одновременно уведомлял и Паулуччи, и Адеракса о том, что император настоятельно напоминает им обоим о необходимости строжайшего надзора за Пушкиным во время пребывания его в Пскове. Так, Адераксу было сделано следующее распоряжение: «К сему имею честь присовокупить, что его императорскому величеству угодно,

чтобы ваше превосходительство имели наблюдение как за поведением, так и за разговорами г. Пушкина»⁷².

Да, не откажешь императору и в склонности к полицейскому делу, и в достаточных навыках этой совсем не царской профессии, да и в определенной прозорливости насчет необходимости установления строжайшей слежки за поэтом. Увы, царский план усиленного надзора за Пушкиным в Пскове не был выполнен, так как Александр Сергеевич отказался от предоставленной ему императорской милости.

Следует отметить, что и военному генерал-губернатору, и гражданскому официальный надзор за поэтом показался недостаточным и Пещуров по совету Паулуччи предложил отцу поэта, Сергею Львовичу, дать подписку в том, что он будет иметь неослабный надзор за сыном. Есть официальные свидетельства, что Сергей Львович взял на себя такую обязанность. Так, Адеракс в своем рапорте Паулуччи от 4 октября 1824 г. докладывал:

«Имея честь получить предписание Вашего сиятельства от 15 июля о высланном на жительство в вверенную мне губернию коллежского секретаря Пушкина и о учреждении над ним присмотра, я относился к г. губернскому предводителю дворянства, дабы избрал одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением его, Пушкина, и получил от него, г. губернского предводителя дворянства, уведомление, что попечителем над Пушкиным назначил он коллежского советника Рокотова, который, узнав о сем назначении, отозвался болезнию, а равно и от поручения, на него возложенного. Г. губернский предводитель дворянства, уведомив меня о сем, присовокупил, что, помимо Рокотова, которому бы можно поручить смотрение за Пушкиным, он других дворян не имеет. — Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра Пушкина и по отобрании у него подписки и по сношении о сем с родителем его г. статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности и который с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном его отозвался неизвестностью, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим»⁷³.

Судя по отношениям отца и сына друг к другу, первый по праву отца и из страха более или менее добросовестно выполнял возложенные на него полицейские по отношению к сыну обязанности и следил за ним. Все это не могло

не вызвать раздражения поэта. В своем письме от 31 октября 1824 г. Жуковскому он возмущается: «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною следить, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моим шпионом» (10, 105). В письме к В. Ф. Вяземской, отправленном также в октябре, он пишет: «Мой отец имел слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые... поставили его в ложное положение по отношению ко мне» (10, 102). Отцовско-семейный надзор как продолжение или дополнение полицейского был невыносимым и в особенно тяжелые для Александра Сергеевича минуты он опрометчиво пишет письмо Адераксу с просьбой ходатайствовать перед царем о переводе его в одну из своих крепостей (т. е. тюрем), но, по счастью, оно не было отправлено.

Но был еще и третий вариант надзора за поэтом — религиозный. Священнику церкви Воскресения Христова в селе Воронич (вблизи Тригорского) Л. Е. Раевскому (по прозвищу Шкода) был поручен духовный надзор за поэтом. О том, что тот выполнял эти обязанности, а поэт всерьез воспринимал это, свидетельствуют мемуарные записки И. И. Пущина о посещении им своего опального друга. «Среди этого чтения (привезенной в подарок поэту рукописи грибоедовского «Горя от ума». — А. Н.) кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею*. Заметя его смущение и не подозревая причин, я спросил его: «что это значит?» Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря... Мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!»⁷⁴.

Забегая вперед, скажем, что церковный надзор за поэтом не испробывался годами его михайловской ссылки, а продолжался едва ли не до его смерти и тесно переплетался с полицейским. Так, протоиерей Казанского собора, профессор Петербургской духовной академии и Петербург-

* Сборник житий святых.

ского университета Ф. Ф. Сидонский рассказывал цензору А. В. Никитенко о жалобе митрополита Филарета Бенкендорфу на стих Пушкина в седьмой главе «Евгения Онегина»: «И стаи галок на крестах». Митрополит видел в этом неуважение поэта к религии. Бенкендорф же был Бенкендорфом и потребовал объяснения по этому поводу от цензора, пропустившего такие богохульные стихи. Цензор же, не нашедший в этих стихах никакой крамолы, объяснил, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускавший это, а не поэт и цензор»⁷⁵.

О существовании полицейского и церковного надзора (несмотря на секретность документов, в которых он устанавливался) над поэтом знали и в Петербурге. Знали там и о том, насколько было опасно любое общение с ссыльным поэтом. В тех же пушкинских записках говорится об отношении к этому А. И. Тургенева, одного из близких друзей Пушкина: «Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-либо поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него? «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?.. Не советовал бы...» Почти те же предостережения выслушал Пущин и от дяди поэта — В. Л. Пушкина⁷⁶.

Насколько опасно было общение с Пушкиным даже для его друзей может свидетельствовать история с его приятелем — П. А. Плетневым, издавшим в 1825 году первую главу «Евгения Онегина». Этот факт не прошел мимо внимания большого начальства, причастного к полицейскому надзору за поэтом. 9 апреля 1826 г. начальник Главного штаба И. И. Дибич в секретной записке, направленной на имя петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова (сменившего умершего Милорадовича), спрашивал последнего о том, каковы «взаимоотношения сочинителя Пушкина и комиссионера его, надворного советника Плетнева»? На этом документе имеется надпись, сделанная, видимо, Голенищевым-Кутузовым: «Поведения примерного, жизни тихой и уединенной; характера скромного и даже более робкого. В прочем изустно объявлено генерал-майору Арсеньеву иметь за ним надзор»⁷⁷. Как видно, Плетневу не помог ни «скромный» и даже «робкий» характер, ни «примерный» образ жизни. Один

лишь факт существования связи с опасным Пушкиным, по логике военного генерал-губернатора, требовал установления за ним «ближайшего» надзора. Все это (близость Плетнева к поэту) не давало покоя и самому царю. 23 апреля 1826 г. Дибич со ссылкой на высочайшую волю направляет новое секретное письмо Голенищеву-Кутузову: «По докладу моему отношения вашего превосходительства, что надворный советник Плетнев особенных связей с Пушкиным не имеет, а знаком с ним только как литератор, государю императору угодно было повелеть мне, за всем тем, покорнейше просить вас, милостивый государь, усугубить всевозможные старания узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным и берет на себя ходатайства по сочинениям его, и чтобы ваше превосходительство изволили приказать иметь за ним ближайший надзор»⁷⁸. Царь не уверен, что начальник Главного штаба и военный генерал-губернатор сделают «все как надо» и потому дает по части полицейского надзора свои рекомендации. Разумеется, высочайшая воля была выполнена и чуть больше чем через месяц (29 мая) Голенищев-Кутузов в свою очередь также в секретном послании докладывал Дибичу: «На секретное отношение вашего превосходительства от 23-го сего апреля № 34 имею честь уведомить, что надворный советник Плетнев действительно не имеет особенных связей с Пушкиным, а только по просьбе Жуковского смотрел за печатанием сочинений Пушкина и вырученные за продажу оных деньги переслал к нему, но и сего он ныне не делает и совершенно прекратил всякую с ним переписку. При сем долгом поставляю присовокупить, что высочайшая воля относительно имени ближайшего надзора за г. Плетневым исполнена». На бумаге имеется приписка: «Через дежурного штаб-офицера объявлено г. генерал-майору Арсеньеву иметь за Плетневым секретное и неослабное наблюдение»⁷⁹. То есть опять-таки генералы уверены в лояльности Плетнева, но раз император не уверен (ведь это же надо: надворный советник подозревается в дружбе с Пушкиным!), то служба есть служба и секретный надзор за Плетневым должен быть установлен. В ходе этой секретной переписки Плетнев был вызван лично к Голенищеву-Кутузову, сделавшему ему строгий выговор за то, что тот переписывается с «находящимся под гневом властей сочинителем. Об этом, например, Плетнев иносказательно сообщил Пушкину в своем письме от 14 апреля 1826 г.: «Не удивляйся, душа моя, что я целый месяц не писал к тебе. Этот месяц был

для меня черным не только в году, но и во всей жизни. Сроду не бывал я болен и не пробовал, каковы на свете лекарства; а теперь беспрестанно их глотаю через час по две ложки. Это, однако, не помешало мне, хоть и с разными изворотами, исполнить все твои комиссии...»⁸⁰.

Пушкин всегда помнил, что своей перепиской он доставил большие неприятности другу и дважды, когда от того долго не было писем, спрашивал его, но по уже известной причине Плетнев не отвечал ему. Так, в письме от 7 января 1831 г. поэт пишет: «...знаю, что ты жив — а писем от тебя все нет. Уж не запретил ли тебе генерал-губернатор иметь со мною переписку? чего доброго!» Почти то же самое и в письме от 26 марта 1831 г.: «Что это значит, душа моя? ты совершенно замолк. Вот уже месяц как от тебя ни строчки не вижу. Уж не последовало ли вновь тебе от генерал-губернатора милостивое запрещение со мною переписываться?» (10, 330, 343).

Установление за поэтом надзора в Михайловском — это не частный факт биографии поэта, связанный с проживанием его на псковской земле. Юридические последствия этого надзора продолжались до самой смерти поэта. Например, в «Послужном списке Титулярного Советника в звании камер-юнкера Александра Пушкина», составленном в январе 1837 года (!), было зафиксировано: «Во время жительства его в Одессе Высочайше повелено перевести его оттуда на жительство в Псковскую губернию, с тем, чтобы он находился под надзором местного начальства»⁸¹.

Положение сосланного в деревню поэта, оторванного от друзей и общественной жизни, становилось с каждым днем невыносимее. Он вынашивал и планы получения у царя разрешения на поездку для лечения за границу, и даже побега в чужие края. И первое и второе не было осуществлено. Тем временем наступило 14 декабря 1825 г., а затем и расправа над восставшими. Поэт тяжело переживал трагическую участь своих друзей-декабристов, но думал и о том, что новый царь может отменить ссылку. В своем письме от 7 марта 1826 г. Жуковскому он просит его заступиться перед Николаем I и обязуется быть впредь благоразумным: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (10, 203).

Однако «радостные надежды» соединялись у поэта с объективной оценкой его очень неустойчивого положения и сомнениями относительно своей будущей судьбы. Он понимал, что обнаруженные в ходе следствия и суда по делу декабристов его связи со многими активными участниками декабристского движения легко могут быть вменены ему в вину. Поэтому в письме Жуковскому от 20 января 1826 г. он признается: «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно...» (10, 198).

Жуковский был ближе к последней далеко не оптимистической оценке. В своем ответном письме от 12 апреля 1826 г. Жуковский писал, что время хлопотать за него еще не пришло, что он еще находится на серьезном подозрении у правительства по своим связям с восставшими: «Что могу тебе сказать насчет твоего желания покинуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но *писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени... Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством»⁸². Правоту Жуковского подтверждали и мнения по этому поводу лиц, служащих по ведомству тайной полиции. Так, будущий активный агент III Отделения, а пока сотрудничающий с тайной канцелярией фон Фока (еще ранее официально служивший в канцелярии министра полиции Балашова) поэт и драматург С. И. Висковатов доносил в феврале 1826 года: «Прибывшие на сих днях из Псковской губернии достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению определенный к надзору местного начальства в имении матери его, состоящем Псковской губернии в Апочецком уезде, и ныне проповедует безбожие и неповиновение властям и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: «Наконец не стало Тирана, да и оставший род его не долго в живых останется!»⁸³.

В июле 1826 года в Псковскую губернию по инициативе

уже упомянутого Витта был направлен его опытный шпион Бошняк для «возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян» и для «арестования его и отправления куда следует, буде бы он оказался виновным»⁸⁴. Бошняка сопровождал фельдъегерь, которому также был выдан открытый ордер на арест, в который надо было лишь вписать в случае необходимости имя поэта! Этот полицейский документ, подписанный военным министром Татищевым, выглядел следующим образом:

«Открытое предписание.

Предъявитель сего фельдъегерь Блинков отправлен по высочайшему повелению Государя Императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при печатании и забрании бумаг, одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании.

Вследствие сего по Высочайшей воле его императорского Величества предписывается, как военным начальникам, так и гражданским чиновникам, земскую полицию составляющим, по требованию фельдъегеря Блинкова оказывать ему тотчас содействие и воспомоществование к взятию и отправлению с ним того чиновника, о котором он объявит»⁸⁵.

Говоря же о «миссии» Бошняка, следует отметить, что он обладал незаурядными способностями в области политического сыска. Он, например, сумел «втереться» в доверие членов Южного тайного общества. Это был образованный ботаник, литератор, автор нескольких книг. Во время своей «командировки» по делу Пушкина он опросил многих помещиков, мещан и крестьян по поводу образа жизни ссыльного поэта и его политических настроений. В своем отчете о поездке Бошняк приводит мнения крестьян, хозяина гостиницы в Ново-Ржеве, уездного судьи, ссылается на отзывы семейства помещика Пущина, игумена Ионы и близкого соседа Пушкина — помещика Львова. Все они, за исключением последнего, отозвались о Пушкине очень благожелательно. Львов же, бывший последние пять лет Псковским губернским предводителем дворянства, верноподданнически отметил, что сочинения Пушкина «ясно доказывают, сколько сей человек, при удобном случае, мог бы быть опасен», но и он признал, что «Пушкин живет очень скромно...»⁸⁶.

Так или иначе, но компрометирующих материалов в

отношении Пушкина опытный агент не собрал, и это, по всей видимости, было решающим для определения царем дальнейшей судьбы поэта. Новый самодержец решил сам переговорить с поэтом и попытаться приручить его. Императорско-полицейская «канцелярия» заработала, и в августе 1826 года последовало высочайшее повеление, объявленное Дибичу, о вызове Пушкина в Москву. Начальник Главного штаба обратился с тем же к псковскому губернатору, а тот письменно довел это распоряжение до ссыльного поэта. В ночь с 3-го на 4 сентября в сопровождении фельдъегеря Пушкин был отправлен в Москву.

ПУШКИН И III ОТДЕЛЕНИЕ

Ко времени вызова Пушкина царем в Москву уже функционировало новое учреждение политического сыска, которое вплотную занялось надзором за поэтом. Его создание объяснялось тем, что и военная, и гражданская полиция «проморгали» декабристское движение, чем вызвали неудовольствие и недоверие нового императора к этим традиционным для России полицейским организациям. В начале 1826 года Бенкендорф представил Николаю I несколько записок об учреждении высшей полиции и корпуса жандармов. В результате этого уже 3 июля 1826 г. Николай I издал Указ «О присоединении Особенной Канцелярии Министерства внутренних дел к Собственной Его Величества Канцелярии». Фактически старая канцелярия преобразовывалась в III Отделение (I Отделение ведало назначениями, наградами, званиями и пенсиями высших чиновников, II — занималось кодификацией законов) Собственной императорской канцелярии под начальством Бенкендорфа. Управляющим этой канцелярией оставался фон Фок. В компетенцию нового учреждения входило:

1. Все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции.
2. Сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов.
3. Известия об открытиях по фальшивым ассигнованиям, монетам, штемпелям, документам и проч., коих розыскания и дальнейшее производство остается в зависимости министерств: финансов и внутренних дел.
4. Сведения подробные о всех лицах, под надзором

полицейских состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения.

5. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных.

6. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заточения, в коих заключаются государственные преступники.

7. Все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в предел Государства прибывающих и из оного выезжающих.

8. Ведомости о всех без исключения происшествиях.

9. Статистические сведения, до полиции относящиеся.

Чуть позже, 28 апреля 1827 г., был учрежден Корпус жандармов как исполнительный орган III Отделения, шефом которого также был назначен Бенкендорф. Сам император внимательно следил за деятельностью III Отделения и под его покровительством оно превратилось в могущественный орган, опутавший всю страну сетью тайных агентов. Герцен справедливо называл корпус жандармов «вооруженной инквизицией», имевшей «во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев *слушающих и подслушивающих*», III Отделение — «центральной конторой шпионажа», а самого Бенкендорфа — лицом, «который судит все, отменяет решения судов, вмешивается во все, а особенно в дела политических преступников»⁸⁷.

Итак, уже с ведома вновь созданного III Отделения Пушкин был отозван в Москву. Чтобы опасный поднадзорный не пропал, «высокие» государственные учреждения ведут учет его передвижения и местонахождения. Сразу же по отправлению ссыльного из Михайловского псковский губернатор секретно информирует об этом Дибича, а 21 ноября фон Адеракс также секретно уведомляется о том, что «вытребованный из Пскова чиновник 10 класса Александр Пушкин оставлен в Москве»⁸⁸.

Утром 8 сентября Пушкин прямо с дороги был доставлен в Кремль, в канцелярию дежурного генерала Потапова, немедленно известившего об этом Дибича, а тот через этого же генерала передал Пушкину «высочайшую волю» о том, что в 4 часа пополудни поэта примет сам император. Об этой встрече осталось много мемуарных свидетельств. Несмотря на различие в некоторых деталях, все мемуаристы сходятся в основном. Во-первых, в том, что Пушкин держал себя перед царем смело и откровенно и на вопрос Николая I, где он был бы 14 декабря 1825 г., если бы находился в Петербурге, поэт ответил, что был бы

в рядах мятежников. Во-вторых, что царь «простил» поэта и возвратил его из ссылки. И в-третьих, самодержец назначил себя цензором Пушкина.

Несмотря на царское «прощение», III Отделение не только не оставило поэта в покое, но, наоборот, занялось им, так сказать, вплотную. Уже 17 сентября 1826 г. фон Фок в секретном донесении Бенкендорфу сообщил последнему новые сведения о поэте, по его мнению, доказывающие незаслуженность им царских «милостей»: «Выезжая из Пскова, Пушкин написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещающая его об этой новости и прося его прислать ему денег, с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское. — Этот господин известен за мудрствователя, в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему»⁸⁹.

Несколько слов о личности автора столь нелюбимой характеристики поэта и о его прогнозах в отношении будущего поведения характеризуемого. М. Я. фон Фок — управляющий III Отделением (до его учреждения был директором Особой канцелярии при министре полиции), ближайший помощник Бенкендорфа. Фон Фок, по признанию современников, был человек умный и образованный, хорошо знавший несколько языков. Он являлся главной пружиной тайного сыска. Пушкин отдавал должное его деловым и человеческим качествам. В своих дневниковых записках 1831 года он пишет: «На днях скончался в Петербурге Фон-Фок, начальник 3-го отделения государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное» (8, 26). Однако не станем преувеличивать эту оценку. Она дана поэтом, в первую очередь, в сравнении управляющего тайной полицией с Бенкендорфом и другими чинами, совсем не похожими на образованного фон Фока. Не случайно в письме к Вяземскому от 3 сентября 1831 г. он писал: «Ты пишешь о журнале: да, черта с два! кто нам разрешит журнал? Фон-Фок умер, того и гляди поступит на его мес-

то Н. И. Греч. Хороши мы будем!» (10, 380). Таким образом, смысл доброжелательной характеристики, данной поэтом, мастеру полицейского и политического сыска, заключался в том, что Пушкин признавал, что образованность фон Фока не является обычной для его коллег по полицейскому поприщу и что все остальные «куда хуже» последнего. Тем не менее, как видно, образованность фон Фока не помешала ему дать, в свою очередь, крайне отрицательную нравственно-политическую характеристику поэту и высказать шефу жандармов свои предложения о способах воздействия на него. Думается, что слова «необходимо проучить» означали применительно к Пушкину — найти повод запугать его тяжкими для него последствиями (хотя поэт и сам не имел в этом отношении никаких иллюзий, так как хорошо знал, что любая его оплошность может обернуться Сибирью или тюрьмой).

Тем не менее полицейская слежка за Пушкиным продолжалась, и вскоре шеф жандармов докладывал Николаю I: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью, за ним все-таки следят внимательно»⁹⁰. По поводу этого донесения можно сказать, что оценка отношения Пушкина к царю была, в принципе, верной. Что-что, а неблагодарность была вовсе не свойственна поэту. Тем более что в тот момент его переполняло пьянящее чувство свободы, нахлынувшее после долгих лет ссылки. Общение с друзьями, возвращение в литературные круги, наконец, просто прелесть московских балов (не будем забывать и о молодости поэта) — все это, он прекрасно понимал, произошло по воле царя, и Александр Сергеевич по-человечески был благодарен ему. Этого он не скрывал и от окружающих ни в разговорах с ними, ни в своих письмах, и это, как явствует из донесения шефа жандармов Николаю I, было хорошо известно тем, кто непосредственно осуществлял полицейское наблюдение за поэтом. И сам Бенкендорф успокаивал царя: несмотря на благожелательные отзывы о Пушкине, за ним «следят внимательно».

Немного позже, 5 марта 1827 г., жандармский генерал Волков в донесении Бенкендорфу также свидетельствовал о «благонамеренном» поведении Пушкина: «О поэте Пушкине сколь краткость времени позволила мне сделать разведания, — он принят во всех домах хорошо и, кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой...»⁹¹. За Пушкиным внимательно продолжают следить, успокаивают шефа жандармов. Однако улыбнемся снисхо-

дительно по поводу прогноза жандармского генерала на счет того, что Пушкин будто бы за картами забросил поэзию: внутренний мир поэта был недоступен жандармскому надзору.

Летом того же года (12 июля) уже сам Бенкендорф докладывал Николаю I: «Пушкин, после свидания со мной, говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно»⁹². Зная финал этих жандармских надежд, можно сказать, что они были напрасны и поэт их не оправдал. Направить его перо на службу самодержавию не удалось ни императору, ни шефу жандармов.

Сознавал ли поэт существование за ним навязчивой полицейской слежки? Солидный опыт ссыльнопроживающего, приобретенный им ранее, конечно же, не делал эту полицейскую слежку для него тайной. Но чувство свободы, присущее Пушкину, несмотря на все надзоры, ощущение молодости позволяло ему относиться ко всему этому насмешливо-снижительно. Так, в письме к П. П. Каверину от 18 февраля 1827 г. он описывает свое московское житье в ярко-полицейской окраске: «...наша съезжая в исправности — частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны,.. и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера» (10, 224). Даже свое пристанище он называет «съезжей», т. е. полицейским участком, а друга — хозяина Соболевского — «частным приставом». Не забывает он и о посетителях — шпионах. В этом письме чувствуется и откровенная издевка поэта над своими полицейскими попечителями и уверенность в том, что ему удастся провести их.

В письме к поэту от 31 августа 1831 г. его близкие друзья — Вяземские шутливо указывают адрес поэта таким образом: «Адрес: Александру Сергеевичу Шульгину, нет, виноват, соврал, Пушкину»⁹³. Шульгин — это московский обер-полицмейстер. Вяземские намекают на то, что письма, адресованные Пушкину лично, не пройдут мимо полиции. Поэтому их можно сразу адресовать на имя обер-полицмейстера.

Вернемся, однако, к царскому «прощению». Оно было весьма своеобразным. По всей вероятности, поэт вначале не вполне осознал все тягости своего, так сказать, свободного существования. Но очень скоро через Бенкендорфа последовало разъяснение содержания царской воли. 30 сен-

тября 1826 г. Бенкендорф написал Пушкину письмо, в котором уведомил его, что поэту разрешено свободное повсюду проживание, но что все свои сочинения он должен, минуя цензуру, представлять царю или непосредственно, или через Бенкендорфа. О понимании царем и главным жандармом «свободного проживания» речь впереди. В литературном же плане Пушкин теперь накрепко был привязан и к тому и к другому. Видимо, он принял сообщение шефа жандармов к сведению, но оставил его без ответа. В связи с этим в своем следующем к поэту письме (от 29 ноября) Бенкендорф делает ему первый выговор за «самовольное» чтение Пушкиным «Бориса Годунова» и за то, что тот оставил без внимания его первое письмо. Поэт вынужден был оправдываться. На этот раз сразу же после получения письма от шефа жандармов (в тот же день!) он отвечал ему:

«...я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которого удостоился получить от Вашего превосходительства...

Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя), то поставляю за долг препроводить ее Вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана...» (10, 218).

Таким образом царская цензура обернулась для поэта жандармскими цепями. Речь, оказывается, шла не только о разрешении царем и Бенкендорфом вопроса о печатании пушкинских произведений, но даже и об их устном прочтении. Следует отметить, что, когда уже после смерти поэта, Жуковский прочитал письмо Бенкендорфа с выговором по поводу прочтения Пушкиным своей поэмы «Борис Годунов», он с возмущением писал шефу жандармов: «...в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику»⁹⁴.

Тем не менее Пушкину надо было «исправляться». Но не мог же он беспокоить царя из-за каждого своего стихотворения, каждой строки, вышедшей из-под его пера! (хотя, с позиций нашего видения этой проблемы, какие государственные дела Николая I могли быть более важными?). И в том же письме Бенкендорфу (от 29 нояб-

ря) Пушкин пытается оправдаться по поводу того, что несколько стихотворений он уже отдал в журналы: «Мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного, среди огромных его забот: я раздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей: прошу от Вашего превосходительства разрешения сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре» (10, 219).

В этот же день Пушкин предпринял и практические шаги по остановке издательского процесса. Он пишет М. П. Погодину, издателю журнала «Московский вестник»: «Милый и почтенный, ради бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя, — *такова воля высшего начальства*; покамест не могу участвовать и в вашем журнале — но все перемелется и будет мука, а нам хлеб да соль. Нёкогда пояснять: до свидания скорого. Жалею, что договор наш не состоялся» (10, 218). Кстати сказать, «дружба» с царем и Бенкендорфом ударила и по материальному благополучию небогатого поэта. По договору Пушкина с Погодиным об участии поэта в журнале «Московский вестник» он должен был получить 10 000 руб. с проданных 1200 экземпляров журнала.

Так выглядела полученная Пушкиным его литературная «свобода» от цензуры. Теперь оценим пределы вмешательства жандармов в его личную жизнь. Вот, например, что содержалось в жандармском донесении, относящемся к ноябрю — декабрю 1826 года, самому Бенкендорфу:

«Я слежу за сочинителем П[ушкиным], насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды В[олконской], князя Вяземского (поэта), бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева...»

«8 ноября 1826 г. сочинитель П(ушкин), о котором я уже имел честь говорить Вам в моем последнем письме, только что покинул Москву, чтобы отправиться в свое псковское имение...»

«Ваше превосходительство найдете при сем журнал Михайлы Погодина за 1826 год, в коем нет никаких либеральных тенденций: он чисто литературный. Тем не менее я самым бдительным образом слежу за редактором и достиг того, что вызнал всех его сотрудников, за коими я также велю следить; вот они:

1) Пушкин...»⁹⁵.

Среди агентов III Отделения были и безграмотные (полицейское дело заставляло не брезговать никем). Вот, например, одно из агентурных донесений, относящихся к февралю 1828 года:

«Пушкин! известный уже, сочинитель! который, не взирая на благосклонность государя! Много уже выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!! колких для правительствующих даже, и к государю! Имеет знакомство с Жулковским!! у которого бывает почти ежедневно!! К примеру вышесказанного, есть оно сочинение под названием Таня! которая быдто уже, и напечатана в Северной Пчеле!! Средство же, имеет к выпуску чрез благосклонность Жулковского!!»⁹⁶.

Не трудно догадаться, что Жулковский — это не кто иной, как Жуковский, а «Таня» — одна из глав «Евгения Онегина».

Параллельно со слежкой III Отделение завело секретное дело, связанное с распространением пушкинских стихов, показавшихся правительству крамольными. Дело это являлось одним из первых с момента создания III Отделения и первые его документы относятся еще к пребыванию поэта в ссылке в Михайловском. Дело в том, что, когда Пушкин находился там, Бенкендорф в начале августа 1826 года получил от своего московского представителя, упоминавшегося уже генерала Скобелева, донесение о том, что в Москве по рукам ходят стихи Пушкина, озаглавленные «На 14 декабря». К донесению был приложен и текст стихов. В действительности речь шла об отрывке из элегии Пушкина «Андрей Шенье», посвященной событиям Французской революции XVIII века, написанной в мае 1825 года и напечатанной с цензурными пропусками в 1826 году. Пушкинские строки «Убийцу с палачами избрали мы в цари» относились к Робеспьеру и Конвенту, однако после разгрома восстания декабристов их можно было понять и как намек именно на эти события. Так и восприняли жандармы содержание пушкинских строк, в связи с чем и было заведено указанное дело. Первым документом этого дела был перечень интересовавших Бенкендорфа вопросов, обращенных к Скобелеву:

«1-е. Какой это Пушкин, тот ли самый, который живет в Пскове, известный сочинитель вольных стихов.

2-е. Если не тот, то кто именно, где служит и где живет.

3-е. Стихи сии самим ли Пушкиным подписаны и не подделана ли подпись под чужое имя? — также этот лист,

на котором они сообщены генерал-адъютанту Бенкендорфу, суть ли подлинные или копия с подлинного? Где подлинник находится и чрез кого именно доставлены к Вашему превосходительству».

Скобелев ответил на первый и третий вопросы. На первый: «Мне сказано, что тот который писать подобные стихи имеет уже запрещение, но отослан к атцу его». На третий: «Я представил копию, которая писана рукою моего чиновника, подлинная говорят прислана из Петербурга, о чем вернее объяснит чиновник, коего буду иметь честь представить»⁹⁷.

Следует сказать несколько слов и о том, как к Скобелеву попал список со стихов Пушкина. Об этих стихах Скобелеву донес один из его агентов — помещик, чиновник 14-го класса Коноплев. Последний узнал, что пушкинские стихи имеются у его приятеля — выпускника Московского университета кандидата словесных наук Леопольдова. Скобелев поручил Коноплеву выяснить, от кого получил Леопольдов пушкинские стихи. Коноплев съездил в Саратовскую губернию, где у своих родителей проживал в это время Леопольдов, и узнал, что стихи были взяты тем у прапорщика Молчанова. При этом Леопольдов, зная, чем ему грозит распространение таких стихов, предпринял некоторые предосторожности. Он отправил на имя Бенкендорфа письмо, в котором сообщил, что у него имеются преступные стихи, свидетельствующие о том, что не все злоумышленники против правительства истреблены (намек на декабристов). Молчанова тут же разыскали и арестовали. 8 сентября, т. е. в день аудиенции Пушкина у царя, Молчанов сообщил Дибичу на своем допросе, что «стихи сочинены Пушкиным на 14-е декабря» и получены им от Алексева. 16 сентября последний был арестован в Новгороде и отправлен в Москву. Николай I приказал учредить по данному поводу военный суд, предписав завершить его в три дня.

Таким образом, стихи эти попали к Бенкендорфу в очень трудное для Пушкина время. 30 июля рижский военный генерал-губернатор Паулуччи направил в Петербург прошение Пушкина на имя Николая I (составленное поэтом еще в мае-июне):

«Всемиловнейший государь!

В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из

службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою.

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.

К прошению на отдельном листе была приложена подписка:

«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.

10-го класса Александр Пушкин.

11 мая 1826.» (10, 209, 210).

Бенкендорф, разумеется, знал о прошении Пушкина. Царь не мог не посвятить его в это, не посоветоваться с ним. В свою очередь шеф жандармов не мог не ознакомить царя со скобелевским доносом на Пушкина и его криминальными (да еще какими! — «На 14-е декабря») стихами. 28 августа на пушкинском прошении была наложена царская резолюция, записанная начальником главного штаба Дибичем: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому губернатору»⁹⁸. 31 августа тот же Дибич конкретизировал царскую волю в секретном предписании псковскому губернатору Б. А. фон Адераксу: «Секретно. Г. псковскому губернатору. По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше Ваше превосходительство, находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса, Александру Пушкину, позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем.

Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба его императорского величества»⁹⁹. Стоит поразмышлять над странным пониманием царем понятия «свободы»: «свободно», но «под надзором фельдъегеря». П. Е. Щеголев объясняет такое сочетание свободы с фельдъегерским сопровождением тем, что вызов поэта в Москву вовсе не означал еще его помилования. Что его Пушкину надо было еще заслужить, оправдавшись в возведенном на него III Отделением обвинении в написании крамольных стихов. При этом Щеголев обоснованно, на наш взгляд, считал, что при личном свидании с царем поэту удалось оправдаться в этом. Доказательством этого может служить то, что в отношении распространителей этого стихотворения было возбуждено военно-судное дело, однако сам автор не был к нему привлечен¹⁰⁰. Версия Щеголева подтверждается и мемуарными свидетельствами Ф. Ф. Вигеля, близкого знакомого поэта по его кишиневскому и одесскому периоду жизни. Их дружеские отношения продолжались и после возвращения поэта из ссылки. Вигель так описывает причины «доставления» Пушкина в Москву к Николаю I: «Лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря. Молчанова схватили, засадили, допросили, от кого он их получил. Он указал на Алексева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссылкой в псковской деревне, отправили гонцов. Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика»¹⁰¹.

Учитывая, что Вигель был крупным чиновником (в конце своей служебной карьеры дослужился до чина тайного советника, был директором департамента иностранных вероисповеданий), общался с Блудовым, Дашковым, нет оснований не верить его осведомленности в этом.

Суд шел своим ходом. Вначале это была военно-судная комиссия и аудиторский департамент военного министерства (как вторая инстанция по отношению к военно-судной комиссии). Затем дело рассматривалось в Новгородском уездном суде и Новгородской уголовной палате. После этого дело было передано в сенат и завершилось рассмотрением в Государственном совете. III Отделение параллельно с судебным продолжало вести поэтому пово-

ду свое секретное дело. Оно довольно объемно по числу находящихся в нем документов. Среди них — сообщение Бенкендорфу о результатах обыска в квартире Коноплева, при производстве которого были «найжены бумаги, которые, хотя к оному делу оказались не принадлежащими, но заслуживают внимания правительства» (с приложением указанных бумаг). Обыск у Коноплева объяснялся тем, что Скобелев не хотел расшифровывать своего агента и Коноплев как прикосновенное лицо был привлечен к делу. Далее в деле помещено объяснение самого Коноплева, где последний был вынужден рассказать о всех деталях своего сотрудничества по этому делу со Скобелевым. Шеф жандармов в секретном послании подтвердил правдивость объяснений Коноплева и свидетельствовал «о похвальном его усердии в точном исполнении возложенного на него поручения». В суде возник вопрос и о вине Леопольдова, который утверждал, что он своевременно поставил в известность самого шефа жандармов о «крамольных» стихах. В связи с этим суд запросил мнение по этому поводу Бенкендорфа и тот засвидетельствовал, что показания Леопольдова «основаны на сущей правде». Среди бумаг III Отделения имеется и копия определения сената по данному делу, определения очень пространного, в котором сенат, оправдывая Пушкина, тем не менее обязывал его дать подписку в нераспространении без разрешения цензуры своих произведений «под опасением строгого по законам взыскания»¹⁰². Таким образом, дело III Отделения, возникшее с целью разоблачения Пушкина в написании им крамольных стихов, в дальнейшем фактически вылилось в переписку судебных инстанций с шефом жандармов по поводу удостоверения свидетельств прикосновенных к делу Коноплева и Леопольдова об их связях с III Отделением.

Находящаяся, как было отмечено в деле, копия определения сената по судебному делу «о распространении стихотворения «Андрей Шенье» юридически свидетельствовала о невинности Пушкина в распространении этих стихов. Однако царь и Бенкендорф рассуждали иначе. Юриспруденция юриспруденцией, а петербургский военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов направил 18 августа 1828 г. главнокомандующему в С.-Петербурге и Кронштадте графу Толстому секретный рапорт следующего содержания:

«Во исполнение *Высочайшего Его Императорского Величества* повеления, объявленного мне Вашего Сиятельства, от 16-го сего августа за № 3155, я предписал

обер-полицмейстеру известного стихотворца Александра Пушкина обязать подпискою, дабы он впредь никаких сочинений, без рассмотрения и пропуска оных цензурою, не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по законам взыскания, и между тем учредить за ним бдительный надзор...»¹⁰³.

После этого в деле помещено секретное послание от 17 августа 1828 г. графа Толстого Голенищеву-Кутузову о том, что решение о секретном надзоре над Пушкиным вынесено Государственным Советом и санкционировано царем: «...Государственный совет, рассмотрев сие дело, признал, что по неприличному выражению Пушкина в ответах на счет происшествия 14 декабря 1825 года, и по духу сочинения его, напечатанного в феврале того года, поручено было иметь за Пушкиным в месте его жительства секретный надзор, и что сие положение Государственного совета также удостоено высочайшего утверждения»¹⁰⁴.

Следующий документ — секретный рапорт Голенищева-Кутузова Толстому от 28 августа 1828 г. об исполнении «высочайшей» воли:

«Во исполнение *Высочайше* утвержденного положения Государственного совета, изображенного в повелении Вашего Сиятельства от 16 сего августа за № 3155, известный стихотворец Пушкин обязан подпискою в том, чтоб он впредь никаких сочинений без рассмотрения и пропуска оных цензурою не выпускал в публику. Между тем учрежден за ним секретный со стороны полиции надзор»¹⁰⁵.

Возникает вопрос, в чем различие между уже бывшим за поэтом надзором и вновь установленным в результате рассмотрения дела о распространении стихотворения «Андрей Шенье»? Фактически различий нет. И раньше полиция и жандармы следили за каждым шагом поэта. Однако существовало различие в юридической силе этого надзора. Ранее он был, так сказать, ведомственным, полицейско-жандармским, полуофициальным. Теперь в отношении Пушкина надзор устанавливался Государственным советом — высшим законосовещательным органом Российской империи. Секретный надзор устанавливался теперь вполне официально и также официально утверждался царем. Действовал этот надзор до самой смерти поэта, который так и умер поднадзорным, а отменен был уже спустя много лет после смерти Пушкина.

Только что более или менее благополучно для Пушкина закончилась история с его стихотворением «Андрей Шенье», как новая беда обрушилась на «прощенного»

царем поэта. В мае 1828 года дворовые люди отставного штабс-капитана Митькова донесли петербургскому (Новгородскому и Санкт-Петербургскому) митрополиту Серафиму, что их барин переписал своей рукой и читал им богохульное сочинение и в качестве доказательства предъявили ему саму рукопись. 28 мая митрополит обратился с письмом к статс-секретарю Н. Н. Муравьеву, в котором сообщал о факте обращения к нему дворовых Митькова и приложил к письму рукопись этого «богохульного» произведения. В своем письме митрополит категорически указывал на автора этого сочинения и давал соответствующую его, митрополита, сану оценку:

«Нынешнего дня... подал мне лично дворовый отставного штабс-капитана Митькова человек весьма важное на Высочайшее Государя Императора имя прошение с приложенной при нем рукописью, в коей между многими разного, но буйного или сладострастного, содержания стихотворениями, коих я не успел прочитать, помещена поэма под названием Гаврилияда, сочинения Пушкина...

...Поистине, сам сатана диктовал Пушкину поэму сию! И сия-то мерзостнейшая поэма переходит из рук в руки молодых, благородных юношей. Какого зла не может причинить она, тем паче, что Пушкина выдают нынешние молодые писатели за отличного гения, за первоклассного стихотворца?

Теперь прошу я совета Вашего. Что мне делать с сим прошением и сею рукописью? Препроводить ли мне их в секретный комитет или куда-либо в другое место?»¹⁰⁶.

Донос священнослужителя был передан в так называемую Временную верховную комиссию, осуществлявшую верховный надзор в отсутствие императора (Николай I в начале 1828 года отправился в действующую армию на Кавказ). В состав этой комиссии входили граф В. П. Кочубей, граф П. А. Толстой и князь А. Н. Голицын. Следует отметить, что в отношении Кочубея сохранилась пушкинская характеристика (Кочубей «занимался» поэтом будучи министром внутренних дел еще в 1820 году). В апрельских дневниковых записях 1834 года Пушкин иронически замечает: «Милостей множество. Кочубей сделан государственным канцлером» (8, 46). А в июне того же года, нарушая общепринятое правило в отношении умерших, дает государственному канцлеру посмертную весьма нелицеприятную характеристику: «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное действие: государь был неутешен. Новые министры повеси-

ли голову. Казалось смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!» Далее Пушкин приводит эпиграмму на Кочубея, от авторства которой он хотя и отказывается, но полностью соглашается с ее содержанием:

Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей,
Что в жизни доброго он сделал для людей,
Не знаю, черт меня убей.

Комиссия начала расследование и вела по этому поводу особый журнал своих заседаний. Материалы следствия были сосредоточены в императорской канцелярии (в том числе в III Отделении) и в военном министерстве.

Результатом жандармских изысканий явилось расследованное III Отделением дело «О дурном поведении: шт. капит. Митькова, Владимира, Семена и Александра Шишковых, Мордвинова, Карадикина, губ. секр. Рубца, чиновн. Гаскина и фихтовального учителя Гомбурова». Хотя на обложке этого дела (довольно объемного) имя Пушкина не значится, тем не менее из 46 документов дела 11 непосредственно относятся к поэту. Первый из них датируется 25 июля 1828 г. и представляет собой выписку из журнала заседания указанной выше комиссии. В ней, наряду с решением судьбы Митькова («Оставить Митькова свободным от дальнейшего по сему делу преследования и уничтожить учрежденный по оному над ним надзор...»), по сути дела, констатируется официальное привлечение к делу Пушкина:

«3/Представить С.-Петербургскому Военному Генерал-Губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить:

а) Им ли была написана поэма «Гавририада»?

в) В каком году?

г) Имеет ли он у себя оную и если имеет, то потребовать, чтоб он вручил ему свой экземпляр.

д) Обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохульных сочинений не писать, под опасением строгого наказания»¹⁰⁷.

В следующем документе дела (секретном письме одного из ее членов — Толстого) это решение комиссии доводится до сведения Петербургского военного генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова. Последний в точности выполнил возложенные на него полицейские обязанности и уведомил комиссию, «что г. Пушкин в допросе о поэме, известной под заглавием «Гавририада», решительно

отвечал: что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в Лицее в 1815 или 1816 году, и переписал ее, но не помнит, куда девал сей список, и что с того времени он не видел ее»¹⁰⁸.

Сохранилось собственноручно написанное поэтом «Показание по делу о «Гаврилиаде», в котором Пушкин на три указанных выше вопроса ответил следующим образом:

«1. Не мною.

2. В первый раз видел я «Гаврилиаду» в лицее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не помню куда дел ее, но с тех пор не видел ее.

3. Не имею»¹⁰⁹.

Такой ответ не удовлетворил Николая I, который очень внимательно следил за ходом дела и 12 августа 1828 г. Н. Н. Муравьев объявил П. А. Толстому высочайшую волю:

«По докладной Вашего Сиятельства записке, вследствие рапорта к Вам С.-Петербургского Военного Генерал-Губернатора, о допросах, сделанных им чиновнику 10-го класса Пушкину, касательно поэмы, известной под заглавием «Гаврилиады», — последовало Высочайшее соизволение, чтоб Вы, Милостливый Государь, поручили г. Военному Генерал-Губернатору, дабы он, призвав Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году, как то объявил, находясь в Лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина; о последующем же донести Его Величеству»¹¹⁰.

17 августа Толстой препроводил это «высочайшее» решение Голенищеву-Кутузову, и тот через день вторично допросил поэта, что было зафиксировано в его собственноручных показаниях.

«1828 года августа 19, нижеподписавшийся 10 класса Александр Пушкин вследствие Высочайшего повеления, объявленного г. Главнокомандующим в С.-Петербурге и Кронштадте, быв призван к С.-Петербургскому Военному Губернатору, спрашиваем, от кого именно получил поэму под названием Гаврилиада, показал:

Рукопись ходила между офицерами Гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что не в одном из моих сочинений даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем

прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное.

10-го класса Александр Пушкин»¹¹¹.

На следующий же день, т. е. 20 августа, Голенищев-Кутузов секретным рапортом доложил П. А. Толстому о содержании новых показаний поэта¹¹².

Таким образом Пушкин отказался от авторства поэмы. На самом же деле он написал эту поэму еще в 1821 году. В ней в шутливо-эротической форме пародировались эпизоды из Евангелия и Библии. В своем письме от 1 сентября 1822 г. Вяземскому поэт писал: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде — я стал придворным». Последняя приписка означала ироническую оценку мистически-ханжеского духа, царившего при дворе. Спустя семь лет поэт вовсе не был намерен расплачиваться за грехи своей юности. К тому же он хорошо помнил, что за одну атеистическую фразу своего письма он был сослан в Михайловское. Поэтому в письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 г. (с явным расчетом на его перлюстрацию полицией) поэт демонстративно отрешивался от авторства поэмы и даже приписывал ее другому (умершему) автору:

«Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее.

Прямо, прямо на восток.

Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гаврилиада»: приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность». (10, 250).

Как видно из содержания приводившихся материалов III Отделения, так же решительно Пушкин не признавался в авторстве поэмы и в ходе следствия по делу о ее распространении. Более того, он умышленно искажил и время «ознакомления» с рукописью поэмы, относя его к 1815—1816 гг., ко времени своего обучения в лицее. Для него такое искажение хронологически было обоснованно. Он понимал, что один спрос с юноши-лицейца, а другой с фактически сосланного за неугодные монарху стихи, с того, кого не могла исправить и ссылка.

Верховная комиссия, однако, не поверила и этому объяснению поэта. 28 августа 1828 г. члены комиссии составили документ на имя Николая I, в котором ознакомили его с содержанием последнего показания Пушкина

по делу. При этом они высказали царю свое мнение о неискренности ответов Пушкина:

«Комиссия хотя не полагает, чтоб Пушкину могло не быть памятно от кого он вышеуказанную рукопись получил...» Царь согласился с этим и наложил на этом документе свою резолюцию: «Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость, и обидеть Пушкина. Выпуская оную под его именем?»

На заседании комиссии от 7 октября «высочайшая» воля была выполнена, а результат этого был зафиксирован в следующем документе:

«Главкомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше помянутую собственноручную Его Величества отметку требовал от Пушкина: чтоб он, видя такое к себе благоснисхождение Его Величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин по довольно молчанию и размышлении, спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо Государю Императору и получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал Его Величеству письмо и запечатав оное вручил Графу Толстому.

Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное Его Величеству, донося о том, что Графом Толстым комиссии сообщено»¹¹³.

Бюрократическая скрупулезность этого документа доносит до нас психологическое состояние поэта — его длительное размышление о том, как ему поступить. Царь «бьет» на честность и искренность. Но Пушкин вовсе не склонен доверять монарху и за прошлые «прегрешения» проститься с только что полученной свободой (хотя и ограниченной царским и жандармским вниманием). С другой стороны, поэт сознавал, что хотя в момент следствия доказательства его авторства отсутствовали, но, как отметил Н. Эйдельман, «сочинитель «Гаврилиады», кажется, всем известен и по слухам, и по слогу — «по когтям»¹¹⁴. Этим и объясняется длительность раздумий поэта насчет того, как ему ответить на предложение царя. В деле III Отделения нет ни ответа поэта, ни царского решения. Оно заканчивается документами, определявшими судьбу дворовых Митькова.

Делопроизводство, осуществляемое по этому же поводу в I Отделении императорской канцелярии в части расследования авторства поэмы, мало чем отличается от

аналогичного дела III Отделения. Однако и в нем есть несколько документов, не находящихся в жандармском деле или несколько отличавшихся от соответствующих документов III Отделения. Так, начинается это делопроизводство с упоминавшегося уже письма митрополита Серафима к статс-секретарю Муравьеву (письмо, послужившее поводом для проведения расследования). Но в этом деле есть еще один документ, исходящий от митрополита, который отсутствует в деле III Отделения. 25 июня 1828 г. митрополит вновь обратился к статс-секретарю. В новом письме он напоминает, что направил (через Муравьева) «на Высочайшее имя прошение, и при нем рукопись, содержащую, между прочими буйными стихотворениями, богохульнейшую поэму *Гаврилади*, сочиненную Пушкиным...». При этом митрополит обеспокоен ходом дела и ссылается на то, что «госп. Митькова люди... объявили, что помещик их требует, чтоб они непременно и в скорейшем времени отдали ему ту безбожную поэму, грозя им жесточайшим наказанием»¹¹⁵. Остальные пушкинские документы этого дела фактически дублируют материалы дела III Отделения. Вместе с тем следует все же выделить один документ дела I Отделения, составленный статс-секретарем для Николая I. Он представляет собой выписку из журнала заседаний Верховной комиссии, в которой сообщается о том, что поэт ознакомился с поэмой еще в лицее и о повторном императорском предложении Пушкину «открыть сочинителя». Кроме того, в нем приводится решение Верховной комиссии относительно Царскосельского Лицея и других учебных заведений о недопустимости распространения там подобных богохульных сочинений:

«...Начальствующему в Царскосельском лицее о том, что в оном обращалась рукопись самого вредного содержания в 1815-м и 1816-м годах (не именуя оной), которая воспитанниками была переписываема и переходила из рук в руки, и чтоб он имел самое строгое наблюдение за тем, чтобы никаких вредных книг или рукописей воспитывающиеся не имели, подтверждая профессорам и учителям лицея и пансиона, чтоб и они с своей стороны имели таковое же попечение.

...таковое же предписание дать и во все училища, как военного, так и гражданского ведомства, не упоминая только о причинах, кои к оному делу дали повод». Таким образом поэт все-таки ввел своих следователей в заблуждение и пустил их по ложному следу. Однако

этот документ представляет особый интерес не поэтому, а в связи с тем, что именно на нем царь наложил свою «самодержавную» резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено. 31 декабря 1828 г.»¹¹⁶.

Эта царская резолюция и есть ответ Николай I на письменное показание Пушкина, направленное им (через Верховную комиссию) царю. Вот что писал Пушкин Николаю I лично, вложив в запечатанный им для передачи царю конверт:

«Будучи вопрошаем Правительством, я не считал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. — Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 г.

Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего императорского Величества верноподданный
Александр Пушкин.»¹¹⁷.

Поэт решил признаться царю. Однако этот шаг нельзя расценивать лишь как акт его бесхитростности или доверия к царю (в ответ на императорское доверие). Думается, что, в первую очередь, это было обдуманное и взвешенное средство защиты, поскольку Пушкин вполне допускал, что «завтра» доказательства его авторства могут появиться у Верховной комиссии. Лучше «честно» ответить за прошлые «грехи», чем за введение в заблуждение императора и Верховной комиссии.

Так закончилось еще одно очень близкое «знакомство» Александра Сергеевича с жандармским ведомством. Однако особого оптимизма такой финал у него не вызывал. Он прекрасно понимал, насколько усилилась его зависимость от царя, насколько он «обязан» царю и насколько труднее будет теперь обрести ему подлинную творческую и личную свободу. Это вовсе не радостное настроение выражено поэтом в стихотворении «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливой бедою
Угрожает снова мне... (3,72).

Стихотворение это впервые опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1829 г.», а затем в «Стихотворениях Александра Пушкина» (1829 г.), где датируется 1828 годом. В советском пушкиноведении оно связывается именно

с привлечением Пушкина к секретному следствию о распространении поэмы «Гаврилада».

Таковы были отношения поэта с жандармами и полицией, так сказать, литературного свойства. Вернемся, однако, к праву поэта на «свободное передвижение» и его жандармскому толкованию. Об этом можно судить хотя бы по его письму к Бенкендорфу от 24 апреля 1827 г.: «Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге: приемлю смелость просить на сие разрешения у Вашего превосходительства» (10,228). Отметим, что так обстояло дело еще до установления за Пушкиным секретного надзора Государственного совета и царя. Фактически свободное передвижение означало право (в случае разрешения Бенкендорфа и царя) на поездки поэта из Москвы в Петербург и обратно либо в Михайловское. Однако и эти (разрешенные) поездки строго контролировались и фиксировались в соответствующих полицейских документах.

Так, в октябре 1827 года Пушкин на пути из Михайловского в Петербург встретил своего лицейского товарища Кюхельбекера, которого, как активного участника восстания декабристов, перевозили из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. Подробности этой встречи зафиксированы не только в дневниковых записках поэта, но и в рапорте фельдъегеря, сопровождавшего осужденного декабриста, на имя дежурного генерала Главного штаба — уже упоминавшегося Потапова:

«Отправлен я был сего месяца 12 числа в г. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу Его Императорскому Величеству как за недопущение распространиться с другом, так и дать ему на дорогу денег: сверх того, не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между прочим угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь

ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет. 28 октября 1827 г.»¹¹⁸.

Сопоставим с этим служебным рапортом пушкинскую запись этого события: «...Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бороною, в фризовой шинели... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?» (8,20).

Сравнение этих документов свидетельствует о том, что и жандармско-полицейские донесения со временем приобретают большую ценность, так как являются важными документальными источниками изучения биографии поэта. В данном случае лишь служебный рапорт фельдъегеря свидетельствует и о смелости поэта, и о силе его любви к своему лицейскому товарищу, и о его стремлении, хотя и безуспешном, как-то облегчить его судьбу. Смелость была необходима уже для одной лишь попытки общения с государственным преступником. Поэт, конечно же, понимал, что ему в его теперешнем положении (только что «прощенного» царем) это совсем ни к чему. Тем не менее и в этой ситуации Пушкин выступает не в роли жалкого просителя. Зная всю жандармскую публику, он, как говорится, берет фельдъегеря «на пушку», ссылается на свои близкие отношения с царем и Бенкендорфом, *угрожает* «служивому». Поэт пытается посеять сомнение у фельдъегеря в том, что Кюхельбекер — государственный преступник. Для этого Пушкин старается ввести фельдъегеря в заблуждение тем, что и он, Пушкин, был арестован, но государь, власти, разобравшись, отпустили его на свободу, что то же самое может случиться и с Кюхельбекером. Стараясь хоть как-то облегчить судьбу Кюхли, он пытается передать ему деньги. Следует отметить, что позже Пушкину удалось наладить связь с Кюхельбекером. Он был с ним в переписке, посылал ему книги, пытался публиковать его произведения.

Еще в 1827 году Пушкин собирался ехать в Грузию.

Он намеревался заняться ее историей и ермоловскими войнами на Кавказе. В начале 1828 г. поэт дважды через Бенкендорфа (в письмах от 5 марта и 18 апреля) обращался за разрешением ему поездки туда в действующую армию, но получил отказ. 21 апреля он вновь обратился по тому же адресу с просьбой разрешить ему поездку в Париж. Эту просьбу шеф жандармов, видимо, счел чрезмерной и даже отказался передать ее Николаю I. Роль униженного просителя надоела Пушкину, и он, видимо махнув на все рукой, не поставив в известность своих высоких и высочайших надзирателей, 1 мая 1829 г. выехал из Петербурга в Тифлис. Это вызвало крайнее недовольство царя и Бенкендорфа. В делах III Отделения есть карандашная запись словесной реакции Николая I на этот поступок, являющаяся, по сути дела, монаршей угрозой непокорному поэту: «Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства», т. е. новая ссылка. Шеф же жандармов провел по поводу этого настоящее следствие. В официальном письме Голенищеву-Кутузову, напомнив ему «об учреждении за г. Пушкиным секретного надзора», Бенкендорф предписал ему: «...побуждаюсь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство... предписать начальству того места, куда г. Пушкин уехал, о надлежащем продолжении за ним учрежденного с *Высочайшего* утверждения секретного наблюдения»¹¹⁹. Через три дня петербургский военный генерал-губернатор секретно доносил Бенкендорфу о том, что об отъезде в Тифлис известного стихотворца отставного чиновника 10-го класса Пушкина, состоявшего в Петербурге под секретным надзором, он довел до сведения г. Главнокомандующего в Грузии графа Паскевича Эриванского.

Пушкин, далекий от этой царско-жандармской «кухни», по пути на Кавказ посещает в Орле героя войны 1812 года А. П. Ермолова, путешествует по Кавказу, участвует в боевых действиях русской армии против турок, встречается с находящимися там ссыльными декабристами. Последнее не могло не встревожить Паскевича (он, разумеется, постоянно помнил о предписаниях царя и Бенкендорфа насчет Пушкина), и он постарался поскорее отправить поэта обратно в Россию. Однако слабости надзора над Пушкиным уже были замечены «всевидящим» самодержцем и не менее «всевидящим» шефом жандармов, который 1 октября обратился к тифлисскому военному губернатору С. С. Стрекалову:

«Государь Император, осведомясь из публичных известий, что известный по отечественной словесности стихотворец Александр Сергеевич Пушкин, разъезжая в странах за Кавказских, был даже в Арзруме, *Высочайше* повелеть мне изволил отнестись к Вашему превосходительству, чтобы Вы, Милостивый государь, изволили призвать к себе г. Пушкина, и спросили его, по чьему позволению он предпринял сие путешествие и по каким причинам, против данного им мне обещания, не предуведомил он меня о своем намерении отправиться в те страны, но исполнил сие без моего на то согласия! При сем случае, Ваше превосходительство не оставьте заметить г. Пушкину, что сей поступок легко почесть может своеволием и обрратить на него невыгодное внимание»¹²⁰.

В своем ответном письме шефу жандармов от 24 октября 1829 г. Стрекалов был вынужден оправдываться и обращал внимание Бенкендорфа, что, кроме предписаний соответствующим должностным лицам о надзоре за поэтом, он *лично* обращал внимание на образ его жизни и что перед отъездом его из Грузии он «счел нужным тогда же уведомить об оном г. Московского Военного Генерал-Губернатора и сообщил ему *Высочайшее Государя Императора* повеление о состоянии А.Пушкина под секретным надзором правительства»¹²¹. Этот документ заслуживает внимания уже и потому, что именно в нем точно (строго юридически) сформулирована суть секретного надзора над поэтом как правительственного надзора.

Правда, царь и Бенкендорф зря особенно волновались по поводу пребывания поэта в действующей армии. Паскевич разрешил Пушкину приехать в расположение войск, известив об этом 8 июня тифлисского военного губернатора Стрекалова. При этом Паскевич ничем, по сути дела, и не рисковал. Дело в том, что в Нижегородском полку, который посетил поэт, служил некий майор Казасси (командир дивизиона), являвшийся осведомителем III Отделения.

Бывало, что хорошо отлаженная машина жандармско-полицейского надзора над поэтом и пробуксовывала. Так тифлисская городская полиция получила предписание о надзоре над Пушкиным спустя полгода после его отъезда оттуда. В этом документе указывалось на необходимость «объявить чиновнику Пушкину, если он окажется в городе, указ» (имеется в виду решение Государственного совета по делу о распространении стихотворения «Андрей Шень»), в противном же случае до-

нести, «не был ли Пушкин в Тифлисе и куда выехал?».

Полиция и жандармы тщательно готовились к возвращению Пушкина в Москву. 6 сентября 1828 г. не кто иной как сам московский военный генерал-губернатор в секретном приказе московскому обер-полицмейстеру Д. И. Шульгину предписывает:

«Вследствие отношения г. тифлисского военного губернатора, которым меня уведомляет, что он, имея в виду высочайшее его императорского величества повеление о состоянии известного поэта отставного чиновника 10-го класса Александра Пушкина под секретным надзором правительства, отправившегося на днях из Тифлиса в Москву, я рекомендую вашему превосходительству учредить секретный надзор за Александром Пушкиным»¹²².

Шульгин, выполняя волю генерал-губернатора, уже на следующий день, т. е. 7 сентября, отдает приказ (также секретный) всем полицмейстерам Москвы:

«Г-н тифлисский военный губернатор уведомил г-на московского военного губернатора, что он имеет в виду высочайшее его императорского величества повеление о состоянии известного поэта отставного чиновника 10 класса Александра Пушкина под секретным надзором правительства, отправившегося на днях из Тифлиса в Москву. Вследствие предписания ко мне его сиятельства от 6 сентября рекомендую: учредить по вверенному вам отделению надзор за Александром Пушкиным, мне о последующем немедленно донести»¹²².

20 сентября полицмейстер I Отделения Миллер докладывал Шульгину:

«На предписание вашего превосходительства... имею сим донести, что известный поэт, отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин прибыл в Москву и остановился Тверской части 1-го квартала в доме Обера гостинице Англия, за коим секретный надзор учрежден.» Соответственно Шульгин 22 сентября докладывает об этом Военному генерал-губернатору.

12 октября Пушкин выехал из Москвы в Петербург. Незамедлительно последовал рапорт полицмейстера (того же Миллера) обер-полицмейстеру (тому же Шульгину): «Квартировавший Тверской части в доме Обера в гостинице Англии чиновник 10-го класса Александр Сергеев. Пушкин, за коим был учрежден по предписанию вашего превосходительства секретный полицейский надзор, 12-го числа сего октября выехал в С.-Петербург, о чем имею честь вашему превосходительству сим донести и

присовокупить, что в поведении его ничего предосудительного не замечено». Обер-полицмейстер сообщает об этом как московскому генерал-губернатору, так и петербургскому обер-полицмейстеру. В отношении к последнему содержится напоминание о том, чтобы полиция Петербурга «не дай бог» не забыла учредить там строгий надзор за опасным поэтом¹²³.

Вернемся, однако, к приезду Пушкина с Кавказа в Москву. По возвращении поэт получил письменный выговор от Бенкендорфа, в котором был передан и царский гнев по поводу самовольной поездки на Кавказ. Тем не менее Александр Сергеевич все же надеется, что власти (в первую очередь Николай I и Бенкендорф) убедятся, что он не враг правительству и ослабят за ним надзор. Он даже вынашивает план заграничного путешествия. 7 января 1830 г. в письме к Бенкендорфу он обращается со следующей просьбой: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством» (10,802). Соответствующего разрешения на поездку за границу дано не было под предлогом «заботы» о денежных делах и литературных (!) занятиях поэта. В поездке в Китай было отказано по «дипломатическому» поводу — будто бы туда все чиновники посольства «уже назначены и не могут быть переменены без уведомления о том пекинского двора.»

17 марта 1830 г. Пушкин получил от шефа жандармов очередной выговор с угрозой за то, что ненадолго ездил из Петербурга в Москву: «...вменяю себе в обязанность вас уведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению»¹²⁴. В своем ответе Бенкендорфу от 21 марта 1830 г. Пушкин, во-первых, пытался объяснить шефу жандармов, что такие обязанности (отпрашиваться по каждому пустячному поводу) в отношении него никем не устанавливались, что они не соответствуют ни царским «милостям», ни разъяснением по их поводу самого Бенкендорфа: «В 1826 году получил я от государя императора позволение *жить в Москве*, а на следующий год от Вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я *каждую зиму* проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это от-

части было причиной невольного моего проступка: поездки в Арзрум...» Кроме ярко выраженного стремления поэта добиться хотя бы элементарной свободы (права на самостоятельные поездки в Москву, Петербург и деревню) здесь видна и попытка уличить могущественного Бенкендорфа в неискренности, если не сказать нечестности. Последнее особенно просматривается в следующих строках пушкинского письма: «В Москву намеревался приехать еще в начале зимы и встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего высокопревосходительства, что я намерен делать? имел я счастье о том Вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: *vous êtes toujours sur les grands chemins** (10, 275). Нужно отдать дань мужеству поэта, по сути дела, уличавшего шефа жандармов во лжи. Однако и это не помогло, не тот был адресат, не та совесть у адресата. Все осталось по-прежнему. Через три дня (24 марта) поэт письменно просит у Бенкендорфа разрешения на поездку в Полтаву для встречи со своим другом Н. Н. Раевским (сыном) и встречает ставший уже обычным отказ.

В марте 1830 года поэт вернулся из Петербурга в Москву. Об этом незамедлительно полицмейстер секретным донесением докладывает обер-полицмейстеру: «Тверской частный пристав донес мне, что чиновник 10-го класса Александр Сергеев. Пушкин 13-го числа сего месяца прибыл из С.-Петербурга и остановился в доме г. Чертова в гостинице Коппа, за коим... учрежден секретный полицейский надзор». Проходит время и у обер-полицмейстера возникает вопрос о том, достаточно ли серьезно его служба относится к важнейшему делу — секретному надзору над поэтом (а вдруг он, к примеру, подожжет Москву!). В мае 1830 года он запрашивает пристава Тверской части: «Для доклада ... нужно иметь достоверное сведение: не выезжал ли из Москвы в С.-Петербург чиновник 10-го класса Александр Пушкин со времени прибытия его в Москву, т. е. с 13 марта по настоящее число»¹²⁵. Ответ частного пристава не сохранился.

В июле 1830 года Пушкин возвращается в Петербург и полицейская канцелярия тщательно фиксирует это: полицмейстер уведомляет обер-полицмейстера, а тот своего петербургского коллегу «для зависящих с вашей стороны распоряжений»¹²⁶. Новый приезд Пушкина в Москву также сразу регистрируется тайной полицией, о чем мос

* Вы всегда на больших дорогах.

ковский полицмейстер Миллер официальным рапортом известил своего шефа — московского оберполицмейстера (теперь уже «полковника и кавалера С. Н. Муханова): «...имею честь донести, что 9 числа сего декабря* прибыл из города Лукоянова отставной чиновник 10-го класса Александр Сергеев. Пушкин и остановился Тверской части I-го квартала в гостинице «Англия», за коим надлежащий надзор учрежден»¹²⁷. Служба есть служба. Прибывший в Москву поэт — «опасный» для государства, поднадзорный, и обер-полицмейстер в свою очередь докладывает об этом событии самому московскому военному генерал-губернатору.

14 мая 1831 г. Пушкин получает (разумеется, в полиции же) свидетельство на выезд из Москвы. Как известно, к этому времени поэт стал «остепениваться», женился. Однако для тайной полиции и ее надзора это не меняло дела. И тот же полицмейстер Миллер так же привычно секретно докладывает обер-полицмейстеру: «Живущий в Пречистенской части отставной чиновник 10-го класса Александр Сергеев. Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельство на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женою своею, а как он, по предписанию бывшего обер-полицмейстера от 7-го сентября за № 435 прошлого 1829 г., состоит под секретным надзором, то я долгом поставлю представить о сем вашему высокоблагородию». На этом рапорте есть помета, видимо, сделанная обер-полицмейстером: «Пол. 15 мая 1831 г. № 6875. Уведомить С.-Петербургского обер-полицмейстера». Здесь же зачеркнутая запись: «Донести его сиятельству»¹²⁸. 29 июня московский обер-полицмейстер секретным посланием уведомляет об этом петербургского обер-полицмейстера. В этих полицейских документах обращают на себя внимание три момента. Во-первых, то, что полиция не нашла в поведении Пушкина в Москве «ничего предосудительного». Надо сказать, что поэт в этом отношении «подвел» своих подопечных. Старались, наблюдали, надзирали и на тебе: такой опасный человек, а «ничего предосудительного». И правительство не ругает, и о царе ничего плохого не говорит, и к революции не призывает. Во-вторых, московский обер-полицмейстер напоминает своему петербургскому коллеге, что все это (благопристойное поведение поэта в Москве) ничего не значит, что в Петербурге он может повести себя по-иному и что, следовательно, нужно не забы-

* Ошибка полицмейстера: Пушкин приехал в Москву 5 декабря.

вать о полицейских распоряжениях насчет Пушкина, т. е. не забывать об установлении над ним полицейского надзора. И, наконец, третье, — полиция в части дат приезда Пушкина в Москву и отъезда из нее неточна. С. Т. Овчинникова в доказательство того, что московская полиция опоздала с уведомлением об отъезде Пушкина из Москвы, приводит два убедительных источника. 18 мая в № 17 газеты «Санктпетербургские ведомости» за 1831 год среди приехавших в Петербург значится «из Москвы, отставной 7 класса Пушкин» (насчет «класса» явная ошибка). Кроме того, 21 мая Е. Хитрово пишет из Петербурга Вяземскому в Москву о том, что она «была однако очень счастлива свидеться с нашим общим другом», т. е. с Пушкиным¹²⁹. В 1833 году в связи с работой над пугачевской темой Пушкину необходимо было выехать в Поволжье (Казань, Симбирск) и оренбургский край. 22 июля он в своем письме Бенкендорфу спрашивает согласие на посещение Казани и Оренбурга для ознакомления «с архивами этих двух губерний». Ввиду отсутствия в Петербурге Бенкендорфа на пушкинское письмо ответил А. Н. Мордвинов — управляющий III Отделением. В своем письме от 29 июля он от имени царя спрашивал Пушкина о причинах, вызвавших необходимость такой поездки. Уже на следующий день (30 июля) Пушкин в ответном письме Мордвинову объясняет это тем, что должен дописать роман, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани», почему ему и хотелось бы «посетить обе сии губернии». Разрешение было получено, и 18 августа поэт выехал из Петербурга. По пути были остановки в Тверском крае, Яропольце и Москве. 2 сентября он прибывает в Нижний Новгород, где пробыл совсем недолго и откуда написал жене два письма. В одном из них он пишет: «Сегодня был я у губернатора, генерала Бутурлина. Он и жена его приняли меня очень мило и ласково! Он уговорил меня обедать завтра у него» (10, 435, 436, 444).

Несмотря на теплый прием, генерал-майор М. П. Бутурлин — нижегородский военный и гражданский губернатор, предупрежденный о строгом надзоре за поэтом, во время нахождения последнего во вверенной ему губернии помнил об этом и действовал в точном соответствии с полицейскими инструкциями. В адрес казанского военного губернатора Бутурлин направил секретную депешу, в которой уведомил о том, чтобы «был учрежден секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта Титулярного Советника Пушкина, ко-

торый 4 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии». Но главная забота нижегородского губернатора заключалась в следующем: «Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернии, я долгом считаю о вышеписанном известить Ваше Превосходительство, покорнейше прося в случае прибытия его в Казанскую губернию учинить надлежащее распоряжение о учреждении за ним во время пребывания его в оной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его»¹³⁰.

Так заработало секретное делопроизводство губернских канцелярий. Казанский губернатор точно в положенный срок четко доложил об исполнении возложенных на него полицейских обязанностей: «На отношение Вашего Превосходительства... имею честь уведомить, что известный поэт Титулярный Советник Пушкин, за поведением коего следовало учредить полицейский надзор, прибыл в Казань 6 сентября и выехал из оной в Оренбург 8-го числа того же месяца». Кроме того, учитывая, что «известный поэт» может возвращаться из Оренбурга через Казань, губернатор счел своим долгом предупредить казанского полицмейстера «в случае прибытия Пушкина в Казань, иметь за поведением его строгое наблюдение». Все эти три документа объединены в секретное надзорное дело канцелярии Казанского военного губернатора, на обложке которого значилось:

№ 142

О учреждении надзора за поведением известного
поэта Титулярного Советника

Пушкина

Началось 17 октября 1833 года
На 2-х листах
Кончено 30 октября 1833 года¹³¹.

Иногда в литературоведении утверждается, что Николай I и Бенкендорф неспособны были по-настоящему оценить поэта, его значение, видели в нем лишь мелкого чиновника. Изучение вопроса о надзоре над ним, роли в этом обоих указанных «исторических» лиц позволяет категорически опровергнуть это мнение. Знали, понимали, ценили — все, разумеется, по-своему. Понимали, что поэт в силу своего таланта мог серьезно влиять (и влиял) на умы граждан России (они постоянно помнили, например,

о роли пушкинских стихов в декабристском движении). Видели в нем своего серьезного противника, а поэтому и принимали свои «контрмеры», необходимые, по их мнению, для нейтрализации и предупреждения его опасного влияния.

«Ласковый» Бутурлин позаботился о «безопасности» не только Казанской губернии, но и Оренбургской. Одновременно с секретным посланием в Казань он отправил такое же в адрес Оренбургского военного губернатора. Этот документ также составил основу специального секретного дела (уже канцелярии оренбургского генерал-губернатора) об учреждении тайного полицейского надзора за прибывшим временно в Оренбург поэтом титулярным советником Пушкиным.

Правда, Бутурлин в своих расчетах ошибся. Он почему-то думал, что Пушкин вначале поедет в свое нижегородское поместье (Болдино), а уже потом в Оренбург. В общем-то, географически так было и логичнее. Но поэт поступил по-другому и тем самым вольно или невольно ввел в заблуждение и «сбил со следа» полицейских ищек. И оренбургский генерал-губернатор ответил Бутурлину, что его секретное отношение получено через месяц по отбытии господина Пушкина отсюда. К тому же оренбургский генерал-губернатор по части рвения в отношении исполнения полицейских функций мало походил на нижегородского и казанского своих коллег.

В. А. Перовский — хороший знакомый Пушкина, Жуковского, Гоголя. Пушкин был в переписке с Перовским, упоминает его в своих дневниковых записках, подарил ему экземпляр «Истории Пугачева» с дарственной надписью. Это был образованный человек, личность по своему исключительная, так как свою блестящую служебную карьеру (он дослужился до членства в Государственном совете) сумел сочетать с либеральным образом мышления и высоким понятием чести. Известно, что он, будучи оренбургским губернатором, снисходительно смотрел на то, что сосланный туда Шевченко нарушал «высочайшее» запрещение писать и рисовать. Последнее в николаевскую эпоху тотального наушничанья и шпионажа могло для самого генерала кончиться плохо. В том же письме Бутурлину Перовский пояснил, что «хотя во время кратковременного его (Пушкина. — А. Н.) в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как остановился он в моем доме, то я лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела дру-

гого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий¹³². Думается, что, кроме дружеской заботы о поэте губернатор пытался своим покровительством избавить его от унижительного полицейского надзора.

23 сентября Пушкин покидает Оренбургскую губернию. 1 октября он был уже в Болдине, а 20 ноября возвратился в Петербург. Сохранилось донесение исправника Лукояновского уезда нижегородской губернии (нижегородскому же губернатору) о пребывании поэта в Болдино: «Означенный г. Пушкин жительство имеет в Лукояновском уезде в селе Болдине. Во время проживания его, как известно мне, занимался только одним сочинением, ни к кому из соседей не ездил и к себе никого не принимал»¹³³.

Так для Пушкина выглядела «свобода» передвижения в понимании царя и шефа жандармов. Это настолько не соответствовало общепринятому пониманию свободы, что вызвало глубокое возмущение даже у далекого от радикализма Жуковского. Под впечатлением писем Бенкендорфа к поэту, которые вместе с другими бумагами Пушкина Жуковский читал, выполняя волю Николая I, он писал шефу жандармов: «В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление?.. Вы делали изредка свои выговоры, с благим намерением, и забывали об них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям... А эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждаться видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России...»¹³⁴.

Поднадзорность поэта не давала гарантий на невмешательство жандармов и полиции в чисто личные (даже интимные) сферы его жизни. Так, его личная переписка (в том числе с женой и друзьями) перлюстрировалась. Свидетельств этому немало, в том числе сама переписка и дневниковые записки. Например, в письме жене от 30 июня 1834 г. Пушкин пишет: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее (намек на царскую «цензуру». — А. Н.) — охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен. Погоди, в отставку выду, тогда переписка нужна не будет» (10,497—498). Эта приписка была вызвана тем, что поэт узнал (через Жуковского), что полиция перехватила по почте его письмо к жене (от 20 и 22 апреля 1834 г.), в котором он не-

сколько вольно отозвался о своем отношении к трем царям (Павлу I, Александру I и Николаю I), к наследнику последнего царя и своем пренебрежении камер-юнкерскими обязанностями:

«Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники (по случаю совершеннолетия великого князя Александра, будущего императора Александра II. — А. Н.) просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен: царствие его впереди! и мне, вероятно, его не видеть. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфироносным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями» (10, 475).

О том, что поэт знал о перлюстрации этого письма, он сделал запись от 10 мая 1834 г. в своем дневнике: «Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. К счастью, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутком не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!» (8,50).

Письмо это было прочитано (по долгу службы!) московским почтмейстером А. Я. Булгаковым. Восприняв его

как неуважение поэта к царской фамилии, почтмейстер снял с него копию, заверил ее припиской «с подлинным верно» и направил ее по адресу, т. е. самому Бенкендорфу. Последний же «по долгу» своей службы должен был ознакомиться с копией письма самого Николая I. Однако секретарь Бенкендорфа П. И. Миллер (бывший лицеист и почитатель Пушкина), «злоупотребляя своим служебным положением», после прочтения копии письма шефом жандармов поместил ее не с теми документами, которые должны были быть представлены на просмотр царю, а к другим. Таким образом в этом случае Пушкин зря «грешил» на Николая I, который на самом деле эту копию с пушкинского письма не читал.

Реакция поэта на прочтение жандармами и полицией этого письма отражена и в его письмах к жене от 18 мая и 3 июня 1834 г. В первом поэт сообщает: «Я тебе не писал, потому что был зол — не на тебя, на других. Одно из моих писем попало в полицию и так далее» (в словах «и так далее» виден намек поэта на царя). Во втором он вновь возвращается к этому: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство...» (10, 485, 487).

В биографии поэта зафиксировано два случая перлюстрации его писем (первое, как уже отмечалось, одесское, послужило поводом к его михайловской ссылке). Однако, разумеется, в действительности его письма прочитывались полицией более или менее регулярно. Подтверждением этого может служить хотя бы «фундаментальность» постановки дела, например, снятие копии с его письма и удостоверение ее почтмейстером. Здесь, конечно же, чувствуется влияние инструкций на сей счет, исходящих от всемогущего III Отделения.

Царь и Бенкендорф считали своей обязанностью надзирать и за внешним видом поэта. Так, в своем письме поэту от 29 января 1830 г. шеф жандармов делает ему следующий выговор: «Государь император заметить изволил, что Вы находились на бале у французского посла в фраке, между тем, как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах. Как же всему дворянскому сословию присвоен мундир тех губерний, в коих они имеют поместья или откуда родом, то Его Величество полагать изволит приличнее Русскому дворянину являться в сем наряде в потребные собрания»¹³⁵. Кстати говоря, Бенкендорф «заболтался» и о посмертном внешнем облике поэта, при отпева-

нии которого последовал грозный вопрос шефа жандармов: «Почему положили в гроб не в мундире?» Пушкин как будто предчувствовал это при жизни. Так, в письме к Наталье Николаевне (датируемом примерно 28 июня 1834 г.) поэт сокрушался: «...мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане...» (10, 495). (Имеется в виду камер-юнкерский мундир). И насколько мы должны быть признательны жене поэта за то, что она не допустила того, что так беспокоило ее мужа при жизни.

ПЕРЕПИСКА ПУШКИНА С БЕНКЕНДОРФОМ

Как бы хотелось, чтобы жизнь гения вообще не пересекалась с именем шефа III Отделения. Но действительность, к сожалению, была совсем иная. Вопреки воле поэта Бенкендорфом сверх всякой меры наполнялась его земная жизнь. О чем, допустим (да и зачем, казалось бы), гений мог переписываться с жандармом? Однако переписка между ними была весьма интенсивной. Известно содержание более 700 писем поэта к различным адресатам. Так вот по числу сохранившихся писем в тройку «лидеров» уверенно входит Бенкендорф, его в этом отношении опережают только Наталья Николаевна и Вяземский. Пушкин начал переписываться с шефом жандармов в 1826 году и продолжал переписываться до смерти (последнее неотправленное письмо было найдено в сюртуке поэта уже после того, как он умер). Интенсивность этой вынужденной переписки была достаточно высока. Так, в 1827-м и в 1835 году едва ли не каждое третье письмо (!) Пушкина было к Бенкендорфу. Остановимся кратко на их содержании.

29 ноября 1826 г. — объяснение по поводу чтения своей трагедии «Борис Годунов» без разрешения царя.

3 января 1827 г. — о царском отзыве на «Бориса Годунова». Поэт на словах согласен с царской критикой, но твердо отказывается переделать трагедию в духе замечаний императора («...С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве его величества, касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.») (10, 224).

22 марта 1827 г. — объяснение по поводу стихотворений поэта, переданных шефу жандармов не лично, а через Дельвига («Стихотворения, доставленные бароном Дельвигом Вашему превосходительству, давно не находились у меня: они мною были отданы ему для альманаха «Северные цветы» и должны были быть напечатаны в начале нынешнего года. Вследствие высочайшей воли я остановил их напечатание и предписал барону Дельвигу прежде всего предоставить оные Вашему превосходительству...») и извинение за медлительность с ответом (10, 226).

24 апреля 1827 г. — о разрешении приезда в Петербург из Москвы («...Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге: приемлю смелость просить на сие разрешение у Вашего превосходительства...») (10, 228).

29 июня 1827 г. — о явке к Бенкендорфу в связи с делом о стихотворении «Андрей Шенье» («...По приезде моем в С.-Петербург явился я к Вам, но не имел счастья найти дома. Полагая, что Вы заблагорассудите сами потребовать меня, до сих пор я Вас не беспокоил. Теперь осмеливаюсь просить Вас дозволить мне к Вам явиться, где и когда будет угодно Вашему превосходительству») (10, 230).

20 июля 1827 г. — о нарушении авторских и издательских прав поэта издателем Ольдекопом («...В 1824 году г. статский советник Ольдекоп без моего согласия и ведома перепечатал стихотворение мое «Кавказский пленник» и тем лишил меня невозвратно выгод второго издания... Не имея другого способа к обеспечению своего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих..., осмеливаюсь наконец прибегнуть к высшему покровительству, дабы и впредь оградить себя от подобных покушений на свою собственность») (10, 232). Поэт полагал, что раз вся его издательская деятельность проходит через царя и Бенкендорфа, то на них лежит и обязанность охраны его авторских прав. Совсем по-иному думали те: письмо поэта не повлекло для издателя каких-либо последствий.

20 же июля 1827 г. — о том же и о представлении на цензуру новых произведений (стихотворения «Ангел» и «Стансы», глава третья «Евгения Онегина», поэма «Граф Нулин», «Отрывки из Фауста», «Песни о Стеньке Разине» (последние не были дозволены Николаем I).

10 сентября 1827 г. — об отзыве царя на представленные выше произведения и о деле с Ольдекопом (по поводу

последнего поэт твердо остался при своем мнении). (10,236).

5 марта 1828 г. — благодарность за благосклонный отзыв Николая I о шестой главе «Евгения Онегина» и стихотворении «Друзьям», а также просьба «узнать будущее назначение», т. е. разрешить поездку на Кавказ. На письме рукой Бенкендорфа сделана помета: «Пригласить его ко мне на послезавтра, в воскресенье в 4-м часу» (10, 243).

18 апреля 1828 г. — вновь напоминание о «своем назначении». На письме имеется резолюция Бенкендорфа: «Ему и Вяземскому (последний обращался с такой же просьбой. — А. Н.) написать порознь, что государь весьма хорошо принял их желание быть полезными службою, что в армию не может их взять, ибо все места заняты, и отказывается всякий день желающим следовать за армией, но что государь их не забудет, и при первой возможности употребит их таланты» (10, 245). По этому поводу есть интересные мемуарные свидетельства Н. Ф. Путяты — литератора, в молодости офицера, близкого к декабристским кругам (считается, что именно Путята был одним из немногих очевидцев казни руководителей декабристского восстания, подробно рассказавшим об этом Пушкину). Комментируя отказ царя и Бенкендорфа в просьбе Пушкина вступить в действующую армию в качестве волонтера, Путята сообщает, что Бенкендорф отказал поэту в его просьбе, «но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкины предлагали служить в канцелярии III Отделения!»¹³⁶ Таким образом, если верить этому свидетельству, то Пушкин мог стать сотрудником III Отделения. Конечно же, до большего унижения поэта шеф жандармов не мог додаться ни до, ни после того.

21 апреля 1828 г. — просьба о разрешении поехать в Париж и об издании ранее «уже напечатанных» стихотворений. Бенкендорф не счел нужным доводить до царя первую просьбу (она явно превышала «возможности» царских милостей), и Пушкин ни в Париж, ни вообще куда-либо за границу поехать не смог (10, 245—246).

Вторая половина августа 1828 года (черновой вариант) — объяснение по поводу требования петербургского обер-полицмейстера об отобрании у Пушкина подписки относительно того, что он не будет писать вредные «богохульные сочинения» подобно «Гавриладице»: «...Вследствие высочайшего повеления господин обер-полицмейс-

тер требовал от меня подписки в том, что я впредь без предварительной обычной цензуры... Повинуюсь священной для меня воле; тем не менее прискорбна мне сия мера. Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я, твердо чувствую, того не заслуживаю, и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену. Что касается до цензуры, если государю императору угодно уничтожить милость, мне оказанную, то, с горестью приемля знак царственного гнева, прошу Ваше превосходительство разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество» (10, 249). Поэт настойчиво продолжает бороться хотя бы за свою относительную независимость. Ну, допустим, царь, ну глава всемогущественного III Отделения — все это, как говорится, куда ни шло, от этого никуда не деться. Но примириться с тем, что наряду с императорско-бенкендорфским надзором существует еще и обер-полицмейстерский *литературный* (!) надзор, это уже ни в какие ворота не лезет. Поэт видит отсутствие всякой логики и в многоступенчатости цензурного над собой надзора. Если цензор — царь, то зачем обычная цензура? А если цензура обычная, то не означает ли это, что царь берет свое слово (быть цензором Пушкина) назад?

10 ноября 1829 г. — объяснение по поводу своего путешествия в Арзрум: «С глубочайшим прискорбием я только узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум... Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво...» (10,801).

7 января 1830 г. — с просьбой о разрешении путешествия во Францию или Италию или посещения Китая с дипломатической миссией и о напечатании «Бориса Годунова». О неудаче предшествующих попыток «испросить» царского согласия на эти заграничные путешествия уже говорилось.

Что же касается второй просьбы, то «Борис Годунов» с рядом цензурных исправлений и изъятий вышел в свет в декабре 1830 года (10,802).

18 января 1830 г. — ответ о получении отказа на поездку за границу и о хлопотах в пользу семейства героя

войны 1812 г. Н. Н. Раевского (последние были удовлетворены) (10,803).

21 марта 1830 г. — ответ на письмо Бенкендорфа с выговором поэту за его поездку в Москву. Это был ответ Пушкина на уже упоминавшуюся угрозу шефа жандармов, высказанную поэту в письме от 17 марта 1830 г. (10,275).

24 марта 1830 г. — это письмо касается трех вопросов:

1) Пушкин вновь возвращается к предыдущему письму Бенкендорфа с его полицейским выговором и угрозой. Поэт по-прежнему ставит вопрос о доверии к нему со стороны правительства («...Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горечью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство»); 2) о своих отношениях с Булгариным («...Г-н Булгарин, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного им мне критического отзыва. После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла») (10,807). Пушкин имеет в виду здесь булгаринский пасквиль на него, помещенный в «Северной пчеле» (1830, № 30). Поэт знал, что к этому времени Булгарин был уже на службе III Отделения и считал необходимым как бы обезопасить себя в глазах III Отделения. Разумеется, для того чтобы говорить об агентуре самого Бенкендорфа, нужна была по тем временам достаточная смелость; 3) поэт просил разрешения на поездку в Полтаву для встречи со своим другом Николаем Раевским-младшим. На письме Пушкина имеется помета Бенкендорфа: «Отвечать ему, что Булгарин никогда не говорил мне о нем — по той простой причине, что я вижу его 2—3 раза в год, и то лишь для того, чтобы побранить, а один раз и для того, чтобы отправить его на гауптвахту. Что его, Пушкина, положение, вовсе не непрочное, но что действительно его последний крайне поспешный отъезд в Москву не мог не возбудить подозрения»¹³⁷. На просьбу же встретиться в Раевском, разумеется, последовал отказ.

16 апреля 1830 г. — о своей предстоящей женитьбе и вновь о напечатании «Бориса Годунова»: «...Я женюсь на м-ль Гончаровой... Я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное положение и мое положение относительно

правительства. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно... Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя...» (10,810).

В ответном письме от 28 апреля 1830 г. шеф жандармов лицемерно писал, что в положении Пушкина нет «ничего ни фальшивого, ни сомнительного» и что царь «с истинно отеческим благословением» к Пушкину поручил Бенкендорфу «не как шефу жандармов, но как человеку... наблюдать» за поэтом «и руководить его советами». Такой ответ не мог не удовлетворить Н. И. Гончарову. Однако и женитьба поэта не обошлась без вмешательства полиции. А. Я. Булгаков — чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, а впоследствии московский почтовый директор, так описывал венчание Пушкина в своем письме от 19 февраля 1830 г. сыну (К. А. Булгакову): «...их (т. е. Пушкиных. — А. Н.) обвенчали... у Старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей...»¹³⁸. Чего же боялась полиция?

В том же письме Пушкин вновь возвращается к вопросу о напечатании без исправлений «Бориса Годунова»: «Прошу еще об одной милости: в 1826 году я привез в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове... Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний о местах слишком вольных... Его внимание привлекли также два или три места, потому что они, казалось, являлись намеками на события, в то время еще недавние; перечитывая теперь эти места я сомневаюсь, чтобы их можно было бы истолковать в таком смысле. Все смуты похожи одна на другую... Но нынешними обстоятельствами я вынужден умолять его величество развязать мне руки и позволить мне напечатать трагедию в том виде, как я считаю нужным» (10,811). И в этом случае приходится удивляться и настойчивости поэта, и его мужеству. Царская цензура сама по себе, а поэт оказался вне ее, сильнее императорских литературных амбиций и ограничений. Николай I разрешил напечатать «Бориса Годунова» под «личную ответственность» Пушкина.

29 мая 1830 г. — о разрешении на переплавку бронзовой статуи Екатерины II (собственности семейства Гончаровых) — разрешение было получено.

4 июля 1830 г. — благодарность за указанное разрешение.

18 января 1831 г. — благодарность царю за напечатание «Годунова».

Середина октября 1831 года — «о дозволении издать особою книгою стихотворения мои, напечатанные уже в течение трех последних лет».

24 ноября 1831 г. — о своем отъезде в Москву и вновь об очередном болгаринском пасквиле. Царь наложил на письмо свою «резолюцию», в которой соглашался с тем, что болгаринский пасквиль был оскорбительным для поэта, но не одобрял, что свой литературный ответ тот «пустил «по рукам».

7 февраля 1832 г. — обращение по поводу опубликования стихотворения «Анчар» («Древо яда») без предварительного рассмотрения государем императором.

18—24 февраля 1832 г. — вновь о соотношении царской и обычной цензуры. В нем поэт в который раз обращает внимание царя и Бенкендорфа на то, что царская «милость» ставит его в наиболее невыгодное положение среди других литераторов (ведь «милость» означала царское «освобождение» поэта от цензуры): «Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре — я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре» (10,407). Поэт вновь ставит вопрос о возможности представлять свои «мелкие сочинения» обычной, а не царской цензуре. Однако избавиться даже от этой малой царской «милости» поэту не удалось.

24 февраля 1832 г. — о благодарности за царский подарок — Полное собрание законов Российской империи и о разрешении ознакомиться с находящейся в Эрмитаже библиотекой Вольтера.

27 мая 1832 г. — о публикации рукописей Кюхельбекера и о разрешении на выпуск газеты (ходатайство было безуспешным).

8 июня 1832 г. — о предложении (по просьбе семейства Гончаровых) правительству приобрести находящуюся в их собственности статую Екатерины II (которую раньше предполагалось переплавить) — ходатайство было безуспешным.

22 июля 1833 г. — о разрешении на поездку в Оренбург и Казань и ознакомлении с архивами этих губерний. Ввиду отсутствия Бенкендорфа ответ на него был дан управляющим III Отделения А. Н. Мордвиновым, который

от имени царя спрашивал поэта о причинах, побуждающих Пушкина совершить эту поездку. Пушкин в свою очередь ответ на это письмо адресовал также Мордвинову, но скрыл, что речь идет о сборе им материалов о пугачевском восстании: «Может быть государю угодно знать, какую именно книгу я хочу дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (10,435).

6 декабря 1833 г. — о напечатании поэмы «Медный всадник» и о представлении царю рукописи «Истории Пугачева». Николай I ознакомился с поэмой и остался ей недоволен. Однако Пушкин точно так же, как и в случае с «Годуновым», отказался исправлять и переделывать поэму, и она была напечатана лишь после смерти поэта.

7—10 февраля 1834 г. — просьба о напечатании «Истории Пугачева» в типографии Сперанского и о ссуде в 15.000 рублей на печатание книги. И то и другое было удовлетворено (ссуда была выдана в размере 20.000 рублей).

26 февраля 1834 г. — опять о той же ссуде и ее выдаче.

27 февраля 1834 г. — опять о напечатании «Истории Пугачева» в типографии Сперанского.

5 марта 1834 г. — благодарность за удовлетворение обеих просьб в связи с печатанием «Истории Пугачева».

25 марта 1834 г. — благодарность за денежную ссуду в связи с печатанием «Истории Пугачевского бунта».

25 июня 1834 г. — об отставке: «...Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение» (10,854). При этом поэт просил сохранить ему допуск в архивы, необходимые ему для работы над «Историей Петра I». Просьба об отставке была вызвана, в первую очередь, нравственными страданиями поэта, что может быть объяснено целым рядом достаточно серьезных причин. Среди них не последнюю роль сыграло и возмущение Пушкина «пожалованием» ему придворного звания камер-юнкера, делавшего его не только более зависимым от царя и двора, но и смешным в глазах общества, так как обычно это звание давалось молодым людям. В связи с новым званием у него появились дополнительные обязанности: посещение придворных балов и церковных служб при дворе, неукоснительное соблюдение правил придворного этикета, за нарушение которых следовали выго-

воры, унижающие его личное достоинство. Например, 16 апреля поэт получил выговор (через Жуковского) за отсутствие его на службе в придворной церкви. По существу же просьбы поэта об отставке Бенкендорф ответил ему письмом от 30 июня. В нем он сообщал о царском решении по этому поводу: «...Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено государю императору в подлиннике, и его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною исполнено. Затем на просьбу вашу о предоставлении вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок государь император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства»¹³⁹. Как видно, просьба об отставке вызвала «высочайшее» неудовольствие. С осуждением этого поступка поэта выступил и Жуковский в своих письмах к нему от 2, 3 и 6 июля, в которых настойчиво советовал поэту забрать назад заявление об отставке.

3 июля 1834 г. — о том, чтобы «не давать хода» прошению об отставке.

4 июля 1834 г. — также об отказе от заявления об отставке.

6 июля 1834 г. — об этом же.

23 ноября 1834 г. — о выдаче поэту тиража «Истории Пугачевского бунта», о поднесении первого тома этого произведения императору и об издании сборника стихотворений.

17 декабря 1834 г. — опять о выдаче тиража «Пугачева» (дело в том, что без разрешения царя Сперанский не мог этого сделать).

26 января 1835 г. — о разрешении ознакомиться в архивах с «Пугачевским делом»: «...осмеливаюсь просить Ваше сиятельство о испрошении важной для меня милости: о высочайшем дозволении прочесть Пугачевское дело, находящееся в архиве... для успокоения исторической моей совести». Рукою Бенкендорфа на письме сделана помета о том, что царь «позволяет Пушкину читать все дело, и просит сделать выписку для государя; дать знать где следует, должно быть М (министру. — А. Н.) юстиции» (10,523). 21 февраля 1834 г. министр юстиции Дашков в своем письме Нессельроде (Государственный архив находился в ведении последнего как министра иностранных дел) сообщал, что дело о Пугачеве в восьми запечатанных конвер-

тах передано для занятий Пушкина в Государственном архиве, о чем было доложено Бенкендорфу для сообщения Пушкину (в этом смысле поэт твердо «принадлежал» шефу жандармов и никому другому). Однако, несмотря на царское и Бенкендорфа разрешение, ознакомиться полностью с материалами следствия по делу Пугачева Пушкину так и не удалось. В своем письме от 28 августа 1835 г. В. А. Поленову — заведующему секретным отделом Государственного архива, поэт, упоминая о царском разрешении, сообщает: «В осьми связках, доставленных мне из С.-Петербургского сената, не нашел я главнейшего документа: допроса, снятого с самого Пугачева в следственной комиссии, учрежденной в Москве. Осмеливаюсь покорнейше просить Ваше превосходительство, дабы приказали снести о том с А. Ф. Малиновским (начальник Московского архива министерства иностранных дел, сенатор, писатель и переводчик. — А. Н.), которому, вероятно, известно, где находится сей необходимый документ» (10,544). Однако эта просьба поэта не была удовлетворена.

Не позднее 11 апреля 1835 г. — о разрешении на издание газеты и литературных приложений. В ответ на эту просьбу последовало разрешение на издание журнала «Современник» (начал выходить в 1836 г.).

11 апреля 1835 г. — о разрешении напечатать «Путешествие в Арзрум».

Апрель — май 1835 г. — о денежном займе у правительства.

1 июля 1835 г. — об отставке («Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества» (10,861—862). Однако и эта просьба вызвала царское неудовольствие, и Пушкин вновь был вынужден отказаться от своего намерения.

4 июля 1835 г. — вновь об отставке и о сохранении при этом возможности работать в архивах.

22 июля 1835 г. — опять об отставке. На этом письме есть помета Бенкендорфа: «Император предложил ему 10 т. рублей и 6-месячный отпуск, по истечении которого он увидит, должно ли ему выйти в отставку или нет»¹⁴⁰.

26 июля 1835 г. — о ссуде в 30 тысяч рублей для выплаты долгов. На письме помета Бенкендорфа: «Импера-

тор жалует ему 30 т рублей с удержанием, как он просит, его жалованья»¹⁴¹.

11—23 октября 1835 г. — о цензурных притеснениях по поводу напечатания поэмы «Анджело».

31 декабря 1835 г. — о разрешении на опубликование записок бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года с примечаниями и предисловием поэта (были напечатаны в четвертом томе «Современника» после смерти Пушкина) и об издании 4 томов литературного журнала (имелся в виду «Современник»).

16—20 января 1836 г. — объяснение по поводу стихотворения «На выздоровление Лукулла» (сатира на министра народного просвещения и президента Академии наук С. С. Уварова).

21 ноября 1836 г. (неотправленное) — о получении поэтом 4 ноября оскорбительных анонимных писем (дипломом рогоносца) и своих действиях по этому поводу.

Как видно из переписки, едва ли не все стороны жизни поэта находились под присмотром шефа жандармов. Здесь и чисто литературные дела (цензурное разрешение на опубликование написанных произведений, отношения с издателями и типографией), сугубо интимные (женитьба), служебные (вопросы отпуска и отставки, соблюдение придворного этикета), обычные (повседневные) права и свободы (поездки, имущественные дела и т. д.).

Каково же было отношение друг к другу жандармского надзирателя и поднадзорного? Думается, далеко не одинаковое. Первый ненавидел поэта и боялся его. Он видел в нем опаснейшего для самодержавия противника. И дело здесь не в преувеличении революционных взглядов самого поэта. Шеф жандармов еще из процесса по делу декабристов понял силу поэзии Пушкина, степень его влияния на самые различные круги общества, и в особенности на молодежь. Так, в предназначенном для Николая I Отчете III Отделения «Картина общественного мнения в 1830 г.» Бенкендорф говорит о молодых людях, «пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России» и что «кумиром этой партии является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал» (Занда); «Ода на вольность» и т. д. и т. д., переписываются и раздаются направо и налево»¹⁴². Поэтому и отношение шефа жандармов к надзору над поэтом было самое что ни на есть серьезное. Мало ли что поэт выезжает всего лишь из Москвы в Петербург или обратно? И здесь нужен за ним глаз да глаз. Когда

прибыл, с кем общался, кому и какие стихи читал, что говорил? Ах, сколько хлопот этот совсем не серьезный человек доставлял такому серьезному государственному мужу, от которого чуть ли не зависела безопасность империи.

Возложенное на шефа жандармов царем бремя литературной цензуры пушкинского творчества Бенкендорф также нес вполне добросовестно и даже с известным старанием. Так, в первой половине 1827 г. в Москве в типографии при императорской Медико-хирургической академии вышла в свет пушкинская поэма «Цыганы» (написанная еще в 1824). На заглавном листе книги была помещена виньетка: разбитые цепи, опрокинутая чаша, змея и кинжал. Эти детали привлекли внимание шефа жандармов*, и в конце июня 1827 г. он по этому поводу направил в Москву распоряжение жандармскому генералу Волкову: «Небольшая поэма Пушкина Цыганы, только что напечатанная в Москве,.. заслуживает особенного внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно узнать наверное, кому принадлежит ее выбор — автору или типографу, потому что трудно предположить, что она была взята случайно. Я очень прошу сообщить мне ваши наблюдения, а также и результаты ваших исследований по этому предмету¹⁴². Жандармский генерал допросил по этому поводу издателя (Августа Семана) и выяснил, что, во-первых, виньетку тот подобрал сам, а, во-вторых, что выполнена она была не в Москве, а в Париже. Таким образом это подозрение с Пушкина было снято. Тем не менее архив III-го Отделения увеличился еще на одно дело ни много ни мало, как на 48 листах и не без претензии витиевато озаглавленное: «О подозрительности виньетки, которою украшен заглавный листок стихотворения Пушкина «Цыганы».

Несколько иное отношение к своему надзирателю было

* Ник. Смирнов-Сокольский не без основания считал, что эта виньетка напомнила Бенкендорфу строки из стихотворения Пушкина «Кинжал» («Свободы тайный страж, карающий кинжал, последний судия позора и обиды...»). См.: Ник. Смирнов-Сокольский. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 140. С содержанием же этого самого «крамольного» стихотворения поэта Бенкендорф познакомился не случайно, не как «любитель» поэзии, а по служебной необходимости, как член тайного Следственного комитета, учрежденного Николаем I по делу декабристов.

у самого поэта. Боялся ли он Бенкендорфа? Да, боялся, и тут уж ничего не поделаешь. Поэт на собственном опыте убедился, что «за строку глупого письма» можно было не только поплатиться ссылкой, но и угодить в тюрьму. И дело для него заключалось не только в самом наказании, а в том, что оно могло означать запрет на его творчество, поэзию, т. е. на дело его жизни, без которого последняя для него была лишена смысла. Но все-таки его боязнь Бенкендорфа и боязнь самого шефа жандармов — это слишком разные вещи. Вся их переписка свидетельствует о том, как поэт стремился вырваться из тисков царско-бенкендорфовой цензуры и позволял себе многое, нарушая их запреты и установления (чего стоит только его самовольная поездка на Кавказ). К тому же обратной стороной боязни обер-жандарма России была, как уже отмечалось, его ненависть к поэту. Однако сам поэт был лишен этого чувства по отношению к своему надзирателю. По всей видимости, поэт сознавал, что на месте Бенкендорфа мог оказаться и человек, еще хуже него (тот же Аракчеев). Об этом свидетельствует его переписка как с шефом жандармов, так и с друзьями. Например, в сложной ситуации, связанной с желанием поэта выйти в 1834 г. в отставку, Пушкин объясняет причины своего прошения об этом в письме к Жуковскому от 4 июля 1834 г.: «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима. Изъяснить это все гр. Бенкендорфу мне не достало духа — от этого и письмо мое должно было показаться сухо... Но что же мне делать! Буду еще писать к гр. Бенкендорфу» (10, 499). В свою личную жизнь вмешивать Бенкендорфа ему, конечно же, не хотелось (ведь это не Жуковский, а слишком уж чужой человек). Однако уже через два дня (6 июля) поэт опять пишет Жуковскому: «К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце...» (10, 501). Таким образом, поэт решил изложить Бенкендорфу истинные мотивы своего намерения подать в отставку, которые он и сообщил в письме к нему от 22 июля 1834 г. Пушкинские характеристики Бенкендорфа как человека даны им в его письме к Вяземскому (январь 1829 г.): «Жуковский сказывал мне о совете своем отнестися к Бенкендорфу. А я знаю, что это будет для тебя неприятно и тяжело. Он, конечно, перед тобою не прав: на его чреде не должно обращать внимания на полицейские сплетни и еще менее с

укоризною давать знать об них людям, которых они касаются. Но так как в сущности это честный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе, не допускай в себе враждебных чувств и постарайся поговорить с ним откровенно» (10, 256, 800). Учитывая, что это письмо содержит и обычные для переписки друзей циничные подробности, можно сказать, что оно не было рассчитано на перлюстрацию и отражало истинное отношение поэта к шефу жандармов. Другое дело, что тот этого не стоил, но это уже иная материя. В воспоминаниях одного из самых близких друзей поэта — П. В. Нащекина (записанных П. И. Бартеневым) — также содержится указание на снисходительно-необидный отзыв Пушкина о шефе жандармов: «Жженку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»¹⁴³.

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ

О полицейском надзоре над литературным творчеством поэта было сказано уже достаточно. Однако существовал еще один литературный надзор — со стороны профессиональных литераторов, «по совместительству» состоящих на службе тайной полиции. Соответственно, результаты такого надзора воплощались не только в тайных доносах, но и открытых литературных публикациях. Право на звание самого крупного литературно-полицейского врага Пушкина, бесспорно, принадлежит Ф. В. Булгарину (1789—1859). Этот писатель и журналист, издатель (вместе с Н. И. Гречем) официальной газеты «Северная пчела» имел откровенно монархические взгляды. Однако он сумел завязать близкие отношения с известными литераторами и передовыми людьми своего времени — Грибоедовым, Рылеевым, Кюхельбекером, Тургеневыми, Бестужевыми. В начале своего литературного поприща и Пушкин не мог не считаться с мнением известного критика и журналиста, каковым уже в начале 20-х годов стал Булгарин, издававший в 1822—1825 гг. журнал «Северный архив», а в 1825 году (вместе с Н. И. Гречем) — журнал «Сын Отечества». Сохранилось уважительно-вежливое письмо Пушкина к Булгарину от 1 февраля 1824 г. из одесской

ссылки, где поэт благодарит Булгарина за его «снисходительный... отзыв» о поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако уже в начале апреля того же года в письме к Вяземскому поэт называет Булгарина с его журнальной братией прилепившимся к ним прозвищем «грачей-разбойников». В качестве свидетельства литературного разбоя Булгарина поэт в своем письме к брату от 1 апреля 1824 г. называет напечатание Булгариным в «Литературных листках» отрывков из писем Пушкина к А. А. Бестужеву: «...как можно печатать партикулярные письма — мало ли, что мне приходит на ум в дружеской переписке — а им бы все и печатать. Это разбой...» (10, 84). Несколько позже в письме к А. А. Бестужеву от 29 июня 1824 г. по этому же поводу поэт предостерегает адресата: «Булгарин другое дело. С этим человеком опасно переписываться» (10, 94).

После разгрома восстания декабристов Булгарин добровольно стал агентом III Отделения, хотя и раньше был нужным человеком для Московского военного генерал-полицмейстера и для петербургского генерал-губернатора Милорадовича относительно наблюдения за литературой и театром. Чтобы очиститься от подозрения в сочувствии декабристам, с которыми он был связан через печатание их произведений в своих журналах, Булгарин быстро набирал необходимые ему «баллы снисходительности», выставляемые ему полицейскими и жандармами за его рвение. Так, по требованию полиции Булгарин «очень умно и метко» описал приметы своего разыскиваемого друга Кюхельбекера, что способствовало задержанию последнего, представил для нового царя через дежурного генерала Главного штаба А. Н. Потапова (в чью компетенцию входило и выполнение полицейских функций) записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще». В ней Булгарин предложил собственный рецепт искоренения декабристской «крамолы» в обществе: «Правительству весьма легко истребить влияние сих людей на общие мнения и даже подчинить их господствующему мнению действием *приверженных правительству писателей*»¹⁴⁴. Разумеется, Булгарин прозрачно намекал правительству, что такими верноподданническими писателями являются он и его друзья. Что же касалось цензуры, то Булгарин предлагал полностью подчинить цензуру театра и периодических изданий «высшей» полиции. Последней же вменялось в обязанность знание общего мнения и направление умов «по произволу правительства», которое с этой целью «долж-

но иметь в руках своих служащие к сему орудия»¹⁴⁵. Да, кто-кто, а Булгарин знал, что «должна знать высшая полиция». Потапов передал эту записку начальнику Главного штаба Дибичу, а тот самому Николаю I, сумевшему оценить полицейское рвение преданного самодержавию литератора.

С созданием III Отделения Булгарин быстро зарекомендовал себя перед Бенкендорфом, который обратил внимание императора на «похвальные литературные труды» последнего, а сам Булгарин, так сказать, не за страх, а за совесть старался оправдать это доверие. В основном свою помощь полиции и жандармам он осуществлял через газету «Северная пчела», которую III Отделение сразу же взяло под свое покровительство.

Верноподданническая служба Булгарина в III Отделении не могла не обойти вниманием и возвращенного из ссылки царем Пушкина. Вот, например, один из его доносов: «Известный *Соболевский* (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надо беречь, как дитя. Он поэт, живой воображением и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит *Соболевский*, проникнута дурным духом. Атаманы — князь *Вяземский* и *Полевой*; приятели: *Титов*, *Шевырев*, *Рожалин* и другие москвичи. *Соболевский* водится с кавалергардами»¹⁴⁶. Что ж, донесение любителя вполне профессионально с полицейской точки зрения и мало чем отличается, например, от аналогичного донесения не просто профессионала, а незаурядного мастера в своем деле фон Фока: «Поэт Пушкин здесь. Он редко бывает дома. Известный *Соболевский* возит его по трактирам»¹⁴⁷ (событие для Бенкендорфа и царя настолько важное, что на этом донесении есть помета самого шефа жандармов о том, что оно докладывалось самому императору).

В 1830 году Булгарин через свою газету начал активную травлю Пушкина. Смысл этого один — подорвать какое-либо доверие правительства к Пушкину, показать политическую неблагонадежность поэта. В одной из своих статей в «Северной пчеле» (1830, № 30) Булгарин дает следующую характеристику поэту: сердце у него, «как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами», он «чванится перед чернью вольнодумства, а тишком ползает у ног сильных». Следом в этой же газете (1830, № 35) Булгарин поместил разгромную рецен-

зию на седьмую главу «Евгения Онегина». Все это вызвало неудовольствие даже у Николая I, но Бенкендорф взял под защиту своего литературного агента.

По поводу тактики поведения с Булгариным Пушкин советовался с Плетневым в письме, датированном началом мая 1830 г.: «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с «Борисом Годуновым», заговорить об Фаддее Булгарине? Кажется, неприлично» (10, 287). В 1834 году Пушкин в письме (начало апреля) М. Погодину так решал этот вопрос: «...я имею полное право презирать мнение Булгарина и не требовать удовлетворения от ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности». А свое избрание вместе с Булгариным членом Московского общества любителей российской словесности считал для себя «пощечиной» (10, 470). Тем не менее Булгарин не унимался, и в «Северной пчеле» от 7 августа 1830 г. (№ 94) в фельетоне Булгарина Пушкин был выведен под именем некоего «поэта в Испанской Америке, подражателя Байрона, происходившим от мулата, купленного шкипером «за бутылку рома». Поэт вынужден был ответить на это стихотворением «Моя родословная», в котором напомнил, что этим шкипером был не кто иной, как сам Петр I. Кроме того, в двух эпиграммах этого же года заклеил Булгарина именем Видока Фиглярина. Прозвище Фиглярин, созвучное его настоящей фамилии и характеризующее его как шута, утвердилось с легкой руки Вяземского. Пушкин сделал к этому прозвищу существенное дополнение. Он приписал к нему еще имя известного французского полицейского сыщика Видока и тем самым обнародовал полицейскую сущность Булгарина и его сотрудничество с тайной полицией и жандармами. Помимо эпиграмм, Пушкин в своей статье «О записках Видока» («Литературная газета», 1830, № 20) в характеристику настоящего Видока намеренно ввел некоторые факты из биографии самого Булгарина, чем также указывал на его связь с III Отделением.

ПОСМЕРТНЫЙ ОБЫСК

Внимание тайной полиции и III Отделения к поднадзорному поэту не прекратилось с его кончиной. Царь, Бенкендорф и жандармы опасались поэта и после смерти. Правда, его друзья из добрых побуждений (чтобы не оста-

вить без средств вдову и детей поэта) делали все, чтобы представить умиравшего Пушкина перед царем как полностью помирившегося с ним, исполненного перед смертью самых верноподданнических чувств и даже любви к императору. Так, в записке Жуковского Николаю I о предлагаемых им милостях семье Пушкина сообщалось: «Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением (и что я вчера забыл передать В. В-у): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого царствования, что я желаю ему счастья в сыне, что я желаю счастья (его) в счастье России»¹⁴⁸. Чуть ли не дословно эти слова умирающего Жуковский повторил и в своем письме от 15 февраля 1837 г. отцу Пушкина. Однако как они выглядят фальшиво не только для Пушкина, но и для самого Жуковского. Здесь и невероятная выпренность и театральность, несвойственная им обоим. К тому же этот предсмертный приступ любви к царю почему-то не подтверждают другие свидетели кончины Пушкина. Более близок к истине другой разговор Жуковского с умирающим (переданный им в том же письме к отцу поэта): «...простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя: — «Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть, был бы весь его»¹⁴⁹. Эти слова засвидетельствованы еще и А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским и врачом И. Т. Спасским (домашним доктором Пушкиных). Другое дело, верить ли в искренность этих слов? По крайней мере, тот, к кому они были обращены, т. е. Николай I, этому категорически не поверил. Например, Жуковский просил, чтобы императорская материальная помощь семье поэта была, как это делалось в 1826 году в отношении Карамзина, объявлена специальным манифестом, т. е. как высочайшее признание государственного значения Пушкина. Император же на это ответил: «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобой: это в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел»¹⁵⁰. Думается, что в отношении насильственного «доведения» поэта до «смерти христианской» слова царя не далеки от истины.

Дело для царя заключалось, однако, не только в ис-

кренности или неискренности предсмертного отношения к нему поэта. Николай I опасался, что среди бумаг покойного будут и антиправительственные. Об этом, в частности, в письме к Бенкендорфу писал Жуковский: «Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном против правительства и вредного нравственности»¹⁵¹. Поэтому царь поручил Жуковскому опечатать все бумаги Пушкина и затем разобрать их, «предосудительные же» на взгляд Жуковского — сжечь. О том, насколько серьезны были для Николая I опасения обнаружить эти «предосудительные» бумаги, свидетельствует та быстрота, с которой царь делал эти распоряжения. Вот как об этом писал сам Жуковский: «Пушкин был привезен в шесть часов после обеда домой 27 числа января. 28-го в десять часов утра государь император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина (предоставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах)»¹⁵². Таким образом, решение царя об опечатании бумаг поэта с целью их последующего (посмертного) тщательного разбора было принято спустя лишь ночь после ранения Пушкина на дуэли. В дальнейшем события разворачивались по-иному. Так, не прошло и двух дней после смерти поэта, как Жуковский узнал, что царь изменил свое решение и что просмотр пушкинских бумаг он будет делать не один, а вместе с ближайшим помощником Бенкендорфа, генералом Дубельтом, и не в квартире поэта, а непосредственно в III Отделении. Боялись его возможных убийственных эпиграмм, боялись и не доверяли. Жуковский в своем письме от 5 февраля письменно изложил Бенкендорфу свой проект (устно уже доложенный царю и одобренный им) порядка разбора бумаг покойного. Он выглядит следующим образом:

«1. Бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина, сжечь.

2. Письма, от посторонних лиц к нему писанные, возвратить тем, кои к нему их писали.

3. Оставшиеся сочинения как самого Пушкина, так и те, кои были ему доставлены для помещения в «Современнике», и другие такого же рода бумаги сохранить (сделав их список).

4. Бумаги, взятые из государственного архива, и другие казенные возвратить по принадлежности».

Кроме того, Жуковский предлагал возвратить письма жены Пушкина ей самой без их рассмотрения¹⁵³.

На следующий день (т. е. 6 февраля) Бенкендорф

ознакомил с этим проектом Николая I. Однако на этот раз в них были внесены существенные изменения, о чем шеф жандармов и сообщил Жуковскому в тот же день письменно:

«Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии.

По той же причине все письма посторонних лиц, к нему написанные, будут, как Вы изволите предполагать, возвращены тем, кои к нему их писали, не иначе, как после моего прочтения.

...Письма вдовы покойного будут немедленно возвращены ей, без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка»¹⁵⁴.

Как видно, различие предложений Жуковского и решения по ним шефа жандармов заключалось в противоположном понимании ими вопросов чисто нравственного порядка. Жуковский, как и все порядочные люди, считал, что письма жены к мужу читать или даже просматривать (сличая почерк) безнравственно. Бенкендорф же по-иезуитски находил и возможным, и необходимым их просмотр. Таким образом, шеф жандармов не пощадил щепетильности Жуковского в отношении писем Натальи Николаевны к мужу. Кроме того, Жуковский вообще считал нравственно бесцеремонным прочтение личной переписки поэта, однако шеф жандармов видел в этом свой высший долг. Бенкендорф принципиально не соглашался с Жуковским и в отношении «предосудительных» для памяти Пушкина бумаг: перед сожжением они должны были быть представлены для ознакомления ему лично. Единственно, что удалось отстоять Жуковскому, это то, чтобы бумаги разбирались не в III Отделении, а в его доме.

Весь процесс осмотра бумаг (посмертного обыска) тщательно документировался, а в архиве III Отделения появился даже специальный «Журнал веденный при разборе бумаг покойного Александра Сергеевича Пушкина», в котором с 7 по 27 февраля 1837 г. почти ежедневно делались записи проделанной работы, подписываемые Жу-

ковским и Дубельтом (правда, последняя запись была сделана почему-то 15 марта).

В «Журнале» — 12 записей. Первая запись датируется 7 февраля. Она фиксирует следующие действия Жуковского и Дубельта:

«В присутствии Действительного Статского Советника Жуковского и Генерал-Майора Дубельта был распечатан кабинет покойного Камер-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина и все принадлежавшие покойному бумаги, письма и книги в рукописях собраны, уложены в два сундука и запечатанные перевезены в квартиру Действительного Статского Советника Жуковского, где и поставлены в особенной комнате. Печати приложены: одна штаба Корпуса Жандармов, другая Г-на Жуковского, ключи от сундуков приняты на сохранение Генерал-Майором Дубельтом, дверь комнаты, в которой поставлены сундуки, также запечатана обоими печатями»¹⁵⁵.

Обратим внимание на одну деталь. Бенкендорф решил отправить бумаги поэта на квартиру Жуковского, но ключ от сундуков, куда они были положены, был отдан не Жуковскому, а Дубельту: хоть ты и действительный статский советник, и воспитатель наследника престола, но друг опасного для правительства человека и доверять тебе его бумаги нельзя — такова или примерно такова была логика этих мер предосторожности со стороны руководства III Отделения.

На следующий день был вскрыт один из опечатанных сундуков и разобрана половина находящихся в нем бумаг. Все они были разделены на 7 видов:

1. Указы Российских Государей, данные Князю Долгорукову.
2. Отношения графа Бенкендорфа.
3. Письма разных частных лиц.
4. Домашние счета.
5. Различные стихотворения и прозаические сочинения Пушкина и других лиц.
6. Письма, принадлежащие Г-же Пушкиной и
7. Пакет с билетами.

Следующая запись касается двух дней работы — 9 и 10 февраля. В эти дни бумаги поэта были рассортированы следующим образом:

1. Выписки для Истории Петра Первого.
2. Выписки для Истории Пугачевского бунта и черновые рукописи сей истории.

3, 4, 5, 6 и 7. Разные черновые рукописи и изорванные бумаги Пушкина.

8. Бумаги Генерал-Адъютанта Графа Бенкендорфа.

9 и 10. Чужие манускрипты для «Современника».

11. Чужие стихотворения.

12. Письма Пушкина.

13. Письма князя Вяземского.

14. Письма Дельвига.

15. Письма Рылеева.

16. Бумаги, принадлежащие Князю Долгорукову.

17. Казенные бумаги.

18. Разные чужие бумаги.

19. Письма Жуковского.

20. Бумаги, данные Тургеневым Пушкину для «Современника».

21. Разные старые документы.

22 и 23. Письма разных лиц.

24 и 25. Денежные счета.

26. Деловые бумаги.

27. Просмотренные и ничего в себе не заключающие записки.

28. Манускрипты Пушкина, писанные карандашом.

29. Пушкина портфель с разными черновыми бумагами.

30. Разные бумаги.

31. 19 книг, содержащих в себе черновые сочинения Пушкина.

32. Манускрипты Пушкина и других лиц.

33. Связка старинных рукописей.

34. 20 старинных рукописей в переплетах.

35. Стихотворения Пушкина и других лиц 2.

36. Рукопись «Капитанская дочка»¹⁵⁶.

11 и 12 февраля были посвящены чтению писем Вяземского.

13 февраля сделана запись о том, что окончено чтение писем Вяземского, Рылеева, Дельвига, а также то, что письма Жуковского с разрешения Бенкендорфа возвращены адресату («4 номера связок»).

15, 16 и 17 февраля «прочитаны собственные письма Пушкина», а также письма различных лиц к нему (всего 84 адресатов). Среди них поэты, писатели и публицисты: Чаадаев, Катенин, Одоевский, Дурова, Полевой, Лажечников, Погодин, Баратынский, Крылов, Денис Давыдов, Ишимова, Хвостов, Козлов, Плетнев, Сенковский и другие. В пушкинском архиве сохранились и письма друзей-де-

кабристов: Розена, Михаила Орлова, Кюхельбекера, Сергея Волконского и других. Протокол осмотра бумаг зафиксировал и находящиеся в них письма фон Фока, а также «полицейских» литераторов Греча и Булгарина.

19 февраля просмотрены собранные поэтом материалы к «Истории Петра I», «Истории Пугачевского бунта», рукописи разных авторов для «Современника», а также бывшие тогда секретными Записки о жизни и смерти Екатерины II (на французском языке, в двух книгах).

20 февраля «пронумеровано и прошнуровано» 16 тетрадей «в лист» (среди них рукописи очерков «Радищев» и «Путешествие в Арзрум»), две тетради («в четвертушку и осьмушку») и девять пакетов с отдельными листами, «пересмотрены» рукописи стихотворений Пушкина, рукописи для «Современника», выписки для «Истории Петра I» и «Истории Пугачевского бунта». 22 февраля «пронумеровано» 18 «переплетных книг с черновыми сочинениями Пушкина». 23 и 24 февраля «пересмотрены» «прозаические отрывки в тетрадах» (16 тетрадей) и «прозаические отрывки на отдельных листах».

25 февраля «составлена опись всем вообще бумагам и чрез Г-на Генерал-Адъютанта Графа Бенкендорфа представлена Государю Императору». 27 февраля «Вручены Дейст. Ст. Сов. Жуковскому все бумаги, по собственноручным отметкам *Государя Императора...*» Последняя запись от 15 марта свидетельствует: «Пересмотрены и вручены Действительному Статскому Советнику Жуковскому 87 отдельных листов рукописей Пушкина, которые были предназначены для раздачи желающим, на что однако же не последовало разрешения»¹⁵⁷ (надо полагать, «высочайшего»).

Такова была процедура посмертного обыска. Каковы же его итоги? Что компрометирующего нашли жандармы в рукописях поэта? Лучше всего на этот вопрос ответил в письме к Бенкендорфу Жуковский: «Одним словом, нового предосудительного не нашлось ничего и не могло быть найдено. Старое, писанное в первой молодости, то именно, около чего вертелись все предубеждения, на нем лежавшие, все, как видно, было им самим уничтожено (сколько можно судить теперь); в бумагах его не осталось и черновых рукописей»¹⁵⁸. При этом Жуковский из благих побуждений по-своему объяснял и причины отсутствия крамольных рукописей в архиве поэта. Он убеждал шефа жандармов в том, что Пушкин в зрелые годы

переродился и стал едва ли не апологетом монархизма и христианства. Разумеется, политические взгляды Пушкина, как будет рассмотрено ниже, не оставались неизменными, они менялись. Но тот облик поэта, который пытался воспроизвести Жуковский, в действительности был далек от оригинала. Да, кстати, ни царь, ни Бенкендорф и не поверили этому. Дело с отсутствием в архиве поэта «крамолы» заключалось совсем в ином. Зрелый Пушкин — это уже не тот юноша, который едва ли не на всех углах отпускал шутки в адрес царя и его сановников. Еще в молодости он накрепко усвоил уроки того, как легко в России можно оказаться в ссылке, тюрьме или на каторге. Он всегда помнил о своей судьбе поднадзорного и политически неблагонадежного. Держать поэтому какой-то компрометирующий материал он был вовсе не намерен, так как за это пришлось бы заплатить слишком дорогой ценой не только ему, но и его семье.

На этом можно было бы и поставить точку в повествовании о посмертной форме надзора за поэтом, если бы не одна деталь этого обыска, так ярко характеризующая нравы Бенкендорфа и его «конторы». Еще до похорон поэта жандармское ведомство пыталось уличить Жуковского в том, что он будто бы похитил какие-то материалы, чтобы утаить их от жандармского осмотра. Вот как об этом рассказывает в упоминавшемся уже письме к Бенкендорфу сам Жуковский: «Но я услышал от генерала Дубельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного (*de haute volee*). Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в *гостиной*, а не в *передней*, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где бы мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять... Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она лично сама вызвалась дать мне прочитать; ...Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть»¹⁵⁹. Правда, в отношении последнего Жуковский, с точки зрения Бенкендорфа, был явно неправ. Что значит личные письма, что значит письма мужа к жене? Вот в них-то может и будет обнаружено истинное политическое лицо поэта. Шеф жандармов, конечно же, помнил, как именно в письмах к жене поднадзорный поэт проговаривался о своем истинном отношении к царю, дво-

ру и своим придворным обязанностям. Да и сам Жуковский в глазах Бенкендорфа был не настолько благонадежен, чтобы не допустить возможности утаивания им от III Отделения тех или иных документов. Стоит только вспомнить, сколько хлопотал Жуковский о снисходительном отношении к поднадзорному поэту при его жизни. С чего бы это? Но, как бы то ни было, это подозрение сыграло, по нашему мнению, не последнюю роль в перемене взгляда царя на процедуру обыска и в его решении приставить к Жуковскому жандарма действительно «высокого полета» — Дубельта. Во всем этом обер-жандарм России был по-своему прав, и в этом он мог бы убедиться, если бы письмо это дошло до адресата (последнее не установлено, так как остался лишь его черновик). «Дерзость» же Жуковского в этом письме превосходила все меры допустимого в III Отделении. В нем, например, он «смел» утверждать, что и частные письма Пушкина к жене не было никакой нужды просматривать, так как «все они были читаны, в чем убедило меня и то, что между ними нашлось именно то письмо, из которого за год перед тем некоторые места были предъявлены государю императору и навлекли на Пушкина гнев его величества...»¹⁶⁰. Оставим на совести Жуковского его неведение в отношении того, что официально заверенная московским почтмейстером копия с пушкинского письма жене не дошла до царя, а осталась в бумагах Бенкендорфа. В главном же он был прав. Зачем читать интимную переписку мужа с женой, если жандармы ее давно прочитали и изучили?

Думается, что уместно привести и свидетельство Дубельта, как одного из руководителей жандармского ведомства, кому царь и Бенкендорф оказали честь руководить и непосредственно участвовать в посмертном обыске. В этом свидетельстве заключалось подлинное отношение этого жандарма к поэту. Уже после смерти Пушкина Дубельт выговаривал Краевскому за опубликование им некоторых неизданных произведений Пушкина: «Что это, голубчик, вы затеяли, к чему у вас потянулся ряд неизданных сочинений Пушкина? Э, эх, голубчик, никому-то не нужен ваш Пушкин... Довольно этой дряни сочинений-то вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтобы продолжать и по смерти его отыскивать «неизданные» его творения, да и печатать их! Не хорошо, любезнейший Андрей Александрович, не хорошо»¹⁶¹. Да, трудно, что-либо добавить к этому высказыванию «маститого» жан-

дарма. III Отделение ненавидело поэта — гордость России — при его жизни, и ненависть к нему была столь велика, что она не исчезла и с его смертью.

Так закончился прижизненный и посмертный тайный и гласный надзор полиции и жандармерии над поэтическим гением народа. Формально же этот надзор был отменен лишь в 1875, т. е. через 42 (!) года после смерти поэта¹⁶².

ЖАНДАРМЫ И ПОХОРОНЫ ПОЭТА

Жандармы III Отделения рассматривали и смерть, и похороны поэта как значительное событие их профессиональной жизни. Боялись, как бы чего не вышло, как бы не выкинули какую штуку его почитатели. И власти были недалеко от истины. По свидетельству современников, через квартиру Пушкина прошли десятки тысяч людей, чтобы поклониться телу любимого ими поэта. И жандармское ведомство по-своему отреагировало на это проявление всенародной любви. В отчете корпуса жандармов за 1837 год говорится: «Имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное проявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картинку торжества либералов, высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено»¹⁶³. III Отделение готовилось к похоронам поэта как к военной операции. Жандармы были у подъезда дома, в котором умирал поэт, они же не дождавшись его смерти, находились и в самой квартире. После его смерти отпевание было назначено в Исаакиевском соборе (в то время так называлась церковь, находившаяся в здании Адмиралтейства), так как дом, который занимали Пушкины, принадлежал к приходу именно этого собора. На отпевание были уже разосланы отпечатанные в типографии приглашения. Однако в последний момент по приказанию высших властей место отпевания было перенесено в Конюшенную церковь (придворную). По этому поводу есть свидетельство литератора и цензора А. В. Никитенко, в описываемое время бывшего цензором Петербургского цензурного комитета. Он сделал об этом такую запись в своем дневнике: «Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие распоряжения. Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесен ночью, тайком, и по-

ставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях»¹⁶⁴.

31 января тело Пушкина было тайно доставлено в Конюшенную церковь. Руководил этим сам начальник штаба корпуса жандармов Дубельт. При этом ближайшие кварталы были оцеплены жандармами. Вот как об этом писал Жуковский (который считал, что во всем этом «полиция перешла границы своей бдительности»): «Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собрались не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви»¹⁶⁵. Непосредственное влияние тайной полиции на характер исполнения церковных обрядов, посвященных похоронам поэта, указывал в своих дневниках и литератор и историк М. П. Погодин (1800—1875): «Архимандрит отклоняется от обедни за упокой и панихиды, ибо не желает тайная полиция»¹⁶⁶.

Однако царь и жандармы не только «защищались» (от возможных, по их мнению, волнений по случаю похорон поэта), но вели при этом и «наступательные» операции. На следующий день после отпевания, т. е. 2 февраля, Николай I под видом военного парада приказал ввести в район Зимнего дворца, Адмиралтейской и Сенатской площадей и непосредственно Конюшенной улицы войска (в том числе и кавалерию) в количестве шестидесяти тысяч. Это было сделано для предупреждения массовых беспорядков в связи со смертью и похоронами А. С. Пушкина. Кроме того, Бенкендорф лично тщательно следил за тем, чтобы и печать ни словом не обмолвилась о величайших заслугах покойного поэта перед отечественной литературой. Так, Н. Н. Греч получил от шефа жандармов строгий выговор за напечатание в «Северной пчеле» (№ 24) следующего текста: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности»¹⁶⁷.

В соответствии с волей поэта погребение его тела решено было совершить на псковской земле в Святогорском монастыре. По поводу этого III Отделением и министерством внутренних дел была затеяна секретная переписка с официальными и духовными лицами Псковской губернии. 1 февраля министр внутренних дел Д. Н. Блудов направил

свои предложения псковскому гражданскому губернатору Пещурову.

«Скончавшийся здесь 29 минувшего генваря в звании Камерюнкера Двора Его Императорского Величества Александр Сергеевич Пушкин при жизни своей изъявил желание, чтобы тело его предано было земле Псковской губернии Опочецкого уезда в монастыре Святой Горы (Святогорском), на что вдова его просит разрешения.

Разрешая перевоз помянутого тела, буде еще оно не предано земле и закупорено в засмоленном гробе, имею честь уведомить о том Ваше Превосходительство, покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, учинить зависящие от Вас в сем случае по части гражданской распоряжения в Псковской губернии.

К сему не лишне считаю присовокупить, что об учинении подлежащих в сем случае по части духовных распоряжений я сообщил Г. Обер прокурору Святейшего Синода»¹⁶⁸.

В этот же день Блудов направил соответствующие предписания и отношения псковскому военному генерал-губернатору и обер-прокурору Синода.

1 же февраля управляющий III Отделением А. Н. Морвинов обратился к А. Н. Пещурову с предписанием принять меры, чтобы «по воле государя при погребении Пушкина не было... никакой встречи, никаких церемоний»:

«Милостивый государь Алексей Никитич!

Г. Действительный статский советник Яхонтов, который доставит сие письмо Вашему превосходительству, сообщит Вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Я просил г. Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Александра Христофоровича, но вместе с тем имею честь сообщить Вашему превосходительству волю государя императора, чтобы Вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему неизлишним считаю, что отпевание тела уже здесь совершено...»¹⁶⁹.

Стоит обратить внимание на то, что «церемониал» похорон был составлен непосредственно царем и Бенкендорфом.

Именно они воспретили любое отдание почестей умершему поэту. Кроме того, поражает неосведомленность одного из приближенных Бенкендорфа, не знающего, что

похороны поэта должны были быть совершены не в Михайловском, а в Святогорском монастыре.

Все упомянутые лица соответствующим образомотреагировали на распоряжения правительственных чиновников. Так, обер-прокурор Синода и псковский гражданский губернатор сделали (со ссылкой на «высочайшую» волю) соответствующие распоряжения архиепископу Псковскому Нафанилу, а последний, в свою очередь, 4 февраля довел их до архимандрита Святогорского монастыря Геннадия: «...гражданский губернатор извещает меня о сем предмете, присовокупляя Высочайшую Государя Императора волю, чтоб при сем случае не было никакого особенного заявления, никакой встречи, словом никакой церемонии, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворян. ...Предание тела покойного Пушкина в Святогорском монастыре предписываю Вам исполнить согласно воле Его Величества Государя Императора»¹⁷⁰ (нетрудно заметить, что здесь едва ли не дословно приводится распоряжение А. Н. Мордвинова Пешурову).

В ночь (опять-таки ночью) на 4 февраля гроб с телом Пушкина отправили для похорон из Петербурга. Он был обернут рогожами и соломой и помещен на простых деревянных санях. Сопровождал его по распоряжению самого царя А. И. Тургенев и жандармский офицер. Непосредственно рядом с гробом на санях сидел преданный слуга поэта Никита Козлов (тот самый, который не пошел на сделку с полицией по поводу обыска у его молодого барина). Вот как об этом записал в своем дневнике сам Тургенев: «2 февраля... Жуковский приехал ко мне с известием, что Государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его... Государю угодно, чтобы завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной...

4 февраля, в 1-м часу утра или ночи отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан... На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым (псковским предводителем дворянства. — А. Н.), который вез письмо Мордвинова к Пешурову, но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его, приехал к 9-ти часам в Псков, прямо к губернатору — на вечеринку. Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления — о не встрече — тихо, и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было...

5 февраля отправились... к Осиповой — в Тригорское... За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера... Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом... возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь...

6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали... Я бросил горсть земли в могилу и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал.., несмотря на желание и убеждение жандарма не ездить, а скакать в обратный путь...»¹⁷¹.

Таким образом, жандарм выполнил свой долг «честно» и своего поднадзорного проводил в могилу. Хотя канцелярия «надзорных сфер» (жандармской, губернской, духовной) продолжала функционировать сама по себе, сообщая об исполнении «высочайшей» воли в отношении погребения великого поэта. Так, Островский земский исправник (а Остров — его резиденция в Опочецком уезде) в секретном рапорте от 9 февраля 1837 г. доносил псковскому губернатору: «Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 4 сего февраля за № 557 донести честь имею, что тело умершего в С.-Петербурге Камер-Юнкера Александра Пушкина через сей уезд 5-го числа и 6-го по утру весьма рано командированным мною состоящим при занятии делами в земском суде, поручиком Филиповичем препровождено в Опочецкий уезд, в находящийся близ имения отца покойного Пушкина Святогорский монастырь, и предано по обряду христианскому земле»¹⁷². Разумеется, что и другие исполнители донесли по инстанции о выполнении ими обязанностей по неуклонному соблюдению ритуала похорон поэта, начертанных самим царем и шефом жандармов.

ОТНОШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ПАМЯТИ ПОЭТА

Прошли годы. Ушли из жизни и друзья поэта, и его враги. Не стало ни Бенкендорфа, ни Дубельта, ни Мордвинова, ни их «высочайшего» шефа — самого царя. 6 июня 1880 г. в Москве был торжественно открыт созданный на средства

всенародной подписки знаменитый ныне памятник А. С. Пушкину. Вряд ли руководители III Отделения думали, что всего лишь через сорок с небольшим лет их опасному поднадзорному будет оказана такая честь. Видимо, если бы они до этого дожили, в их головах неизбежно возникла мысль о черствой неблагодарности потомков: мы так трудились на благо отечества, а нам никаких памятников. Но, как известно, история объективно и бесхитростно расставляет все на свои места. И к столетию со дня рождения великого поэта передовая интеллигенция обратилась к властям с предложением о переименовании Тверской площади, на которой был поставлен памятник, в Пушкинскую. Несколько позже, 26 августа 1903 г. вопрос этот обсуждался на собрании Московской городской думы и был решен отрицательно под влиянием министра внутренних дел, шефа корпуса жандармов В. К. Плеве. Об этом свидетельствует стенограмма собрания: «Предложение от 30 июля, за № 2534, и. д. Московского губернатора извещает, что по рассмотрении в Министерстве внутренних дел представленного мною ходатайства Московской городской думы о наименовании площади у Тверских ворот — Пушкинской было принято во внимание, что Тверская площадь в среде местного населения носит также весьма распространенное и вошедшее во всеобщее употребление название «Страстной площади» и «площади Страстного монастыря» по расположению в этом месте монастыря во имя иконы Божией Матери, именуемой «Страстной», ввиду чего присвоение этой площади предположенного названия «Пушкинской» было бы неудобным. Поэтому г. Министр внутренних дел признал означенное ходатайство городской думы не подлежащим удовлетворению»¹⁷³.

Вот тот случай, когда все вернулось «на круги своя». Опять судьбу поэта (и опять посмертную) решил шеф жандармов, так сказать, бенкендорф восьмидесятых годов. Однако это была, пожалуй, последняя «победа» III Отделения в его напряженном поединке с поэтом. Пройдет еще полвека и площадь получит название Пушкинской.

Примечания

¹ Нагибин Ю. Предисловие к альбому «Моей души предел желанный. Пушкин на юге». Киев, 1986.

² Цит. по: Жизнь Пушкина. Т. 1. М., 1988. С. 302.

³ Русская старина. Т. 98. СПб., 1899. С. 279.

- ⁴ См.: Слюсарский А. Г. Василий Назарович Карзинн. Харьков, 1952. С. 58.
- ⁵ Жизнь Пушкина. Т. 1. С. 301.
- ⁶ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1985. С. 210—211.
- ^{7,8} Глинка Ф. Соч. М., 1986. С. 315, 29—30.
- ⁹ Сverbеев Д. И. Воспоминания о Чаадаеве. Русский архив. 1868. С. 977.
- ¹⁰ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 287.
- ¹¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 223—224.
- ¹² Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М. — Л., 1936. С. 191.
- ¹³ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 5.
- ¹⁴ Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1984. С. 44.
- ¹⁵ Русская старина. 1890. № 11. С. 505.
- ¹⁶ Былое. 1906. № 11. С. 28—29.
- ^{17,18} Пущин И. И. Указ. соч. С. 14, 48.
- ¹⁹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 237.
- ²⁰ Жизнь Пушкина. Т. 1. М., 1988. С. 331.
- ²¹ Временник Пушкинской комиссии. Л., 1969. С. 43—44.
- ²² Русская старина. 1887. Т. 53. С. 241—242.
- ²³ Цит. по: Хазин М. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1987. С. 128.
- ²⁴ Русская старина. 1883. Кн. 12. С. 658.
- ²⁵ Там же. С. 655.
- ²⁶ См.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909. С. 8.
- ²⁷ Русская старина. 1883. Кн. 12. С. 657.
- ²⁸ Русская старина. 1887. Т. 53. С. 243.
- ^{29,30} А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 364, 375.
- ³¹ Цит. по: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1951. С. 261.
- ³² Русская старина. 1899. Т. 98. С. 277.
- ³³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 384.
- ³⁴ Там же. С. 293.
- ³⁵ См.: Возный А. Ф. Полицейский сыск и кружок петрашевцев. Киев, 1976. С. 74.
- ³⁶ Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1901. С. 318.
- ³⁷ Русская старина. 1883. Т. 40. С. 657—658.
- ³⁸ Русская старина. 1872. Т. 6. С. 70—71.
- ³⁹ Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983. С. 91.
- ⁴⁰ Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 277.
- ⁴¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М. — Л. Изд-во АН СССР. 1937—1959. Т. XIII. С. 301.
- ⁴² А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 351.
- ⁴³ Кулешов В. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. М., 1987. С. 111.
- ⁴⁴ Возный А. Ф. Указ. соч. С. 82.
- ⁴⁵ Мих. Искрин. Загадка «выстрела»//Вечерняя Москва. 1988. 2 февр.
- ⁴⁶ Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 223.
- ⁴⁷ Трубецкой Б. А. Указ. соч. С. 93.

- ⁴⁸ Кулешов В. Указ. соч. С. 111.
- ⁴⁹ Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826/1837. М., 1987. С. 326—327.
- ⁵⁰ Вигель. Записки. М., 1891. VII. С. 185—186.
- ⁵¹ Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. — Л., 1935. С. 185—196.
- ^{52, 53} Жизнь Пушкина. Т. 1. М., 1988. С. 454, 455.
- ⁵⁴ См.: Мейлах Б. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974, С. 176.
- ⁵⁵ Пушкин и его современники. Вып. XXXIX. Л., 1928. С. 138—141.
- ⁵⁶ Цит. по: Мейлах Б. Указ. соч. С. 178.
- ⁵⁷ Переписка А. С. Пушкина. В двух томах. Т. 1. М., 1982. С. 177—178.
- ⁵⁸ Пушкин. Статьи и материалы/ Под ред. М. П. Алексеева. Вып. III. Одесса, 1927. С. 28.
- ⁵⁹ Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1982. С. 295.
- ^{60, 61} Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. С. 297, 298.
- ⁶² Известия Одесского библиографического общества при имп. Новороссийском университете. Т. 1. Вып. 9. Одесса, 1912. С. 357.
- ⁶³ Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. С. 300.
- ^{64, 65} Красный архив. 1930. № 1. С. 179, 181.
- ⁶⁶ Русская старина. 1879. Т. 26. С. 293.
- ⁶⁷ Жизнь Пушкина. С. 557.
- ⁶⁸ Там же. С. 557—558.
- ⁶⁹ Рукою Пушкина. С. 837—838.
- ⁷⁰ Русская старина. 1887. Т. 53. С. 246.
- ⁷¹ Керн А. П. Воспоминания о Пушкине. М., 1988. С. 37—38.
- ⁷² Жизнь Пушкина. Т. 1. С. 633.
- ⁷³ Русская старина. 1908. Т. 136. С. 112.
- ⁷⁴ Пущин И. И. Указ. соч. С. 57.
- ⁷⁵ Никитенко А. В. Дневник. В трех томах. Т. 1. М. 1955. С. 139—140.
- ⁷⁶ Пущин И. И. Указ. соч. С. 50.
- ^{77, 78} Русская старина. Т. 98. № 4—6. С. 509.
- ⁷⁹ Русская старина. Т. 98. С. 510.
- ⁸⁰ Переписка А. С. Пушкина. В двух томах. Т. 2. М., 1982. С. 112.
- ⁸¹ Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов министерства иностранных дел. СПб., 1900. С. 2.
- ⁸² Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 111.
- ⁸³ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 15.
- ⁸⁴ Былое. 1918. № 2(30). С. 67—68.
- ⁸⁵ Жизнь Пушкина. Т. 1. С. 581.
- ⁸⁶ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. С. 33.
- ⁸⁷ См.: Герцен А. И. Собр. соч. В девяти томах. Т. 3. М., 1956. С. 457.
- ⁸⁸ Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 321.
- ⁸⁹ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. С. 56.
- ⁹⁰ Старина и новизна. Т. VI. С. 5.
- ⁹¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. С. 64.
- ⁹² Старина и новизна. Т. VI. С. 6.
- ⁹³ Переписка А. С. Пушкина. В двух томах. Т. 1. С. 313.
- ⁹⁴ В. А. Жуковский — критик. М., 1985. С. 257.

- ^{95, 96} Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. С. 62—64, 77.
- ⁹⁷ Дела III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 15. (Орфография и пунктуация подлинника. — А. Н.).
- ⁹⁸ Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912. С. 254.
- ⁹⁹ В кн.: Анненков П. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 321.
- ¹⁰⁰ См.: Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 258—259.
- ¹⁰¹ Вигель В. В. Записки. Т. VII. М., 1891. С. 111.
- ¹⁰² Материалы дела приводятся по изданию: Дела III Отделения... С. 267—275, 292—296.
- ^{103, 104} Дела III Отделения. С. 78, 79.
- ¹⁰⁵ Дела III Отделения... С. 80.
- ¹⁰⁶ Старина и новизна. Кн. 15. СПб., 1911. С. 188—189.
- ¹⁰⁷ Дела III Отделения... С. 326.
- ¹⁰⁸ Там же.
- ¹⁰⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. М. 1974—1978. Т. 10. С. 326.
- ¹¹⁰ Дела III Отделения... С. 329.
- ¹¹¹ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 10. С. 327.
- ¹¹² Дела III Отделения... С. 344.
- ¹¹³ Там же. С. 343.
- ¹¹⁴ Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837. С. 132.
- ^{115, 116} Старина и новизна. Кн. 15. СПб., 1911. С. 190, 210.
- ¹¹⁷ Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. С. 288.
- ¹¹⁸ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 7. С. 243—244.
- ¹¹⁹ Дела III Отделения... С. 83.
- ¹²⁰ Там же. С. 94.
- ¹²¹ См.: Ениколопов И. В тисках охраны. — В кн.: Дом под чинарами (Тбилиси, 1974. С. 242).
- ^{122, 122¹, 123} См.: Жизнь Пушкина... В двух томах. Т. 2. С. 223—226.
- ¹²⁴ Вересаев В. Пушкин в жизни. Вып. 3. М., 1927. С. 8.
- ^{125, 126, 127} Жизнь Пушкина. В двух томах. Т. 2. С. 279, 319, 372.
- ¹²⁸ Красный архив. 1937. С. 242.
- ¹²⁹ См.: Овчинникова С. Т. Пушкин в Москве. М., 1985. С. 222.
- ^{130, 131} Русская старина. 1882. Т. 33. С. 225, 223.
- ¹³² Русская старина. 1883. № 1. С. 78.
- ¹³³ Жизнь Пушкина. В двух томах. Т. 2. С. 518.
- ¹³⁴ В. А. Жуковский — критик. С. 260.
- ¹³⁵ Дела III Отделения... С. 101.
- ¹³⁶ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 6.
- ¹³⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 211—212.
- ¹³⁸ Русский архив. 1902. № 1. С. 54.
- ¹³⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В шести томах. Т. 6. С. 557.
- ¹⁴⁰ Там же. С. 569.
- ¹⁴¹ Там же. С. 570.
- ¹⁴² Красный архив. 1938. С. 141—142.
- ^{142¹} Дела III Отделения... С. 260.
- ¹⁴³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 235.
- ^{144, 145} Русская старина. 1900. IX. С. 589, 590.
- ¹⁴⁶ Лемке М. Николаевские жандармы и литература... СПб., 1909. С. 259.
- ¹⁴⁷ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором... С. 73.

- ¹¹² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М., 1987. С. 191.
- ¹⁴⁹ В. А. Жуковский — критик. С. 246.
- ¹⁵⁰ Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 186.
- ^{151, 152} В. А. Жуковский — критик. С. 255, 253.
- ¹⁵³ Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 197.
- ¹⁵⁴ Там же. С. 198—199.
- ¹⁵⁵ Дела III Отделения... С. 188.
- ¹⁵⁶ Там же. С. 189.
- ¹⁵⁷ Там же. С. 192—195.
- ¹⁵⁸ В. А. Жуковский — критик. С. 255.
- ^{159, 160} В. А. Жуковский — критик. С. 254—255.
- ¹⁶¹ Русская старина. 1881. № 1. С. 714.
- ¹⁶² См.: Эйдельман Н. Обреченный отряд. М., 1987. С. 401.
- ¹⁶³ Мейлах Б. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974. С. 321.
- ¹⁶⁴ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах.
- Т. 2. С. 287.
- ¹⁶⁵ В. А. Жуковский — критик. С. 262, 265.
- ¹⁶⁶ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах.
- Т. 2. С. 35.
- ¹⁶⁷ Там же. С. 287.
- ¹⁶⁸ Следы пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии. Составил по найденным документам И. И. Васильев. СПб., 1899. С. 47.
- ¹⁶⁹ Русская старина. 1907. Т. СХХIX. С. 455.
- ¹⁷⁰ Следы пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии... С. 49.
- ¹⁷¹ А. С. Пушкин. Воспоминания современников. В двух томах.
- Т. 2. С. 216—218.
- ¹⁷² Следы пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии. С. 48.
- ¹⁷³ Пик уль В. Площадь поэта // Неделя. 1987. № 22.

II. Юридическое окружение

Определенный интерес А. С. Пушкина к проблемам государства и права, его достаточную осведомленность в этой области можно объяснить, в известной мере, окружением поэта.

А. П. КУНИЦЫН

В числе первых из круга лиц, оказавших большое влияние на формирование мировоззрения поэта, по праву может быть поставлен Куницын — лицейский учитель, преподававший науки политико-юридического цикла. А. П. Куницын (1783—1840) — родился в семье священника, закончил уездное духовное училище, затем продолжал обучение в Твери в духовной семинарии. В 1803 году переведен в Петербург в Педагогический институт, откуда в 1808 году по окончании курса отправлен за границу для дальнейшего обучения. Слушал лекции (преимущественно профессоров юридическо-политических наук и дипломатии) в Геттингенском и Парижском университетах. В Геттингене сблизился с Н. И. Тургеневым, одним из будущих вождей декабристского движения. По возвращении в Россию в 1811—1817 гг. он — адъюнкт-профессор в Царско-сельском лицее, затем профессор «общих прав» в Главном педагогическом институте (в 1819 году преобразован в Петербургский университет). Куницын — автор многих трудов по проблемам государства и права и его с полным основанием можно назвать одним из крупнейших ученых-юристов своего времени. В связи с выходом в свет его книги «Право естественное» (1818 г.), в которой он высказывался против самодержавия и крепостничества, его уволили из университета с запрещением преподавать во всех

учебных заведениях России. В дальнейшем Куницын преодолел свои либеральные политические взгляды и сделал успешную служебную карьеру. В 1826 году он — чиновник II Отделения Собственной его величества канцелярии. Под его непосредственным наблюдением находилась подготовка и издание Полного собрания законов Российской империи и составление большей части Свода законов гражданских и Свода законов уголовных. Он же оставил отдельное собрание законов по духовной части. В 1840 году Куницын был назначен директором департамента духовных дел иностранных исповеданий и в этой должности умер.

Для нас более всего важно то, что именно Куницын в течение нескольких лет преподавал Пушкину правовые дисциплины. И хотя, как известно, Пушкин не заканчивал ни юридического факультета, ни училища правоведения, тем не менее, вполне допустимо говорить и об определенной юридической стороне лицейского образования Пушкина. Сохранившиеся документы, в первую очередь программы преподавания в Лицее, позволяют утверждать, что при всем разнообразии изучавшихся там наук основу программы составляли гуманитарно-юридические дисциплины. Царкосельский лицей был открыт 19 октября 1811 г. Императорское высочайше утвержденное постановление о лицее от 12 августа 1811 г. уравнивало Лицей как учебное заведение в правах с университетами и определяло цели его организации: «Учреждение Лицея должно иметь образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы Государственной». Соответственно, в этом документе очерчивался и круг предметов, предназначенных для образования лицеистов: «В Лицее преподаются предметы, учения, важным частям государственной службы приличные...»¹.

О доле политико-юридических дисциплин в системе обучения в лицее можно судить из содержания Программы преподавания в лицее на весь срок обучения. В соответствии с ней собственно юридические науки преподавались на 4, 5 и 6 курсах Лицея. При этом на 4 курсе лицеистам излагалась система наук нравственных, философские понятия о правах и обязанностях и разделение права на естественное, публичное, гражданское, уголовное и т. д. На 5 курсе продолжалось изучение тех же предметов, а также преподавалось право публичное и политическая экономия. На 6 курсе предусматривалось завершение изучения указанных предметов. В упоминавшемся императорском указе об учреждении лицея содержание

преподавания наук нравственных (к ним, кроме собственно наук правоведения и политэкономии, относились еще закон божий, психология и логика) определялось следующим образом: «Под именем наук нравственных здесь заключаются все познания, кои относятся к нравственному положению человека в обществе, и следовательно, понятия об устройстве Гражданских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих. В сем классе, начиная от самых простых понятий права, должно вести воспитанников до коренного и твердого познания различных прав, и разъяснить им систему права публичного, права частного и особенно права Российского, и проч.»².

В действительности же курс юридических наук, изучаемых лицеистами, был еще обширнее, что в первую очередь можно объяснить личностью преподавателя, читавшего эти предметы, — А. П. Куницына. Курс Куницына (кроме логики, психологии, политической экономии) охватывал следующие юридические дисциплины: 1) право естественное частное, 2) право естественное публичное, 3) государственное право, 4) право гражданское русское, 5) право публичное русское, 6) право уголовное (включая и уголовное судопроизводство), 7) право римское и 8) финансовое право. Право естественное (как частное, так и публичное) состояло из «чистого» права и права «прикладного» и содержало исследование прав человека «первоначальных», «производных», а также способов их приобретения и защиты. Русское гражданское право преподавалось лицеистам в соответствии с его системой, принятой в Комиссии составления законов. Уголовное право включало разъяснение его понятия как такового, понятий преступления, уголовного закона, наказания. Римское право читалось в сопоставлении с русским. В финансовом праве лицеисты получали сведения о понятии и содержании государственных расходов и доходов³. Содержание курса государственного права, преподаваемого лицеистам, дошло до нас через конспекты, сделанные одним из первых по успехам в учении воспитанников лицея — А. Горчаковым⁴ (впоследствии министр иностранных дел, государственный канцлер). Наибольшее значение имеют записи Горчаковым двух курсов — «Энциклопедии прав» и «Изображения системы политических наук». В первом курсе, например, содержание государственного права выглядело следующим образом:

Введение (I — понятие о государственном праве, II — о естественном состоянии, III — о различных политиче-

ских обществах). Часть I. Чистое государственное право: Глава I. О договоре соединения. Глава II. О договоре включения жителей. Глава III. О правах величества. Глава IV. О власти законодательной. Глава V. О власти исполнительной. Глава VI. О власти блюстительной. Глава VII. О внешних правах величества. Условное государственное право: 1. Об образах правления. 2. О способах приобретения верховной власти и монархии. 3. О перемене образа правления.

Думается, что даже с позиций сегодняшнего дня структура этого курса выглядит довольно внушительно. Б. Мейлах на основе анализа записей Горчакова пришел к выводу, что его конспекты лекций Куницына — это не живая запись этих лекций, а копия записок, составленных и данных лицеистам самим лектором. В подтверждение своего вывода Б. Мейлах приводит также свидетельство М. Корфа (однокурсник Пушкина, впоследствии сановник, приближенный Николая I, оставил недружелюбные мемуары о Лицее и Пушкине), писавшего в своих воспоминаниях: «При неимении в то время никаких печатных курсов, он сам (т. е. Куницын. — А. Н.) писал свои записки, а мы должны были их списывать и изучать»⁵.

Говоря о юридическом аспекте содержания лицейского образования, необходимо остановиться на том, какие политико-юридические идеи развивал Куницын перед своими учениками. Основное их содержание было развито в его книге «Право естественное», в которой он на основе идей общественного договора, естественного права и народного суверенитета высказывался, как отмечалось, против самодержавия и крепостничества. В 1821 году по специальному распоряжению министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына, реакционера, было приказано изъять все находящиеся в Лицее экземпляры «Права естественного» Куницына, так как «по рассмотрении в главном управлении училищ этой книги найдено нужным по принятым в ней за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить повсюду к преподаванию по ней и притом принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковые оказались в книге Куницына»⁶.

Следует отметить, что вначале книга Куницына пред-

назначалась для подношения Александру I. На руководителей Лицея, по всей видимости, подействовало милостивое отношение императора к молодому адъюнкт-профессору в связи с его публичным выступлением при открытии Лицея (Александр I наградил тогда Куницына орденом). Однако к 20 годам либеральные настроения царя уже исчезли, и, соответственно этому, книга Куницына была признана недостойной для подношения государю, руководству лицея сделано замечание по этому поводу, а сам Куницын, как отмечалось, уволен.

Пушкин, зная о гонениях, которым подвергся его учитель, в «Послании к цензору» (1822 г.) с издевкой говорит:

Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом. (2, 122).

Печатный курс «Естественного права» был конфискован у автора, книготорговцев и частных лиц, а также изъят из учебных заведений и уничтожен. Однако отдельные экземпляры этого курса уцелели⁷ и можно сравнить его содержание с записями Горчакова. Хотя в основе печатного курса и лежали система и содержание конспективного курса, однако при издании автор внес существенные изменения и поправки. Многие выводы и формулировки в печатном издании смягчены, что несомненно объясняется цензурными соображениями. В конспекте, например, содержится глава «о республиканских органах правления». В книге же говорится о «демократическом» образе правления в противопоставлении «аристократическому», а о понятии первого не упоминается.

Страстное изложение Куницыным идей «естественного права» не могло оставить равнодушным к ним слушателей-лицеистов. Сохранились данные о том, что лицеисты были увлечены этими идеями. Например, в одной из статей третьего номера «Лицейского мудреца» (рукописного журнала лицеистов) говорилось: «Теперь в классах говорят о правах естественных». Не составлял в этом отношении исключения и юный Пушкин. По утверждению одного из своих наиболее близких друзей-лицеистов Пуштина, «Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына», хотя, как обычно, и «мало что записывал»⁸.

Тот факт, что уроки учителя не пропали даром для поэта, свидетельствует и следующее обстоятельство. Характеризуя в «Онегине» предметы спора Онегина и Ленского, Пушкин среди них назвал и темы, являвшиеся

стержневыми в лекционном курсе Куницына о естественном праве:

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло... (5, 43).

Куницын был сторонником договорной теории происхождения государства. Он считал, что государственная власть установлена народом и должна находиться под его контролем, что люди, вступая в государство, не теряют свою естественную свободу. Так, в лицейском курсе «Изображение системы политических наук» (по конспектам Горчакова) Куницын сформулировал следующее положение: «...граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие государство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния: они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также и на их собственную пользу»⁹. Несмотря на определенную долю идеализма, эта теория служила идейным обоснованием отмены крепостного права в России и, соответственно, близко была воспринята многими декабристами.

Через все лекции Куницына по политико-правовым предметам проходил тезис о «законности» как необходимом условии управления государством, о «законности» самого правительства как такового. «Каждое правительство, — утверждал в умах лицеистов Куницын, — законно, которое учреждается законным образом», «когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то такое злоупотребление верховной власти называется тиранством»¹⁰. Естественно, что напрашивался вывод о том, что власть тирана — власть незаконная, подлежащая свержению. Идеи эти были близки как будущим декабристам, так и молодому Пушкину. Достаточно вспомнить только его революционный призыв из оды «Вольность» («Тираны мира! Трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите. Восстаньте, падшие рабы!»), чтобы согласиться с поэтом в том, что именно Куницын воспитал республиканско-демократический «пламень» некоторых лицеистов:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Заслуги Куницына в воспитании у лицеистов республиканского «пламени», оппозиционных по отношению к самодержавию настроений несомненны. Яркий пример: бывшие лицеисты Пущин и Кюхельбекер были среди самых активных деятелей декабристского движения и непосредственными участниками декабрьского восстания. Они сурово осуждены царским правительством. Куницын оказал большое влияние на формирование взглядов многих других активных участников будущего декабристского движения в России, которым несомненно импонировала мысль Куницына, высказанная в статье «О конституции». Кратко эту мысль можно сформулировать так: прошли те времена, «когда цари хотели царствовать только для себя самих», и настало время иметь «народных представителей»¹¹. В 1819 году Н. И. Тургенев намеревался издавать легальный журнал «Россиянин XIX века», соредактором которого приглашался Куницын. Член «Союза благоденствия» И. Г. Бурцов показывал впоследствии на допросе в следственной комиссии по делу декабристов, что он «подобно многим гвардейским офицерам... посещал профессоров Германа, Галича, Куницына, преподававших лекции о политических науках» (об этом же дали показания декабристы Поджио, Оболенский)¹². Интерес декабристов к лекциям Куницына объяснялся в первую очередь тем, что он был страстным проповедником учения Руссо о «естественном праве» и его идей народного суверенитета. Эти идеи явно имели влияние и на содержание программных документов декабристов — конституции Н. Муравьева и «Русской правды» П. Пестеля.

Пушкину были близки и идеи Куницына о законности в области правосудия, намного опередившие свое «юридическое» время. В книге «Изображение взаимной связи государственных сведений», изданной в год окончания Пушкиным лицея, Куницын писал: «Свобода граждан требует, чтобы не только их права и деяния преступные, но и самый способ применять частные случаи к существующим узаконениям основывался на точных правилах, дабы судебная власть была только орудием закона и чтобы гражданин ответствен за свои поступки не частному произволу судьи, но самому закону»¹³. Как тут не вспомнить, что через четверть века молодой К. Маркс дал такую трактовку правовых гарантий личности в сфере правосудия: «Я вообще не думаю, что личности должны служить гаран-

тиями против законов, я, наоборот, думаю, что законы должны служить гарантиями против личности»¹⁴.

Для обеспечения преподавания юридических наук по инициативе Куницына в библиотеку Лицея были приобретены разнообразные источники изучения русского права: Русская Правда, Судебник 1497 года, законодательные акты Петра I и т. д. (может быть, именно в этом источник профессионально-литературного интереса поэта к историческому документу?).

Следует отметить, что подход Куницына к преподаванию юридических наук в Лицее значительно опережал понимание этого вопроса коллегами-современниками. Например, Куницын объяснял своим слушателям смысл и значение действовавших в России уголовных и гражданских законов в их связи и соотношении, т. е, по сути дела, делал попытки взглянуть на действующее право как на систему. Кроме того, при разъяснении российского законодательства как такового он обращал внимание лицеистов не только на буквальное выражение воли законодателя, но и на повод и причины, служившие мотивом к изданию соответствующего закона. Без сомнения здесь налицо зачатки исторического и социологического подходов к пониманию права.

При этом Куницын критически анализировал действующее российское законодательство. Он обращал внимание не несогласованность важнейших нормативных актов между собой, их противоречие друг другу, доказывая, что эти обстоятельства приводят к запутанности и противоречивости судебной практики. Он знакомил лицеистов и с различного рода злоупотреблениями, царившими в российских судах, с причинами таких злоупотреблений и их непоправимых, а подчас трагических, последствий для людей. Для всего этого, конечно же, требовались и громадное гражданское мужество, и политическая смелость. Но особую заслугу Куницына мы видим в том, что он пытался применить к изучению и преподаванию права социологические методы. Напомним, что это были двадцатые годы XIX века и что социологическая юриспруденция получила свое развитие значительно позже.

Куницын читал лицеистам и лекции об ораторском искусстве («Ораторская изящная проза или красноречие»), где более или менее подробно останавливался и на «предмете судебного красноречия». При этом важное значение он придавал не только внешнему выражению судебной речи, но и глубокому уяснению фактического и юридиче-

ского содержания обвинения, его доказанности, концентрации внимания судебного оратора на обстоятельствах, влияющих на индивидуализацию наказания. Так, в конспектах Горчакова имеется следующая запись: «К сущности судебного красноречия вдревле относилось: в чем состоит какое-либо разбираемое дело? Основательно ли оно? Преступление ли оно или нет? Под какой закон подходит? Лета, звание, нравы, свойство, состояние обвиняемого доказывают ли возможность или невозможность приписуемой ему вины?»¹⁵.

Юридическая «доля» образования, полученная с помощью Куницына Пушкиным в Лицее, документально зафиксирована в свидетельстве об окончании его поэтом. В нем указывается, что Пушкин «в течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и оказал успехи: в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском гражданском и уголовном праве — хорошие...»¹⁶.

Что же касается уроков Куницына в области политической экономии, то Пушкин в «Онегине» показал, что и эти усилия его учителя не пропали даром. Поэт ввел в роман «экономическую» строфу, наделив своего героя определенными познаниями в области политической экономии. У него Евгений Онегин:

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог. (5, 12).

В этих стихах очень точно выражена позиция классической политической экономии (А. Смит), провозгласившей, что богатство нации состоит не в деньгах, а в массе непрерывно производимых товаров, что деньги играют всего лишь вспомогательную роль, обслуживая оборот этих товаров. Такое тонкое понимание Пушкиным политико-экономических проблем и не менее тонкое и предельно точное отражение их в высокохудожественной форме поэтического произведения привлекло к этому «политэкономическому уроку» в поэзии даже К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, в примечании к своей книге «К критике политической экономии» Маркс писал (в разделе «Теория средств об-

ращения и денег»): «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно, что доказывается не только ввозом хлеба в Англию в 1838—1842 г., но и всей историей их торговли»¹⁷. Несомненно, что Маркс имел ввиду процитированную выше «экономическую строфу «Евгения Онегина». Ф. Энгельс в своих трудах также дважды употребляет (даже цитирует) эту знаменитую строфу «Евгения Онегина»: в статье «Внешняя политика русского царизма» и в своем письме к Н. Ф. Даниельсону от 29—31 октября 1891 г.¹⁸.

Известный советский пушкинист Л. Гроссман признавал «несомненным широкое и благотворное воздействие Куницына на образование политических воззрений Пушкина». Вместе с тем он считал, что «не следует усматривать в юном поэте склонностей к юриспруденции и государственоведению. ...Следует поэтому установить наряду с безусловным интересом лицеиста Пушкина к словесности, поэтике, искусствам такое же безразличие его к правоведению и финансам, а вместе с ними и к школьной логике»¹⁹. Л. Гроссман ссылается при этом на письмо Пушкина-лицеиста к Вяземскому от 27 марта 1816 г.: «Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного! ...целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно» (10, 8).

Думается, что Л. Гроссман прав наполовину. Разумеется, трудно от юного поэта (да еще с таким темпераментом и характером!) ожидать влечения к сухой правовой материи. Однако факты вряд ли свидетельствуют о его безразличии к «правам». Совершенно о другом говорит приводимое выше свидетельство И. И. Пущина. В доказательство отсутствия у лицеиста Пушкина безразличия к юриспруденции свидетельствуют и сохранившиеся свидетельства о его успехах и отношении к государственно-правовым (куницынским) дисциплинам. Вот, например, баллы Пушкина, поставленные ему наставниками за октябрь, ноябрь и декабрь 1816 года: «В энциклопедии права 4, политической экономии 4, военных науках 0, прикладной математике 4, всеобщей политической истории 4, статистике 4, латинскому языку 0, российской поэзии 1, эстетике 4...»²⁰. Это конечно, не значит, что для Пушкина русская поэзия была менее интересна, чем энциклопедия права. Дело скорее в постановке преподавания того и другого. Тем не менее, едва ли не всеобщий интерес лицеистов к куницынскому

курсу не позволяет делать какого-либо в этом исключения и для юного Пушкина. Жалоба же лицеиста Вяземскому на тоску обучения — это естественное (нормальное) стремление юноши к свободной, самостоятельной жизни. Пройдет несколько лет и это время (лицей), в том числе и уроки Куницына, получают в стихах поэта совсем иную оценку. В свои же зрелые годы Пушкин подарит своему учителю правоведения экземпляр «Истории Пугачевского бунта» с такой надписью: «Александр Петровичу Куницыну от автора в знак глубокого уважения и благодарности»²¹.

М. М. СПЕРАНСКИЙ

Особое место в юридическом окружении Пушкина следует отвести М. М. Сперанскому (1772—1839) — крупнейшему государственному деятелю начала царствования Александра I, крупнейшему специалисту в области кодификации законодательства. М. М. Сперанский — сын небогатого священника, окончил семинарию. Благодаря своим большим способностям успешно продвигался по службе. В 1803—1807 гг. он — директор департамента министерства внутренних дел, с 1807 года — статс-секретарь императора, с 1808 года член комиссии составления законов, товарищ министра юстиции. В 1809 году по поручению Александра I подготовил план государственных преобразований, в котором для предотвращения революционного движения в России предлагал придать самодержавию формы конституционной монархии (выборность чиновников, судебная реформа, разделение властей и т. д.). Был сторонником постепенной отмены крепостного права. Некоторые из этих реформ сумел провести в жизнь, например создание Государственного Совета. Деятельность Сперанского вызвала недовольство консервативного дворянства, которое в 1812 году добилось его падения и ссылки вначале в Нижний Новгород, а затем в Пермь. В 1816 году начинается возврат Сперанского к активной государственной деятельности: он назначается пермским губернатором, а в 1819 году — генерал-губернатором Сибири. В 1821 году — член Государственного совета, управляющий Комиссией составления законов. С 1826 года возглавлял II Отделение Собственной его императорского величества канцелярии, осуществлявшей кодификацию законодательства. Под его

руководством было составлено полное собрание законов Российской империи в 46 томах (40 томов самих законов и 6 томов примечаний), изданное в 1830 году. На основании Полного собрания законов также под руководством Сперанского был составлен Свод законов Российской империи в 15 томах, который был издан в 1832 году и с 1 января 1835 года вступил в силу. В 1835—1837 гг. преподавал юридические науки наследнику престола — будущему императору Александру II. С 1838 года — председатель департамента законов Государственного совета.

Судьба Сперанского «переплетается» с пушкинской еще со времени создания Царскосельского лицея. Дело в том, что именно Сперанский стоял у истоков этого уникального в своем роде учебного заведения. «Училище сие, — писал он, — образовано и устав его написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие; но без самолюбия скажу, что оно соединяет в себе несравненно более видов, нежели все наши университеты»²². Еще в декабре 1808 года Сперанский представил Александру I записку «Первоначальное начертание особенного Лицея» (на ней была сделана пометка «читано», т. е. читано императору), в которой и излагались исходные контуры теоретического курса, который должны были усвоить лицеисты. Эта записка и легла в основу упоминавшегося уже «Высочайше утвержденного постановления о Лицее».

Личность Сперанского как государственного деятеля и крупнейшего законоведа всегда привлекала внимание Пушкина, но наиболее тесные их связи можно датировать 1834 годом. В письме к Н. Н. Пушкиной от 28 или 29 мая этого года он даже называет Сперанского среди своего ближайшего окружения: «Вчера видел я Сперанского, Карамзина, Жуковского, Вельгорского — все тебе кланяются» (10, 486). Из дневников и автобиографических записок 1834 года мы узнаем, что новый год Пушкин встречал у близкой родственницы Натальи Николаевны — Н. К. Загряжской, где был и Сперанский. При этом круг взаимных интересов Пушкина и Сперанского четко очерчен в записи от 1 января 1834 г.: «Встретил новый год у Натальи Кирилловны Загряжской. Разговор со Сперанским о Пугачеве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.» (8, 34).

На первом месте, как видно, стоит тема Пугачева. Это и понятно, так как в это время Пушкин только что закончил писать его историю. Естественно, что поэта интересовала как общая оценка пугачевского восстания таким го-

сударственным деятелем, как Сперанский, так и те фактические данные об этом событии, которые тот мог сообщить. Далее идет тема Свода законов. Тема близкая и хорошо известная поэту. Из письма Пушкина шефу жандармов Бенкендорфу от 24 февраля 1832 г. мы узнаем, что Николаем I ему было передано Полное собрание законов Российской империи, которым поэт широко пользовался при работе над многими произведениями (в особенности над «Капитанской дочкой», «Историей Пугачева» и незавершенной «Историей Петра I»). Такой жест царя был проявлением его двойственного отношения к Пушкину, а также стремлением приблизить к себе свободолюбивого поэта. Кроме того, Николай I надеялся, что Пушкин напишет «Историю Петра I» (к работе над которой к этому времени приступил поэт) в официальном верноподданническом духе. Прямо скажем, что царь просчитался; ознакомившись после смерти поэта с незавершенной рукописью о Петре I, Николай изрек что «Сия рукопись издана быть не может...».

Первое время царствования Александра — также события близкой истории, весьма интересовавшей Пушкина. Это была эпоха умеренно-либеральных реформ, проекты которых обсуждались в Негласном комитете, состоявшем из либеральных друзей царя и прозванном реакционерами «якобинской шайкой». В его состав входили П. А. Строганов, А. Е. Чарторыйский, В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев. В этом комитете обсуждались реформа сената, учреждение министерств, указ о дозволении купцам и мещанам покупать землю в собственность, указ о вольных хлебопашцах. Однако в жизнь было проведено лишь несколько реформ, не затрагивавших коренных устоев самодержавия и крепостничества. Лично сам поэт никогда не питал иллюзий ни в отношении Александра I как императора, ни в осуществлении предполагавшихся реформ, направленных на ограничение самодержавия и крепостничества. В сожженной десятой главе «Евгения Онегина» поэт дает убийственную характеристику этого царя:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда. (5, 209).

В этих четырех строках отразились все стороны личности покойного императора. Его лицемерие и двуличность объясняем тем, что он с детства научился лавировать между бабкой и отцом, ненавидивших друг друга;

умению мастерски блеснуть либеральными фразами научился он от своего воспитателя — швейцарца Лагарпа. Еще ранее (в 1825) поэт тонко подметил другую характерную черту царя — его любовь к плац-парадам, мундирам, муштре и палочной дисциплине (воспитанной у него его отцом — Павлом I):

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовый профессор!

Тем не менее, Пушкину было важно услышать об этих либеральных играх царя от самого Сперанского, т. е. почти что из первоисточника, тем более что дальнейшие реформы были связаны как раз с его именем. Автор многих преобразовательных проектов, без всякой протекции ставший приближенным царя, он вызвал недовольство консервативного дворянства, впал в немилость и был, как отмечалось, отправлен в ссылку. Последнее также являлось предметом разговора Пушкина со Сперанским. В дневниковой записи от 2 апреля 1834 г. поэт отмечал: «В прошлое воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказывал мне о своем изгнании в 1812 году. Он выслан был из Петербурга по Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в провожатые полицейский чиновник, человек добрый и глупый. На одной станции не давали ему лошадей; чиновник пришел просить покровительства у своего арестанта: «Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти каналы лошадей нам не дают».

Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: *Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гений Зла и Блага*. Он отвечал мне комплиментами и советовал мне писать историю моего времени» (8, 42).

Меньше исходных данных для расшифровки записи разговора Пушкина со Сперанским «О Ермолове etc». А. П. Ермолов (1772—1861) — русский военный и государственный деятель, герой Отечественной войны 1812 года, сыгравший значительную роль в сражениях при Бородине и Малоярославце. Во время заграничных походов 1813—1814 гг. был начальником артиллерии союзных армий, командовал дивизией и корпусом. В середине и конце двадцатых годов — главнокомандующий русских войск в Грузии и чрезвычайный и полномочный посол в

Иране. Осуществлял жесткую колониальную политику русского царизма на Кавказе. Однако, будучи сторонником суворовских методов обучения и воспитания войск, был оппозиционно настроен по отношению к аракчеевскому режиму. Пользовался репутацией прогрессивного деятеля, в связи с чем декабристы намечали его в состав Временного правительства, за что в марте 1827 года был отозван Николаем I с Кавказа и уволен в отставку. Свою личную встречу с Ермоловым и двухчасовую беседу с ним Пушкин описывает в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 г».

В советском пушкиноведении выдвинута заслуживающая внимания гипотеза о том, что Пушкин говорил со Сперанским о Ермолове, вероятно, потому, что Ермолов, как было уже сказано, намечался декабристами в члены Временного правительства. Это имело прямое отношение и к самому Сперанскому, так как вместе с Ермоловым и он был таким предполагаемым кандидатом.

Можно указать еще на одну точку соприкосновения поэта со Сперанским как крупнейшим специалистом в России XIX века по законотворчеству. Это связано с написанием Пушкиным записки «О народном воспитании». Она была составлена по прямому заданию Николая I и имела официальный характер. Об этом, в частности, говорится в письме Бенкендорфа к Пушкину от 30 сентября 1826 г. Вопрос о народном воспитании был одним из тех, которые находились в фокусе внимания правительства после восстания декабристов. По этому поводу Николаю I уже были представлены записки, составленные другими лицами (начальником Южных военных поселений И. О. Виттом, попечителем Харьковского учебного округа А. А. Перовским, Ф. Булгариным и другими). Судя по дате автографа, записка была окончена Пушкиным в Михайловском 15 ноября 1826 г. В начале декабря того же года Бенкендорф представил ее императору. Записка была внимательно им прочитана и в целом оценена отрицательно. Одной из идей пушкинской записки была идея об упразднении Указа 1809 года об экзаменах, подготовленного Сперанским, в соответствии с которым от чиновников требовался определенный уровень образования. С критикой этого указа в своей «Записке о древней и новой России», представленной еще Александру I в 1811 году, выступил Н. М. Карамзин. Во времена Пушкина эта «Записка» существовала лишь в рукописи и была строго секретной. Однако очевидно, через П. А. Вяземского (брата жены

историографа) она была известна Пушкину. Поэт, выступая за упразднение таких экзаменов, писал: «А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслю промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною» (7, 45).

Следует отметить, как сходство в некоторых позициях, так и принципиальные расхождения в понимании государственно-правовых вопросов Пушкиным и Сперанским. В общем, государственно-правовые взгляды Сперанского были типично просветительскими, пронизанные, однако, идеями буржуазного либерализма. Сперанский как сторонник естественно-правовой теории выводил происхождение государства из общественного договора. В связи с этим, по Сперанскому, всякое законное правительство обязано своим происхождением общей воле народа. Несомненно, что Пушкину, воспитанному еще в лице Куницыным на идеях естественно-правовой теории, ее исходные положения были весьма близки. Государственный строй России Сперанский определял как деспотический. Он считал, что в России два сословия: рабы государства и рабы помещицы. Первые назывались свободными только в отношении ко вторым; действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов. Сперанский, являясь противником полицейского государства, считал, что самодержавие несовместимо с законностью. Он являлся и противником крепостного права. Отношения крестьян к помещикам он рассматривал как отношения миллионов, составляющих полезнейшую часть империи, к горсти (тунеядцев) людей, захвативших «бог знает почему и для чего все права и преимущества». В этом тоже позиции Пушкина и Сперанского во многом сходятся.

Однако пределом законности, ограничивающей самодержавие, для Сперанского являлась конституция. В связи с этим программа практических действий Сперанского была весьма умеренно-либеральной. Напуганный Французской революцией, он в принципе был против революционных потрясений. Поэтому он обращается к царю с рекомендациями производства необходимых государственных преобразований путем реформ сверху. Например, он предлагал ликвидировать крепостное право постепенно. Сначала, по его мнению, необходимо разрешить крестьянам приобретать собственность (движимую и недвижимую), отменить подушную подать с крестьян, заменив ее поземель-

ным налогом, изъять споры крепостных из юрисдикции помещиков. При этом Сперанский был убежденным сторонником неприкосновенности помещичьей (как и всякой частной) собственности. Нет нужды доказывать, что Пушкину более близки были идеи декабристов о революционном переустройстве общества («Кинжал», «Во глубине сибирских руд» и другие его стихи).

Нельзя не отметить и еще одно обстоятельство, резко разделявшее Пушкина и Сперанского. Поэт, не будучи членом тайного общества декабристов, был выразителем устремлений целого поколения дворянских революционеров. Не случайно он не скрыл и от Николая I, что был бы с декабристами на Сенатской площади. Пушкин тяжело переживал казнь и каторгу близких ему по духу людей. Противоположную позицию по отношению к судьбе восставших занимал Сперанский. Пытаясь загладить свои ранние либеральные увлечения, он оказался среди тех, кто чинил суд и расправу над декабристами. Разумеется, что Пушкин не мог не видеть в нем того, кто обрек его друзей на смерть и каторгу.

Поводом для встреч Пушкина со Сперанским в последние годы жизни поэта было и напечатание «Истории Пугачева» в типографии II Отделения Собственной его императорского величества канцелярии, которая находилась в ведении Сперанского. По этому поводу соответствующие сведения мы находим в двух письмах поэта к Бенкендорфу и в письме к Н. Н. Пушкиной. Так, в письме к шефу жандармов от 7—10 февраля 1834 г. говорится: «У меня две просьбы: первая — чтобы мне разрешили отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии, которая подведомственна г-ну Сперанскому, — единственной, где, я уверен, меня не обманут»... (10, 461, 852). Об этом же говорится в письме к Бенкендорфу от 27 февраля (а также в письме к Л. В. Дубельту — начальнику штаба корпуса жандармов от 5 марта 1834 г.). В письме к жене от 30 июня 1834 г. Пушкин сообщает: «После завтраго начну печатать Пугачева, который до сих пор лежит у Сперанского» (10, 497).

Чем же объясняется такое пристрастие поэта к типографии Сперанского? Разумеется, тут были интересы и чисто тактического (в издательском смысле) плана. Тема Пугачева была в определенном смысле темой закрытой. Печатание же «Истории» в правительственной типографии могло в определенной мере обойти цензурные рогатки. Видимо, не случайно, что на обороте заглавного листа

вместо обычного цензурного разрешения было обозначено: «С дозволения Правительства». Пушкин также, видимо, полагал, что и его личные контакты со Сперанским в связи с работой над изданием рукописи книги, учет его рассказов и замечаний помогут в преодолении цензурных трудностей. Вместе с тем у Пушкина была еще одна причина «привязанности» к этой типографии, не связанная непосредственно со Сперанским. Дело в том, что один из близких лицейских друзей поэта М. Л. Яковлев, с которым он сохранял дружеские отношения на протяжении всей жизни, в это время работал во II Отделении, где как раз непосредственно и заведовал типографией.

МИНИСТРЫ ЮСТИЦИИ

Среди министров более тесно были связаны с Пушкиным Дмитриев, Дашков и Блудов.

И. И. Дмитриев (1760—1837) — русский поэт карамзинского направления, типичный представитель русского сентиментализма, сатирик, автор преимущественно басен и сказок на светско-нравоучительные темы. Большую известность при жизни автора получили такие его произведения, как шутливо-сатирическая сказка «Модная жена», сатира «Чужой толк», песня «Стонет сизый голубочек», драматическая поэма «Ермак» и др. Много лет посвятил государственной службе. В 1796 году был арестован по ложному доносу, но затем торжественно прощен Павлом I и вскоре назначен обер-прокурором сената. С 1799 года в отставке. В 1806 году по желанию Александра I вернулся на службу в сенат. В 1810—1812 гг. был членом Государственного совета и министром юстиции.

Личность Дмитриева и как министра юстиции, и как писателя интересует нас в основном в двух аспектах. Во-первых, отразилась ли его служебная деятельность в литературном творчестве и, во-вторых, оставили ли взаимоотношения Пушкина и Дмитриева след в произведениях Пушкина? На оба вопроса можно ответить утвердительно. «Правовая материя» отчетливо проявляется в баснях Дмитриева (например, «Преступление», «Жертвенник и правосудие»). Но наиболее важны его автобиографические записки «Взгляд на мою жизнь», не опубликованные при жизни автора и известные Пушкину в рукописи. В них, ставших для Пушкина одним из документальных источников «Истории Пугачева», есть страницы, по-

священные профессиональным занятиям автора, включая и его участие в законотворческой деятельности. «В следующем году пожалован был в действительные обер-прокуроры. Отсюда начинается ученичество мое в науке законоведения и знакомство с происками, эгоизмом, надменностью и раболепством двум господствующим в наше время страстям: любостыжанию и честолюбию... Я не без смущения помышлял о пространстве и важности обязанностей моего звания — быть блюстителем законов... Мне вверен был такой департамент, который можно было назвать совершенно энциклопедичным. Он заведовал все уголовные и гражданские дела... Ему же подведомственны были юстиц-коллегия... учебные заведения.., полиция...»²³.

Но главную ценность для Пушкина в этих записках представляли воспоминания автора о пугачевском восстании. В письме к их автору в 1833 году поэт писал: «Случай доставил в мои руки некоторые важные бумаги, касающиеся Пугачева (собственные письма Екатерины, Бибикова, Румянцева, Панина, Державина и других). Я привел их в порядок и надеюсь их издать. В Исторических записках (которые дай бог нам прочесть как можно позже) Вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали его смерть. Могу ли я надеяться, что Вы, милостивый государь, не откажетесь занять место между знаменитыми людьми, коих имена и свидетельства дадут цену моему труду, и позволите поместить собственные Ваши строки в одном из любопытнейших эпизодов царствования великой Екатерины?» (10,431).

Прооба эта была Дмитриевым удовлетворена и в июле-августе 1833 г. поэт получил доступ к его запискам. Сопоставление их содержания и пушкинского текста «Истории Пугачева» свидетельствует о том, что на основе именно этого источника Пушкиным были написаны страницы о казни Пугачева в восьмой главе его исторического исследования. Кроме того, в это же время Пушкин записал и устные рассказы Дмитриева об этом событии. В приложениях к «Истории Пугачева» пятый их раздел так и именуется: «Дмитриев. Предания». Из них видно, что поэт записал рассказы Дмитриева, например, об усмирителях пугачевского восстания — Чернышове Потемкине, Панине, а также некоторые другие сведения.

После выхода «Истории Пугачева» из печати в 1834 году И. И. Дмитриев в письме к сыну Н. М. Карамзина Андрею посетовал на то, что не получил авторского экземпляра этой книги. Пушкин счел необходимым объяснить

это недоразумение в своем письме к Дмитриеву от 14 февраля 1835 г., в котором высказал свою признательность за предоставление ему материалов о пугачевском восстании: «Милостивый государь Иван Иванович, молодой Карамзин показывал мне письмо вашего высокопревосходительства, в котором укоряете вы меня в невежливости непростительной. Спешу оправдаться: я до сих пор не доставил вам своей дани, потому что поминутно поджидал портрет Емельяна Ивановича, который гравировался в Париже; я хотел поднести вам книгу свою во всей исправности. Не исполнить того было бы с моей стороны не только скупостью, но и неблагодарностью: хроника моя обязана вам яркой и живой страницей, за которую много будет мне прощено самыми строгими читателями» (10,525).

Вскоре после этого поэту удалось выполнить свое обещание, по поводу чего Дмитриев и Пушкин обменялись письмами. В своем письме от 10 апреля 1835 г. Дмитриев благодарит Пушкина за «приятный гостинец» и за «хоть и церемонное, но не меньше обязательное подписание», а также дает высокую и теплую оценку «Истории»²⁴. Для Пушкина в связи с тем, что читающая публика довольно прохладно приняла его книгу о Пугачеве, высокая оценка его работы Дмитриевым многое значила, и он, со своей стороны, выразил в связи с этим свою дружескую признательность. В письме от 26 апреля 1835 г. он писал: «Милостивый государь Иван Иванович, приношу искреннюю мою благодарность вашему высокопревосходительству за ласковое слово и за утешительное одобрение моему историческому отрывку. Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» (10, 529).

В письме содержится намек на анонимный разбор «Истории Пугачева» в 1835 году в журнале «Сын Отечества». Пушкин, не согласный с критикой, ответил на нее статьей «Об «Истории Пугачевского бунта», опубликованной в Современнике» (1836 г., кн. 3).

Однако творческие связи Пушкина и Дмитриева вовсе

не ограничивались работой поэта над пугачевской темой. В черновике VIII главы «Евгения Онегина» Пушкин называет Дмитриева наряду с Державиным, Карамзиным и Жуковским своим учителем: «И Дмитрев не был наш хулитель». Правда, в действительности творческие отношения между ними складывались не всегда гладко. Дело в том, что в 1820 году Дмитриев дал как раз неблагоприятный отзыв о «Руслане и Людмиле». В письме к П. А. Вяземскому от 18 октября 1820 г. он писал: «Что скажете вы о нашем «Руслане», о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы)»²⁵. По мнению самого Вяземского, этот отзыв, видимо, дошел до автора, что не могло не наложить отпечаток на их отношения и что Пушкин «не любил Дмитриева как поэта», однако позднее он «совершенно примирился с ним и оказывал ему должное уважение»²⁶. Разумеется, что зрелый Пушкин не мог не быть объективным в оценке подлинных заслуг Дмитриева перед российской словесностью. Кроме того, их переписка (1830-х гг.) свидетельствует о взаимной симпатии и творческой дружбе. Однако и в предшествующие работе поэта над «Историей Пугачева» годы вряд ли следует придавать большое значение замечанию Вяземского о нелюбви Пушкина к Дмитриеву. Образ последнего нашел, например, художественное воплощение в седьмой главе «Евгения Онегина»:

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, без него, ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик. (5, 161).

По мнению самого Вяземского, этим стариком был И. И. Дмитриев. Его образ еще раз появляется на страницах «Онегина»:

Тут был в душистых седилах
Старик, по старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно. (5, 176).

Ничего недоброжелательного по отношению к Дмитриеву в созданном Пушкиным литературном образе, конечно же, не содержится. В юморе поэта легко проглядывается и определенная теплота, и неизбежное снисхождение молодости по отношению к старости.

О признании поэтом литературных заслуг Дмитриева

говорит и то, что одним из эпитафий к главам «Онегина» (наряду с цитатами из произведений Горация, Петрарки, Байрона, Жуковского, Грибоедова, Вяземского) в седьмой главе Пушкин приводит слова Дмитриева о Москве: «Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать?»

Дашков Д. В. (1788—1839) — активный член литературного общества «Арзамас», его арзамасское прозвище было «Чу». В своем письме к С. И. Тургеневу (младшему брату А. И. и Н. И. Тургеневых) от 21 августа 1821 г. Пушкин пишет: «Кланяюсь Чу, если Чу меня помнит...» (10, 30). Дашков был старым приятелем одного из самых близких Пушкину людей — П. А. Вяземского. В 1836 году Пушкин в письме к Вяземскому от 7 мая просит помочь в предоставлении пенсии вдове губернского землемера (Рязанской губернии) С. С. Губанова: «Пожалуйста, мой милый, сделай это через Д. В. Дашкова, от которого это дело зависит» (10, 578). Начало карьеры Дашкова приходится на коллегия иностранных дел (1816—1826), после этого он становится помощником министра внутренних дел, а в 1829—1839 гг. — министром юстиции. Дашков принимал участие в создании первого свода законов Российской империи.

Пушкин в целом с уважением относился к Дашкову. Так, в своем дневнике поэт делает в феврале 1835 года следующую запись об Уварове — министре народного просвещения (изображен Пушкиным в лице наследника в стихотворении «На выздоровление Лукулла»): «Уваров большой подлец... это большой негодяй и шарлатан... он крал казенные дрова... Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, — отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» (10, 63—64).

То, что Дашков до конца жизни поэта входил в круг литературных знакомых Пушкина свидетельствует и одна из его дневниковых записей 1834 года. Так, 3 мая он записывает: «Гоголь читал у Дашкова свою комедию. Дашков звал Вяземского на свой вечер...» (8, 49) (комедия Гоголя — это дошедшая до нас в отрывках пьеса «Владимир 3-й степени»).

Об отношениях Пушкина с Дашковым в связи с продолжением работы поэта над пугачевской темой (уже после выхода в свет «Истории Пугачевского бунта») свидетельствует и письмо Бенкендорфа к Дашкову от 2 февраля 1835 г., в котором шеф жандармов сообщает ми-

нистру юстиции «о высочайшем повелении о допущении камер-юнкера Пушкина в сенатский архив для прочтения дела о Пугачевском бунте и составлении из оногo выпи-сок»²⁷.

Блудов Д. Н. (1785—1864) — один из учредителей литературного общества «Арзамас» (прозвище «Кассандра»), племянник Г. Р. Державина. Большую служебную карьеру сделал благодаря участию в Верховной следственной комиссии по делу декабристов. Им, в частности, был подготовлен обвинительный доклад комиссии. В 1826—1828 гг. — товарищ министра народного просвещения. В 1830—1831 гг. на Блудова было возложено управление министерством юстиции (в 1839 году около года — министр юстиции). В 1832 — 1837 гг. — министр внутренних дел. Впоследствии занимался работой по руководству написанием законов (например, Уложения о наказаниях уголовных и исправительных — 1845 г.), президент Академии наук, председатель Государственного совета и Комитета министров.

Сохранились два письма Пушкина Блудову: одно, датированное второй половиной октября 1831 г. (Блудов является предполагаемым адресатом этого письма), а второе — 20 января 1832 г. Оба — официально вежливые, написанные в связи с работой Пушкина над архивными материалами по истории Петра I (Блудов, будучи министром внутренних дел, ведал государственным архивом) (10, 388, 402).

В письме к П. А. Вяземскому (март 1830 г.) поэт советует адресату переговорить с Блудовым по поводу издания написанного П. М. Строевым указателя к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (10, 227). Такой совет объясняется тем, что Блудов был ревностным почитателем Карамзина и даже редактором посмертно изданного тома его «Истории» (такой указатель впоследствии был издан).

Имя Блудова упоминается и в письме Пушкина П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г. («Мы оцеплены в Царском Селе и в Павловске* и не имеем никакого сообщения с Петербургом. Вот почему я не видел ни Блудова, ни Беллизара. Ваша рукопись все еще у меня...» (10, 838). Здесь речь идет о шестом и седьмом «Философских письмах» Чаадаева, которые Пушкин намеревался опубликовать у книгоиздателя Беллизара. За содействием по этому поводу Пушкин и хотел обратиться, используя «арзамасские» связи, к Блудову.

* В связи с эпидемией холеры.

О Блудове содержится упоминание и в письме Пушкина к М. Н. Погодину от 5 марта 1833 г. Письмо было написано в связи с намерением Пушкина привлечь Погодина к работе над «Историей Петра I» (намерение впоследствии не было осуществлено). Об этом был разговор с Николаем I. Тот перепутал Погодина с Полевым, к которому относился неблагосклонно. Пушкин пишет Погодину, что Блудов объяснил царю его ошибку («...Д. Н. Блудов все поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий» (10, 428).

В целом Пушкин относился к Блудову отрицательно. В апрельском (1825 г.) письме к В. А. Жуковскому он пишет: «Ничего не говорил я тебе о твоих «Стихотворениях». Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса. К тому же не вижу в нем и бескорыстной любви к твоей славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно, он не исключил из собрания *послания к нему* — произведения, конечно, слабого» (10, 140).

Имя Блудова упомянуто в письме в связи с тем, что тот принимал участие в издании «Стихотворений» Жуковского в 1824 году. По мнению Пушкина, Блудов выражал устарелые, «салонные» взгляды в литературе, за что и назван «маркизом».

Резко отрицательная оценка Блудову как государственному деятелю дана Пушкиным в его письме к Е. М. Хитрово (приятельница поэта, страстная поклонница его поэзии, дочь полковника М. И. Кутузова) от 21 января 1831 г. в связи с обсуждением польского вопроса: «Я недоволен нашими официальными статьями. В них господствует иронический тон, не приличествующий могуществу. Все хорошее в них, то есть чистосердечие, исходит от государя; все плохое, то есть самохвальство и вызывающий тон — от его секретаря. Совершенно излишне возбуждать русских против Польши» (10, 830). Дело в том, что статс-секретарем Николая I был Блудов и, следовательно, цитируемые строки направлены именно против него.

Следует отметить, что в конце своей жизни Блудов высказывал правовые идеи, которые в определенной мере отражали будущие судебные реформы (1860-х годов) в области судопроизводства, носившие несомненно прогрессивный характер. Так, в 1857 году он подал императору «Записку о судебных установлениях», в которой ставил вопрос об уничтожении сословных судов, разделения судебной и административной властей, исключения полиции

из производства следствия по уголовным делам, усиления гласности судопроизводства, учреждения института присяжных поверенных²⁸.

Завершая разговор о связях Пушкина с министрами юстиции, нельзя не упомянуть имени еще одного министра этого же ведомства времени Александра I — Г. Р. Державина, который, разумеется, для Пушкина в первую очередь был поэт, а уже потом государственный деятель. *Г. Р. Державин (1743—1816)* — родился в небогатой дворянской семье, образование получил в Казанской гимназии. В 1762 году поступил на службу солдатом в гвардейский Преображенский полк. Вначале по службе продвигался медленно; в офицеры был произведен через десять лет. Однако после «Оды к Фелице», обращенной к Екатерине II, карьера его резко изменилась. В 1784—1788 гг. он становится губернатором олонецким, затем тамбовским. В 1791—1793 гг. — кабинет-секретарь Екатерины II. В 1800 году стал работать в Комиссии составления законов. В 1802—1803 гг. — министр юстиции и член Государственного совета. С 1803 года — в отставке.

Державин не входил в поэтическое окружение наставников и друзей Пушкина. С 1811 года он состоял в литературном обществе «Беседа любителей русского слова». Его члены были яростными сторонниками классицизма в литературе и не меньшими противниками реформы литературного языка, проводимой Карамзиным и его последователями. В целом это было общество консерваторов в литературе. В противовес ему возникло общество «Арзамас», куда входил и Пушкин-лицеист. Однако Державин как поэт был выше «уставных» взглядов «Беседы». В лучших своих стихотворных произведениях («Ода на смерть кн. Мещерского», «Ода к Фелице», «Бог», «Видение мурзы», «Водопад», «Властителям и судьям», «Вельможа» и др.) Державин не только прославлял монархов и полководцев, но и разоблачал общественные пороки, нравы придворного общества. В них звучали также интимно-лирические и философские мотивы (например, острое восприятие величия и ничтожности человека, ощущение неустойчивости человеческой судьбы). Державин благожелательно относился к своему, казалось бы, литературному противнику — Жуковскому, признавая его талант, заметил дарование юного Пушкина. Державин в 1815 году присутствовал на публичном экзамене в Лицее, на котором Пушкин читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В своих мемуарных записках о Державине он так описывает это событие:

«Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Примечательно, что и молодой Пушкин, буквально убийственно пародировавший многих приверженцев «Беседы», по отношению к Державину неизменно сохранял уважительный тон. Так, вступая в спор с А. А. Бестужевым по поводу его вопроса: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов?», Пушкин отвечает: «Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает *много* талантов?» Такая же оценка творчества Державина была присуща и зрелому Пушкину. В своей статье «Мнения М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», опубликованной в 1836 году в «Современнике», Пушкин называет Державина «Великим». О теплом отношении к Державину говорят и известные «онегинские» строки: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил».

Нас, однако, более всего интересует, перекликалась ли с творчеством Пушкина судьба Державина не только как поэта, но и как государственного деятеля? И на этот вопрос можно ответить вполне утвердительно. Особенно это отразилось в работе поэта над «Историей Пугачева». Как известно, Державин принимал участие в действиях правительственных войск по подавлению восстания Пугачева. В предисловии к своему историческому труду Пушкин упоминает имя Державина наряду с именами крупнейших исторических деятелей той эпохи: «Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева,.. Суворова,.. Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства» (8,151). Непосредственно в тексте «Истории» Пушкин приводит два эпизода, связанных с действиями Державина в связи с усмирением восставших. Первый заключается в том, что для того, чтобы воспрепятствовать намерению крестьян одной деревни идти служить к Пугачеву, Державин с двумя казаками приехал туда и повесил зачинщиков. Второй эпизод касается неудачных попыток Державина защитить Саратов, когда сам он едва не попал в плен, а один из сопровождавших его казаков был заколот восставшими. В собственных примечаниях к «Истории» Пушкин, комментируя эти эпизоды, указывал, что «Державин написал свои Записки, к сожалению еще не изданные» (8, 317). Следует отметить, что Пушкин пытался получить доступ к рукописным запискам Державина, но получил в этом отказ со стороны его родственников.

ЛИЦЕИСТЫ, ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ ПОПРИЩУ

И. И. Пущин (1798—1859) — один из самых близких лицейских друзей Пушкина. Их знакомство состоялось 12 августа 1811 г. на приемных экзаменах в Лицей, а личное общение продолжалось до 11 января 1825 г., когда Пущин посетил поэта в его ссылке в Михайловском. Будучи по своим успехам в лицее одним из первых его выпускников (он окончил его с серебряной медалью), Пущин избрал для себя военное поприще, став офицером лейб-гвардии конной артиллерии. Он тесно связал свою жизнь с декабристским движением. Еще лицеистом вступил в члены преддекабрьской политической организации «Священная артель», летом 1817 года был принят в Союз Спасения, а затем в Союз Благоденствия и Северное общество.

В 1823 году Пущин оставил военную службу. Формальным поводом к отставке послужило его столкновение с младшим братом царя Михаила из-за незначительного упущения в форме одежды молодого офицера. Однако в действительности причины этого поступка Пущина были более глубокими. Программными документами Союза Благоденствия предписывалось занятие должностей в гражданском ведомстве с целью исполнения не только принятых на себя обязанностей, но и «уничтожения лихоимства и других злоупотреблений постепенным улучшением нравственности среди товарищей и подчиненных и распространением просвещения». Пущин решил поступить на службу квартальным надзирателем, что в те времена было низкой полицейской должностью. Тем самым он хотел доказать, что всякая должность в государстве, если она служит на пользу народа, — почетна. От задуманного его побудили отказаться лишь слезы сестер и просьбы родных, без основания считавших, что это могло подорвать репутацию семьи. Поэтому Пущин поступил в Петербургскую уголовную палату в качестве сверхштатного члена (должность также явно непрестижная для дворянина). В конце 1823 года Пущин становится судьей Московского надворного суда, поставив своей задачей искоренить взятки в суде и защищать от притеснения простой народ. Пушкин увидел в поступке своего друга проявление гражданской доблести. В черновом варианте послания «И. И. Пущину» (1825 г.) поэт писал, что тот «победил предрассужденье»

и «возвеличил темный сан». В нем сохранились и такие пушкинские строки:

Ты, осятив тобой избранный сан,
Ему очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан...²⁹.

В 1825 году незадолго до восстания декабристов, Пущин навестил своего опального друга в Михайловском. В «Записках о Пушкине» (одном из самых достоверных мемуарных источников о поэте) Пущин зафиксировал предмет их разговоров при встрече. «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я превратился в судью. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня»³⁰.

Пущин — один из самых энергичных деятелей декабристского движения. Достаточно сказать, что именно он принял Тайное общество К. Ф. Рыльева, являлся членом Коренной думы и председателем Московской управы Северного общества, активно участвовал в восстании на Сенатской площади. 16 декабря 1825 г. был арестован и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. На следствии вел себя стойко и мужественно. Был признан одним из самых опасных участников восстания и приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами «навечно» (позже они были сокращены до 20 лет). После приговора был заключен в Шлиссельбургскую крепость, находился в ее сырых казематах в течение двадцати месяцев. В октябре 1827 года отправлен на каторгу Сибирь, в 1839 года там же, на поселении, после амнистии 1856 года, получил разрешение возвратиться из Сибири. Последние годы своей жизни провел в с. Марьино Бронницкого уезда (под Москвой), где и умер.

своих воспоминаниях он пишет, как в 1827 году ему было передано пушкинское послание с известными строками «Мой первый друг, мой друг бесценный!», что было для него серьезной моральной поддержкой в первые дни каторги и оторванности от друзей и родных³¹. По свидетельству К. К. Данзаса, Пушкин, перед смертью сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать»³².

С Пущиным связан целый ряд стихотворений поэта (кроме указанных): Пущину («Любезный именинник»), «Воспоминание» («К Пущину»), «Мы недавно от

печали», «К студентам» («Пирующие студенты»), «Надпись на стене больницы» («Вот здесь лежит больной студент»), «В альбом Пушкину», «Мое завещание друзьям», 19 октября (1825 г.). Сохранились три письма Пушкина к Пушкину (все 1825 г.).

М. А. Корф (1800—1876) — один из однокашников Пушкина по Лицею. После его окончания поступил на службу в министерство юстиции, с 1819 года в Комиссии по составлению законов, а в 1826 году, когда было учреждено II Отделение императорской канцелярии по написанию законов во главе с М. М. Сперанским, стал заниматься там подготовкой законопроектов. Участвовал в подготовке многотомного Полного собрания законов Российской империи и первого Свода законов Российской империи. В 1831 году — управляющий делами Комитета министров, с 1843 года — член Государственного совета. В 1843—1861 гг. — директор Императорской публичной библиотеки, в 1855—1856 гг. — председатель Цензурного комитета. В 1861—1864 гг. — начальник II Отделения императорской канцелярии, в 1864—1872 гг. — председатель департамента законов Государственного совета. Был приближенным Николая I и Александра II, по их поручению преподавал право великим князьям. Корф не чуждался и литературных занятий. В верноподданнически-монархическом духе в 1848 году им написан (по поручению Николая I) очерк «Историческое описание 14 декабря 1825 г. и предшедших ему событий», а в 1857 году книга «Восшествие на престол императора Николая I», представлявшие клеветническое описание декабрьских событий 1825 года. В 1854 году написал записки о лицее, в которых не пожалел черной краски для своих наставников и преподавателей, а также для однокашников, в том числе и для Пушкина. Свою внутреннюю неприязнь к поэту при его жизни Корф умело скрывал, да и сердце Пушкина, беспрдельно открытое для всех лицеистов, не знало по отношению ни к кому из них нехорошего чувства. Известно два письма Пушкина к Корфу, поражающие нас, знающих о его недружелюбных воспоминаниях о поэте, теплотой его отношения к бывшему собрату по лицейской жизни. Одно из них по поводу того, что в 1833 году Корф обратился к поэту с просьбой хлопотать о работе для своего знакомого у известного книгоиздателя Смирдина. В своем письме к Корфу поэт, выполнив его просьбу, писал: «Радуюсь, что на твое дружеское письмо мог отвечать удовлетворительно и исполнить твое приказание...

Весь твой Александр Пушкин» (10, 434). В письме 1836 г. поэт благодарит Корфа за присылку ему списка сочинений по истории Петра I, над которой он в это время работал (фактически же он не успел воспользоваться указанными Корфом книгами), которое заканчивалось словами «Сердцем тебе преданный А. П.» (10, 596).

М. Л. Яковлев (1798—1868) — один из лицейских товарищей Пушкина. После окончания Лицея поступил на службу в министерство юстиции, с 1827 года — сотрудник II Отделения императорской канцелярии по написанию законов (у М. М. Сперанского), в 1833—1840 гг. — директор типографии этого отделения. Дальнейшая служебная карьера Яковлева складывалась также удачно, и он дослужился до должности сенатора и имел чин тайного советника.

Яковлев был хранителем архива своего лицейского выпуска, протоколов лицейских сходок, проходивших в его квартире (его шутливо называли «лицейским старостой», а его квартиру — «лицейским подворьем»). С Пушкиным Яковлев всегда был в приятельских отношениях. Следует отметить, что Яковлев, как уже было сказано, помогал Пушкину в издании «Истории Пугачева», которая была отпечатана в типографии, возглавляемой им. Для печатания этой книги Яковлев сам подбирал бумагу, шрифт и тщательно проверял корректуру. Все это нашло отражение в письмах поэта к нему (например, от 3, 5, 10 и 11 июля 1834 г.), а также в некоторых письмах Пушкина к жене. Однако помощь Яковлева не сводилась к чисто технически-типографским вопросам. Он помогал Пушкину и советами более общего плана, к которым тот часто прислушивался. Так, по предложению Яковлева Пушкин соединил VIII и IX главы в одну. Кроме того, на рукописи предисловия к «Истории» была зачеркнута позже помета Яковлева: «Нельзя ли без Вольтера?» На что Пушкин отвечал: «А почему ж? Вольтер — человек очень порядочный, и его сношения с Екатериной суть исторические» (10, 511). Однако по настоянию и под влиянием Яковлева Пушкин в конечном итоге согласился с этим, видимо, по цензурным соображениям. В письме к нему от 12—16 августа 1834 г. поэт указывал: «Из предисловия (ты прав, любимец муз!) должно выкинуть имя Вольтера, хотя я и очень его люблю» (10, 511). Об их близких отношениях в последующие годы наглядно свидетельствует тот факт, что поэт ознакомил его с полученным им в декабре 1836 года анонимным пасквилем, и тот определил бумагу, на которой

он был напечатан, как «инострannую» (что для поэта послужило косвенным подтверждением причастности к делу нидерландского посланника). В 1836 году в «Современнике» Пушкин напечатал свой благожелательный отзыв на «Словарь о святых...», авторами которого были Яковлев и Д. А. Эристов. Поэт также использовал в работе над «Историей Пугачева» неопубликованный «Исторический словарь» этих же авторов. Сохранилось 10 писем и записок Пушкина к Яковлеву и 7 писем последнего к поэту.

Яковлев обладал большими музыкальными способностями, чем и объясняется пушкинское к нему обращение — «любимец муз». Им написаны романсы и песни на слова Пушкина, Дельвига, Жуковского (незаурядные композиторские способности Яковлева отмечал М. И. Глинка).

Д. Н. Маслов (1799—1856) — лицеист пушкинского выпуска. По окончании Лицея (с серебряной медалью) — служащий канцелярии Государственного совета, позже чиновник Императорского общества воспитания бедных детей, советник Московской комиссии по сооружению «Храма Христа Спасителя», статс-секретарь департамента законов Государственного совета (у М. А. Корфа), товарищ председателя коммерческого суда. Дослужился до чина действительного тайного советника.

В молодости Маслов общался с будущими декабристами. В своих «Записках о Пушкине» И. И. Пущин вспоминает о встрече с Масловым у Н. И. Тургенева на заседании участников предполагавшегося издания (журнала) «Россиянин XIX века», на котором среди других присутствовали Пушкин и Куницын, а Маслов там читал свою статью о статистике³³.

Д. А. Эристов (1797—1858) — лицеист второго выпуска. После окончания Лицея — чиновник Комиссии по составлению законов, в 1826—1833 гг. — чиновник II Отделения императорской канцелярии по написанию законов, генерал-аудитор, сенатор, тайный советник. Сотрудничал в энциклопедических изданиях, где помещал биографии русских исторических деятелей и очерки о монастырях и скитах. Общение Пушкина с Эристовым, начавшееся в лицейские годы, продолжалось до конца его жизни. Как уже отмечалось, Пушкин использовал в работе над «Историей Пугачева» неопубликованный «Исторический словарь» Д. А. Эристова и М. Л. Яковлева, а также поместил в «Современнике» свою благожелательную рецензию на «Словарь о святых...», составленный этими же авторами.

Примечания

- ¹ Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXXI. 1810—1811. СПб., 1830. С. 311.
- ² Там же. С. 315.
- ³ См.: Исторический очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие, с 1811 по 1861 год. Составлен И. Селезневым. (СПб., 1861. С. 122—125).
- ⁴ Они частично опубликованы Б. Мейлахом. См.: Красный архив. Т. 1. (18). М., 1937. Изложение содержания лекций Куницына по государственному праву приводится по этому изданию.
- ⁵ В кн.: Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899. С. 228.
- ⁶ К о б е к о Д. Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. 1811—1813. СПб., 1911. С. 26.
- ⁷ Право естественное, сочиненное профессором Императорского Лицея Александром Куницыным. СПб., 1818; Право естественное, часть II. Право прикладное. Сочинение проф. А. Куницына. СПб., 1820.
- ⁸ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 48.
- ⁹ Красный архив. С. 81.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Сын Отечества. 1818. № 8.
- ¹² Красный архив. С. 79.
- ¹³ Изображение взаимной связи государственных сведений. Профессора Александра Куницына. СПб., 1817. С. 18.
- ¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М., 1955. С. 140.
- ¹⁵ Красный архив. С. 92.
- ¹⁶ Памятная книжка Императорского Александровского Лицея на 1856-57 год. СПб., 1856. С. 25.
- ¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 13. С. 158.
- ¹⁸ Там же. Т. 22. С. 29.
- ¹⁹ Гроссман Л. Пушкин. М., 1960. С. 109.
- ²⁰ Памятная книжка Императорского Александровского Лицея на 1856-57 год. С. 25.
- ²¹ Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. — Л., 1935. С. 720.
- ²² Сперанский М. Дружеские письма к Массальскому. СПб., 1862. С. 65.
- ²³ Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 334—335.
- ²⁴ Там же. С. 418.
- ²⁵ Там же. С. 399.
- ²⁶ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 357—358.
- ²⁷ Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. С. 121.
- ²⁸ См.: Русский биографический словарь. Т. 3. СПб., 1908. С. 647.
- ²⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 2. С. 561.
- ³⁰ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. С. 67.
- ³¹ Там же. С. 58—59.
- ³² См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 378.
- ³³ См.: Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. С. 59.

III. Посмертно по судимый

СЛЕДСТВИЕ

Николай I
и организация процесса

Роковая дуэль состоялась 27 января 1837 г. Уже на следующий день командир Отдельного гвардейского корпуса (в него входил и кавалергардский полк, в котором служил Дантес) генерал-лейтенант Бистром в рапорте на имя Николая I, поданном по команде через военного министра, сообщал о случившемся:

«27-го числа сего Генваря, между Поручиком Кавалергардского Ея Величества полка бароном Геккерен (фамилия Дантеса в материалах дела пишется по-разному. — А. Н.) и Камергером Двора ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пушкиным произошла дуэль, при которой поручик Геккерен ранен. За каковой противозаконный поступок сего Офицера, предписав судить его военным судом при Лейб Гвардии Конном полку, арестованного, — долгом поставлю всеподданнейше донести о том ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ»*.

Так заработала канцелярия военной юстиции. Однако при всей ее, казалось бы, должной отлаженности она сразу же дала бюрократический сбой. Рукою известного царедворца, одного из приближенных Николая I генерал-адъютанта Клейнмихеля, имевшего по своему должностному положению непосредственное отношение к организации судебного процесса по факту дуэли и контролю над ним, на этом документе (рапорт Бистрома царю) имеется виза:

«Передать в Аудиториатский департамент. Этот рапорт

* Цитированные в этой главе материалы без специальных отсылок взяты из «Военно-судного дела», опубликованного небольшим тиражом в 1900 году. Как правило, орфография и пунктуация подлинника сохранены.

разошелся с предписанием, данным вчерашнего числа о сем же предмете 30 Января».

В этих документах не может не заинтересовать два обстоятельства. Первое заключается в том, *кто, что, как и в каком свете* видит происшедшее. Командующий корпусом доводит до сведения императора о состоявшейся дуэли, обращая внимание на ранение (как известно легкое) Дантеса и не считает своим долгом сообщить о смертельном ранении Пушкина. Событием, достойным внимания царя, в глазах николаевского генерала является рана поручика-кавалергарда. Второе. Личность Клейнмихеля как одного из причастных к посмертной судьбе Пушкина и силой обстоятельств вовлеченного в круг людей, оказавшихся судьями великого поэта. О моральном праве на это Клейнмихеля (бывшего адъютанта Аракчеева — начальника печально известных военных поселений, адресата убийственной пушкинской эпиграммы «Всея России притеснитель») свидетельствует хотя бы его собственная более поздняя «причастность» к праву и правосудию. В 1842—1855 гг. он был главноуправляющим путей сообщения и публичными зданиями. Некрасов «увековечил» этого генерала-путейца в эпиграфе к известному всем школьной скамьи стихотворению «Железная дорога». Насколько же надо было «проштрафиться» в глазах царя и его ближайшего окружения, чтобы за крупные злоупотребления (проще говоря, за невероятных размеров воровство и казнокрадство) «строитель» железной дороги был вынужден всего лишь уйти в отставку.

Кстати, с Клейнмихелем судьба сталкивала Пушкина и при жизни, в том числе, как это ни странно, и по его творческим делам. Сталкивала, разумеется, вынужденно. Так, работая над «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева», Пушкин пользовался некоторыми архивными материалами об этом восстании, находившимися в военном министерстве. Клейнмихель по истечении определенного времени предписал поэту их возвратить. В своем письме от 19 ноября 1835 г. Клейнмихелю Пушкин уведомляет его: «...Возвратясь из путешествия, нашел я предписание Вашего высокопревосходительства, коему и поспешил повиноваться. Книги, бумаги, коими пользовался я... возвращены мною в Военное министерство».

Но так или иначе рапорт командира корпуса дошел до военного министра и царя и колесо военно-судебной машины завертелось. 29 января военный министр граф А. И. Чернышев объявил тому же Бистрому «высочай-

шую» волю по этому вопросу. В специальном отношении на имя командующего корпусом говорится:

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по всеподданнейшему докладу донесения Вашего Высочайшего повеления... о дуэли, произшедшей 27 числа сего Генваря, между Поручиком... Бароном Де-Геккереном и Камергером Пушкиным, — Высочайше повелеть соизволил: судить военным судом как их, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то не делая им допросов и не включая в сентенцию (приговор. — *А. Н.*), представить об них особую записку, с означением токмо меры их прикосновенности...»

Этот документ военно-уголовного дела интересен по нескольким причинам. Во-первых, в связи с личностью военного министра как не просто прикосновенного к суду над поэтом, а находящегося по своему должностному положению на самой вершине пирамиды николаевской военно-судебной машины. Карьеру он сделал в качестве члена Следственной комиссии (Тайного комитета) по делу декабристов. Проявленное при этом рвение не могло не быть замечено Николаем I и с 1827 года Чернышев — сенатор, в 1828 году — товарищ (помощник. — *А. Н.*) начальника Главного штаба и управляющий военным министерством, в 1832—1852 гг. — военный министр, с 1848 года — одновременно председатель Государственного совета. По духу — сторонник аракчеевской палочной дисциплины в армии. По непосредственным делам своим справедливо считается одним из главных виновников поражения русской армии в Крымской войне 1853—1856 гг. Несмотря на принадлежность к уж слишком разным «ведомствам» (Пушкин — поэзии, Чернышев — «ведомству» Марса), поэту все-таки приходилось общаться (как и с Клейнмихелем — вынужденно) с военным министром. Известно несколько писем Пушкина Чернышеву, относящихся к периоду работы поэта над пугачевской темой. Следует отметить, что тема эта была абсолютно «закрыта» для исследователей. Пушкину же удалось преодолеть барьеры на пути к необходимым историческим материалам. С его стороны такой успех не мог быть достигнут без определенных «тактических» маневров и завоевания доверия у руководителей военного министерства и лично у его министра. Приходится удивляться смелости поэта, запросившего разрешения о доступе к изучению следственного дела о Пугачеве под предлогом своего интереса к истории полководца А. В. Суворова. В связи с этим поэту

пришлось письменно просить у военного министра разрешения и на ознакомление с чисто суворовскими материалами о его кампаниях 1794 и 1799 гг., которые не стали предметом исторических изысканий Пушкина. Тем не менее поэту удалось усыпить бдительность хранителей секретной документации, такое разрешение было получено и материалы следственного дела о Пугачеве Пушкин использовал при работе над «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева».

Во-вторых, если командующий корпусом, как отмечалось, «вышел» на царя с предложением отдать под суд подчиненного ему поручика-кавалергарда, то царь, как это видно из документа, исходящего от военного министра, «повелел» судить и поэта. Формально (по закону, и в дальнейшем это будет подробно рассмотрено) царь был прав, но все-таки разный подход к этому вопросу преданного царю служаки-генерала и самого царя небезынтересен сам по себе. Несмотря ни на что, инициативу предания поэта суду у Николая I никто не может оспорить.

В-третьих, прозорливость императора в отношении прикосновенных к делу «лиц иностранных» свидетельствует не столько о его догадливости в отношении основных перипетий дуэли, сколько о его несомненной осведомленности в этом.

В тот же день, т. е. 29 января, Бистром и начальник штаба корпуса генерал-адъютант Веймарн направили по инстанции распоряжение командиру Гвардейского кавалерийского корпуса (приданного Отдельному гвардейскому корпусу) генерал-майору Кноррингу распоряжение:

«Объявив сего числа в Приказе по Отдельному Гвардейскому Корпусу, о предании военному суду Поручика... Геккерена за бывшую между ним и Камергером Пушкиным дуэль, предлагаю Вашему Превосходительству приказать: суд сей учредить при Лейб Гвардии Конному полку, Презусом (председателем. — А. Н.) суда назначить Флигель-Адъютанта Полковника того же полка Бреверна 1-го, а ассессорами (т. е. членами суда. — А. Н.), Офицеров по усмотрению Вашему. Комиссии военного суда вменить в непременную обязанность открыть, кто именно были посредниками (секундантами) при означенной дуэли и вообще кто знал и какое принимал участие совершении или отвращении оной. Дело сие окончить сколь возможно поспешнее».

30 января Кнорринг во исполнение этого документа предписал «учинить надлежащее распоряжение» началь-

нику Гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютанту графу Апраксину, а тот 1 февраля — командующему 1-й Гвардейской кирасирской бригады генерал-майору Мейендорфу и уже последний в этот же день наконец окончательно конкретизировал и выполнил царскую волю. В предписании «Лейб Гвардии Конного полка господину флигель-адъютанту полковнику и кавалеру Бреверну» командир бригады уточнил:

«...составляя Комиссию, назначаю Ваше Высокоблагородие Презусом, Ассессорами же: Ротмистра Столыпина, Штабс-Ротмистра Балабина, Поручиков: Анненкова, Шигорина, Корнетов: Чичерина, Осоргина, а для производства дела Аудитора Маслова...»

На следующий день, т. е. 2 февраля, Мейендорф в качестве следователя по делу назначил полковника этого же полка Галахова. Вместе с этим распоряжением Мейендорф направил в комиссию военного суда и распоряжение от 30 января известного уже Веймарна о дальнейшей судьбе Пушкина как подсудимого в связи с его смертью:

«Поскольку же известно, что Камергер Пушкин умер, то самое следует объяснить только в приговоре суда, к какому бы он, за поступки его наказанию по законам подлежал».

«А судьи кто?»

Среди других воинских подразделений Отдельного гвардейского корпуса лейб-гвардии конный полк занимал особое место. Дело в том, что это был полк, шефом которого, так сказать, лично, официально был сам Николай. Начиная с императрицы Анны Иоанновны, в этом отношении установилась определенная традиция — все императоры и царствовавшие императрицы (Елизавета, Петр III, Екатерина II, Павел I, Александр I, сам Николай I) прошли через это звание и должность — полковник и шеф лейб-гвардии конного полка. Конная гвардия всегда использовалась в наиболее важных для своих шефов целях и всегда старалась оправдать это доверие. Любовь Николая I конногвардейцы заслужили также в самое трудное для того время. В день восстания декабристов полк одним из первых выступил против восставших в поддержку нового императора и возвратился в казармы лишь на следующий день, когда восстание было полностью подавлено. «За таковую преданность к престолу Государь Император... изволил изъявить полку свое благоволение и

излить на него многие милости»¹. В числе них и возведение в графское достоинство командира полка А. Ф. Орлова, и уравнивание в денежном содержании офицеров и нижних чинов с содержанием, установленным для кавалергардского полка (высшая ставка), и разовое денежное, продовольственное и «винное» награждение нижним чином и многое другое. Уже много лет спустя незадолго до своей смерти Николай проявил не очень свойственную ему сентиментальность и подарил полку картину, изображавшую полк в день событий 14 декабря 1825 г. Конногвардейцы доказали свою преданность царю и во время подавления польского восстания 1831 года, что было отмечено в специальном «высочайшем приказе».

Конечно же, лейб-гвардии конный полк был на виду, и в свое время не один автор посвятил свои изыскания его истории. С позиций современного читателя кажется очевидным, что такое исключительное событие, как суд по делу о дуэли А. С. Пушкина, должно было бы найти какое-то отражение в описании истории полка. Честно признаться и автор этой работы с «трепетом» открывал и перечитывал четырехтомную историю полка, написанную одним из членов военно-судной комиссии по делу о дуэли — И. В. Анненковым². Увы, его ожидало жестокое разочарование: там об этом не было и строки. Когда «страсть исследователя» поостыла, объяснение этому нашлось самое элементарное. История Анненкова вышла в 1849 году, то есть при жизни Николая I и всего лишь через десятилетие с небольшим после дуэли, смерти Пушкина и самого процесса о дуэли. Разумеется, что в то время этот эпизод истории полка не мог быть освещен. Тем не менее, надежда автора опять «затеплилась», когда он взял в руки толстый фолиант, на титульном листе которого значилось: «Полтора века Конной гвардии. 1730—1880. СПб. 1881». Однако опять, увы. И эта история написана в верно-подданническом духе (в отличие от анненковской можно сказать в более верноподданническом), прочитав которую, узнаешь, что главное в истории полка — это подавление восстания декабристов. В таком же духе был составлен (для нижних чинов) и «Краткий очерк истории Лейб-Гвардии Конного полка», изданный в 1891 году.

Перейдем, однако, непосредственно к характеристике, тех, кому выпала нелегкая ноша выступать судьей по делу о дуэли, выпала обязанность дать оценку преддуэльного поведения гениального поэта и вынести в отношении него посмертный приговор. Начнем с председателя военно-суд-

ной комиссии. Ее презус — А. И. Бревенн. Начал службу в полку корнетом в 1817 году. Участвовал в кампании 1831 года. В 1833-м — произведен в полковники. В 1835-м — флигель-адъютант. В 1839-м — командир Финляндского драгунского полка, с 1843 года — генерал-майор. Первый боевой орден (Св. Владимира 4-й степени) получил за участие в подавлении восстания декабристов. За подавление польского мятежа получил бант к этому ордену, а чуть позже — орден Св. Станислава 3-й степени.

Ротмистр В. Г. Столыпин. Начал службу в полку в 1826 году, как тогда и было принято, корнетом. Через три года — адъютант начальника дивизии. В 1840 году из ротмистров уволен в отставку по болезни «с чином полковника и мундиром».

Штабс-ротмистр И. П. Балабин. В полк поступил в 1828 году из школы Гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. За польскую кампанию награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В 1841 году уволен в отставку для определения к гражданским делам с чином надворного советника.

Поручик И. В. Анненков. В полку с 1833 года (из той же школы, что и Балабин), в 1840-м — полковой адъютант, в 1841-м — ротмистр, в 1846-м — флигель-адъютант, в 1848-м — полковник, с 1851 по 1853 гг. — «при Особе Его Императорского Величества», в 1853 году — исполняющий должность вице-директора инспекторского департамента Военного министерства, в 1855 году — генерал-майор с назначением в свиту императора. Анненков — родной брат известного литератора и мемуариста П. В. Анненкова, первого биографа и посмертного издателя собрания сочинений Пушкина. И. В. Анненков также не был чужд литературным занятиям. Он написал, как уже отмечалось, четырехтомную историю конного полка и неоконченные воспоминания о школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Кстати, когда младший Анненков сомневался в успехе издания пушкинских произведений, старший поддерживал его в этом намерении и даже убеждал. Сохранилось его письмо, написанное по этому поводу и свидетельствующее о том, что «судья» поэта неплохо разбирался в его творчестве. Так, 12 мая 1851 г. И. В. Анненков писал брату: «Успеху предприятия способствовать будут новые, не бывшие в печати сочинения Пушкина. Твое резкое суждение, что их нет, — несправедливо. Я нашел около 50 стихотворений, достойных

печати и от которых Некрасов и Боткин были в восторге, когда им читал».

Поручик Н. И. Шигорин. В полку с 1832 года (из школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров), в 1841 году — ротмистр, в 1843-м — уволен в отставку по болезни «полковником и с мундиром».

Корнет П. П. Чичерин. В полку с 1837 года. С 1845-го — ротмистр, в 1851-м — полковник, в 1857-м — уволен в бессрочный отпуск.

Корнет И. С. Осоргин. В полк поступил вместе с Чичериным (из той же школы гвардейских подпрапорщиков), в 1845-м — ротмистр, в 1851-м — уволен по домашним обстоятельствам «полковником и с мундиром».

Следователь по делу — полковник А. П. Галахов. В полку с 1820 года после окончания Благородного пансиона при Царскосельском лицее. В 1828 году из штабс-ротмистров вышел в отставку (причина неизвестна). В 1831-м — снова на службе. В 1832-м произведен в ротмистры, в 1837-м — в полковники, в 1841-м — флигель-адъютант, в 1846-м — генерал-майор с назначением в свиту императора. Следует отметить, что Галахов был лично знаком с Пушкиным. Об этом свидетельствует, например, одно из авторских примечаний к восьмой главе «Истории Пугачева». В нем Пушкин благодарит А. П. Галахова за передачу ему документов о пугачевском восстании, находившихся в архиве деда Галахова.

Как видно из кратких биографических справок, все члены военно-судной комиссии, рассматривавшей дело о дуэли Пушкина, были типичными представителями гвардейского офицерского корпуса своего времени (не лучше и не хуже других), ничем себя особенно ни до процесса по делу о дуэли, ни после него не проявившие. Служебную карьеру сумели сделать (дослужились до генералов и флигель-адъютантов) лишь Бреверн, Галахов и Анненков.

Следует отметить, что судьба посмертно связала Пушкина с конно-гвардейским полком не только в связи с военно-судным делом о его дуэли. В 1851 году, т. е. четырнадцать лет спустя после смерти поэта, восемнадцатилетним корнетом в нем стал служить его старший сын А. А. Пушкин («рыжий Сашка», как называл его отец). С 1853 по 1860 год в этом полку служил и младший сын поэта — Г. А. Пушкин. Интересно, что с 1844 по 1853 год конным полком командовал П. П. Ланской — второй муж Натальи Николаевны.

Современному читателю небезыntenесно будет ознакомиться с тем, *какие* российские законы и *как* устанавливали процедуру (процессуальную форму) подобных военно-судных дел. Основы уголовного процесса военной юстиции были заложены еще в законодательстве Петра I и, в частности, в его «Кратком изображении процессов или судебных тяжб», изданном в апреле 1715 года одним томом вместе со знаменитым Петровским Артикулом Воинским (материальный уголовный закон). В «Кратком изображении» и определяется военное судоустройство и процесс в военных судах. Этот законодательный акт существовал с незначительными изменениями до 1839 года, когда был издан Военно-уголовный устав. «Краткое изображение» еще в 1830 году было включено в Полное собрание законов Российской империи и именно в этой редакции им руководствовались по делу о дуэли как организаторы этого процесса, так и сами назначенные судьи.

В п. 2 ст. 3 этого законодательного документа устанавливается предмет разбирательства в военных судах: «В воинской суд, в котором токмо ссоры между офицеры, солдаты и протчими особами войску надлежащими происходящие разыскиваются и по изобретении дел решатся, и о сем после днем есть наше намерение здесь пространное объявить». В ст. 4 военный суд (кригсрехт) подразделяется на генеральный и полковой. Оба они являлись судами первой инстанции и отличались друг от друга по подсудности, зависящей от характера дела и служебного положения подсудимых. Так, генеральному кригсрехту подсудны были дела о государственных преступлениях («Вина оскорбления Величества или государственные дела»); дела о деяниях, совершенных целыми частями и подразделениями («Погрешение от целого или половины полка, от батальона, шквадрона или роты происходящая»), а также дела (как гражданские, так и уголовные), касающиеся «высокого» офицерства. Все остальные дела были подсудны полковому кригсрехту. Дело о дуэли между поручиком и «камергером» как раз и было подсудно полковому военному суду.

Статья 6 «Краткого изображения» определяла состав суда: «В полковом кригсрехте президент полковник или полуполковник и имеет при себе ассесоров: 2 капитанов;

2 поручиков; 2 прапорщиков». И в этом случае, как видим, формальности были соблюдены. Суд возглавил полковник, в него вошли и два поручика. Что же касается ротмистра, штабс-ротмистра и двух корнетов, то здесь тоже все было сделано правильно. Суд был учрежден при конном полку, где (как и вообще в кавалерии) ротмистры и штабс-ротмистры были капитанскими званиями, а корнеты приравнивались к общеармейским прапорщикам (с 1801 по 1884 год; позже звание корнета соответствовало званию подпоручика).

Итак, полковники («полуполковники»), ротмистры, поручики, прапорщики в наличии, но где же юристы? Ведь полковой кригсрехт — это как-никак все-таки суд, а не обычный военный совет. Петр продумал и этот вопрос и ввел в состав военного суда такую процессуальную фигуру, как аудитор, тщательно регламентировав его обязанности. В статье 7 «Краткого изложения» определено: «Хотя обще всем судьям знать надлежит право и разуметь правду, ибо неразумевший правду не может рассудить ея (вот каких петровских требований недостает нашим современным народным заседателям, которые вершат суд и от которых нынешний закон не требует правовой осведомленности. — А. Н.), однако ж при кригсрехтах иные находятся обстоятельства, понеже в оных обретаются токмо офицеры, от которых особливого искусства в правах требовать не мочно, ибо они время свое обучением воинского искусства, а не юридического провождают, и того ради держатся при войсках генералы, обор и полковые аудиторы, от которых весьма требуетца доброе искусство в правах, — надлежит оным добрым быть юристам, дабы при кригсрехтах накрепко смотрели и хранили, чтоб процессы порядочно и надлежащим образом отправлялись. И хотя аудиторы при суде голосу в приговорах не имеют, с чего ради оных при судейском столе и не сажают, по обыкновению при особливом столе купно с секретарем, или протоколистом, ежели притом кто из сих определитца, сидят, однако ж надлежит оным, и должны они всегда добрым порядком, что за непристойно обрящут, упоминать, или когда кого в кригсрехте в разсуждении погрешающего усмотрят, тогда оногo к правде основательно приводить».

Как видно, Петр не снимал с офицеров-судей обязанности разбираться в правовых вопросах («хотя обще всем судьям знать надлежит права»), но вместе с тем прекрасно понимал, что совместить военное и юридическое искус-

ства довольно нелегко (от офицеров «особливого искусства в правах не мочно»). При этом следует отметить, что аудиторам как специалистам права отводилась в суде важная роль. Именно они отвечали и за установление в суде истины, и за справедливость выносимого судом наказания. Хотя, учитывая их низкое должностное положение, их даже «при судейском столе на сажают». В последующих нормативных актах, вносящих изменения в петровские воинские уставы, больше всего внимания уделено именно аудиторам. Это делали и Павел I и Александр I. Однако в любом случае эти изменения сводились, с одной стороны, к напоминанию об ответственности аудиторов, другой — к тому, чтобы ни в коем случае не уравнивать их в правах с офицерами-судьями. Например, Павел I в Воинском Уставе полевой походной службы 1796 года предусмотрел целую главу «О должности Аудитора», где напомнил, что «Аудитору, как в военное время, так и в мирное время производить следствие как над офицерами, так и над унтер-офицерами и рядовыми». Вместе с тем он же употребил их для хозяйственных нужд полка: «В походе Аудитор всегда имеет команду над обозом полковым, и онному смотреть, чтобы упряжки в полку шли по очереди, как роты в полку, и ему отвечать за извощиков... В военное время, в отсутствие полкового квартирмейстера, Аудитор принимает для полку фураж и провиант».

В именном Указе Александра I 1803 года, объявленном генерал-аудитором Ливеном генералу Бенигсену, «О непредставлении Дворян в Аудиторы» также указано на недопущение какого-либо выдвижения аудиторов: «Государь Император, по представлению Вашего Высочайшего Превосходительства... о произведении в Аудиторы в Псковский Мушкетный полк того же полка Портупей-Прапорщика Ильяшенкова I. Высочайше указать соизволил Вашему Высочайшему Превосходительству, что в сие звание Дворян представлять не следует». Он же (Александр I) в 1815 году издал Указ «О непозволении покупать крепостных людей Аудиторам и Квартирмейстерам, также чиновникам, состоящим по Военному Министерству в Обер-офицерских классах».

Смысл и павловских, и александровских поправок ясен. Жизнь неумолимо «возвышала» аудиторов. Сами дворяне (те же офицеры) не могли не понимать, что, окажись они в качестве подсудимых, их права, их честь и положение могут быть защищены от судебного произвола только

законом и знающими его людьми. Но дворянские сословные предрассудки не могли возвысить аудитора до дворянина, и в силу этого дворянская мораль не допускала, чтобы свой брат, «благородный», был юристом, судебским крючкотвором, стряпчим.

Следственные действия
и установление
обстоятельств
и причин дуэли.
Первый допрос
подсудимых

Итак, как было отмечено, состав военного суда сформирован. 3 февраля состоялось его первое заседание. Из протокола видно, что «презус объявил, для чего собрание учинено, предупредил о тайности процесса». Все в точном соответствии с требованиями статьи 10 петровского «Краткого изображения»: «И как скоро суд учрежден, и для чего сие собрание учинено, и они созваны. Потом уговаривает всех обретающихся особ в суде и просит, чтоб при отправлении начинающегося дела напаятовали свою совесть, и что при суде случится хранили б тайно и никому б о том, кто бы он ни был, не объявляли». Важной процедурной особенностью первого заседания было и принятие от членов суда присяги («клятвенного обещания»), что оформлено в деле письменным протоколом, в котором приводится полный текст такой присяги и сделана памятка о том, что к ней (присяге) членов суда приводил священник Алексей Зиновьевский. Вот этот текст:

«Мы к настоящему Воинскому Суду назначенные Судьи клянемся Всемогущим Богом, что мы в сем суде в прилучающихся делах, ни для дружбы, или склонности, ни подарков, или зачем, ни же страха ради, ни для зависти и недружбы, но токмо едино по челобитию и ответу, по ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всемилолюбивейшего Государя Императора Воинским пунктам, правам и уставам приговаривать и осуждать хощем право и нелицемерно, так как нам ответ дать на страшном Суде Христове, в чем да поможет ОН ВСЕМОГУЩИЙ Судия».

Кроме процедурных вопросов, на первом заседании военно-судной комиссии решался и содержательный вопрос. Комиссия обратилась к командиру кавалергардского полка с просьбой уведомить ее, где содержится под арестом Дантес. Если он находится под арестом непосред-

ственно в полку, то предписать ему явиться для дачи показаний на заседание суда 5 февраля в 9 часов утра. Суд запросил также находящиеся в том же полку формулярный и кондуитный списки Дантеса, отражающие как успехи, так и недостатки в прохождении им службы.

3 же февраля следователь по делу Галахов произвел первый допрос Дантеса и Данзаса. Первого, ввиду его ранения, он допрашивал у него на квартире. Следователь предложил Дантесу ответить на следующие вопросы:

«...предлагаю Вашему Благородию на обороте сего объявить, точно ли Вы участвовали в сей дуэли, когда и где она происходила, какие лица и кто именно находились свидетелями при оной, и кроме их не знал ли еще кто либо из посторонних лиц о имеющем быть между Вами поединке, и сколь велика прикосновенность их по сему предмету».

Из показаний Дантеса, записанных с его слов Галаховым, было установлено три интересующих следствие и суд обстоятельства. Во-первых, что 27 января поручик Де-Геккерен действительно дрался на пистолетах с камергером Пушкиным, ранил его в правый бок и сам был ранен в правую руку. Во-вторых, что секундантами при дуэли были инженер-подполковник Данзас и чиновник французского посольства виконт д'Аршиак. И, в-третьих, что кроме секундантов о дуэли знал нидерландский посланник барон Геккерен, т. е. приемный отец Дантеса. Помня об особом внимании императора к иностранным подданным, прикосновенным к дуэли, Галахов на следующий же день уведомил об этом командира бригады Мейендорфа, что зафиксировано в протоколах дела.

Аналогичные вопросы были заданы и Данзасу, на которые были также получены аналогичные ответы. На следующий день командир полка кавалергардов Гринвальд (непосредственный начальник Дантеса) письменно ответил на запрос суда, что «...Барон Геккерен считается Арестованным и по случаю раны им полученной на дуэли живет у себя на квартире на Невском проспекте в доме Влодека под № 51. Формулярный и Кондуитный Списки его вслед за сим будут доставлены».

5 февраля комиссия вынесла решение об освидетельствовании Дантеса. В этот же день полковой военный врач Стефанович освидетельствовал Дантеса и нашел, что, несмотря на ранение, «больной может ходить по комнате, разговаривает свободно, ясно и удовлетворительно... От ранения больной имеет обыкновенную небольшую лихо-

радку, вообще же он кажется в хорошем и надежном к выздоровлению состоянии, но точного срока к выздоровлению совершенному определить нельзя».

5 же февраля командир кавалергардского полка направил в военно-судную комиссию требуемые формулярный и кондуктный списки Дантеса о прохождении им службы (о содержании этих списков будет сказано чуть позже). На следующий день, т. е. 6 февраля, Дантес и Данзас впервые предстали перед судом лично. Им, во-первых, было официально объявлено «о произведении над ними военного суда». Во-вторых, от них была отобрана подписка на предмет того (выражаясь современным языком), не имеют ли они отводов в отношении кого-либо из судей: «...при чем спрашиваемы: не имеют ли оне на Презуса, Ассессоров и Аудитора какого показать подозрения...» Далее презус суда, обращаясь к подсудимым, указал им, чтобы те «с пристойным воздержанием дело свое доносили вкратце». После этого они и были допрошены.

Из протокола допроса Дантеса мы узнаем, что ему 25 лет, что воспитывался он во Французском королевском военном училище, веры он римско-католической, «у святого причастия был 7 января 1837 г.», что он из французских дворян, что присяга им была «учинена только на верность службе» (а не России), что имеет имение «за родителями недвижимое в Альзасе» (Эльзасе).

Судей, естественно, интересовал главный вопрос — о причинах и обстоятельствах дуэли. Дантес на допросе объяснил это следующим образом:

«Дуэль учинена мною с Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пушкиным... причина же, побудившая меня вызвать его на оную следующая: в ноябре м-це 1836 года получил я словесный и без причинный Камергера Пушкина вызов на дуэль, который мною был принят; спустя же некоторое время Камергер Пушкин без всякого со мной объяснения словесно просил Нидерландского посланника Барона Д'Геккерена передать мне, что вызов свой он уничтожает, на что я не мог согласиться потому, что приняв без причинный вызов его на дуэль полагал, что честь моя не позволяет мне отказаться от данного ему мною слова; тогда Камергер Пушкин по требованию моему назначенному с моей стороны Секунданту... Д'Аршиаку дал письмо, в коем объяснил, что он ошибся в поведении моем и что он более еще находит оное благородным и вовсе не оскорбительным для

его чести, что соглашается повторить и словесно, с того дня я не имел с ним никаких сношений кроме учтивостей. Генваря 26-го Нидерландский посланник Барон Геккерен получил от Камергера Пушкина оскорбительное письмо, касающееся до моей чести, которое якобы он не адресовал на мое имя единственно потому, что считает меня подлецом и слишком низким. Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Далее Дантес вновь подтвердил уже ранее данные им показания о секундантах и о том, что об обстоятельствах дуэли знал Геккерен-старший, а также о том, что «реляция всего учиненного нами дуэля вручена вышеупомянутым Секундантом моим (т. е. д'Аршиаком. — А. Н.) при отъезде его из Санкт Петербурга Камергеру Князю Вяземскому, который до получения оной о имеющейся между нами дуэли ничего не знал».

Нас, конечно же, более всего интересует искренность показаний Дантеса, его собственная версия о причинах и событиях, предшествовавших дуэли. Не может не интересоваться и то, как военный суд отнесся к его показаниям, согласился ли с ними или отверг их? В связи с этим мы считаем необходимым сопоставить с его версией накопленный историко-литературный материал по следующим вопросам:

1) о «беспричинности» вызова Пушкиным на дуэль Дантеса в 1836 году;

2) о решении Пушкина отказаться от этого вызова и об уступке его в отношении оценки поведения Дантеса и чуть ли не извинении по этому поводу;

3) о том, что Дантес после этого вел себя в отношении Пушкина чуть ли не ангелом.

По всем этим вопросам русскими дореволюционными и советскими пушкинистами собран огромный материал. В связи с этим, исходя из свидетельств современников поэта, мы очень кратко напомним действительное положение, начисто опровергающее показания Дантеса, данные им на допросе. В 1836 году назойливые и откровенные ухаживания Дантеса за женой Пушкина привлекли внимание петербургского света и породили всевозможные толки в его гостиных. Встречаться с Натальей Николаевной и преследовать ее своими ухаживаниями Дантес мог только на светских балах и в гостиных близких Пушкину людей (в первую очередь Карамзиных и Вяземских), куда был вхож и Дантес. Вот, например, как

(в пересказе современника) относилась к этому жена П. А. Вяземского В. Ф. Вяземская (чуть ли не поверенная в личных делах поэта): «Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женой Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена».

4 ноября 1836 года Пушкин получил по почте гнусный анонимный пасквиль (диплом рогоносца) с издевательскими намеками в адрес его самого и его жены. Аналогичные письма, хотя поэт этого еще не знал, были получены и близкими Пушкину людьми. Все они были написаны на французском языке и имели следующее содержание: «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великий Капитул, под председательством высокопочтенного магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена рононосцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Борх». С этого дня для Пушкина начались нестерпимо мучительные дни.

Удар был тем сильнее, что он был безымянным, а следовательно, и ненаказуемым. Произошло неизбежное объяснение Пушкина с женой. По словам П. А. Вяземского, «эти письма... заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветренности, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена... Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием,.. но, обладая горячим и страстным характером, не смог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен...» Тем не менее, доверие жены и ее верность помогли ему выдержать первый удар анонимов.

Однако положение оказалось более трудным. Кроме самого поэта такие же анонимные послания, как стало известно Пушкину, получили еще и Карамзины, Виельгорские, В. А. Сологуб, Е. А. Хитрово, братья Росsetы. При этом у Пушкина не было уверенности в том, что адресатами этих дипломов не оказались и другие из его знакомых. Для него супружеская верность Натальи Николаевны была очевидной, но честь требовала поступков, и

он в тот же день в письме вызвал на дуэль Дантеса. Так обстояло в действительности с тем, что Дантес в своих показаниях военно-судной комиссии назвал «безпричинным вызовом» Пушкина, который был им «принят».

Далее. Что же на самом деле крылось и за показаниями Дантеса о том, что «спустя некоторое время Камергер Пушкин про с и л (разрядка автора. — А. Н.) Нидерландского посланника... передать мне, что вызов свой он уничтожает, на что я не мог согласиться,.. тогда Камергер Пушкин по требованию моему назначенному с моей стороны Секунданту... Д'Аршиаку дал письмо, в коем объяснил, что он ошибся в поведении моем и что он более еще находит оное благородным». Со слов Дантеса все ясно: вызов был плодом воображения безобразно-ревнивого Пушкина, затем он одумался и отказался стреляться и, более того, по требованию Дантеса удостоверял благородство последнего. Здесь и откровенное выпячивание собственной храбрости, и недвусмысленный намек на будто бы не совсем достойное поведение Пушкина. В действительности же искренностью эти показания и не пахли. Более того, на самом деле они от начала до конца являются ложными, хотя и построены на будто бы правдоподобной основе.

Правдоподобность здесь в том, что Пушкин свой вызов и в самом деле отменил, что и подтвердил письменно. Причины же и обстоятельства этого в действительности были совершенно иными. После пушкинского вызова первая просьба поступила как раз от противников. Геккерен-старший опешил от вызова, поскольку представлял себе, что скандал, который неизбежно поднимется вокруг дуэли, сильно повредит как карьере его усыновленного питомца, так и его собственной дипломатической. Письмо Пушкина с вызовом было доставлено в дом нидерландского посланника 5 ноября утром, когда Дантес был на дежурстве в полку. Геккерен-старший распечатал его и как опытный дипломат определил первое и самое главное, что он должен был делать в своих и Дантеса интересах, — это обязательно добиться отсрочки поединка, а уже потом как-нибудь уладить этот вопрос, т. е. добиться отмены дуэли вообще. Геккерен-отец посетил Пушкина с официальным визитом. Он объяснил, что по ошибке распечатал письмо, адресованное его приемному сыну, сказал, что от его имени принимает вызов, но просил отсрочки на 24 часа. Через сутки барон вновь посетил Пушкина и просил у него отсрочки уже на неделю. Вна-

чале Пушкин был непоколебим, но потом хитрый дипломат все-таки сумел разжалобить поэта и тот согласился отсрочить дуэль на две недели.

Расстроить поединок пытались с двух сторон. Помимо Геккеренов самое деятельное участие в этом принимали домашние Пушкина — Наталья Николаевна, ее сестры, а также их покровительница — фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская, которая через брата Натальи Николаевны И. Н. Гончарова привлекла к этому делу Жуковского. Последний немедленно выехал из Царского Села, где он в это время находился, в Петербург и уже 6-го вечером был у Пушкина. В тот же вечер он советовался по этому поводу со своими и Пушкина наиболее близкими друзьями — Виельгорским и Вяземским. На другой день при встрече с Геккереном-отцом Жуковский услышал от него ошеломляющую новость о «любви» его приемного сына к Екатерине Гончаровой (сестре Натальи Николаевны) и о их предполагаемой свадьбе. Геккерен сообщил, что Дантес давно влюблен в Екатерину, что просил его дать согласие на этот брак; но он не соглашался на это, находя этот брак неподходящим. Теперь же, видя, что его упорство может привести к непоправимым и печальным последствиям, он признал свою неправоту и дал такое согласие. Конечно, все это было лишь уверткой от дуэли. Геккерен рассуждал так: если даже Дантесу и придется жениться (хотя от объявления о браке до его заключения он по каким-либо соображениям может и расстроиться), то этот вариант для них обоих все же лучше последствий дуэли. То, что никакой любви со стороны Дантеса к старшей сестре Натальи Николаевны не было и не могло быть, для всех было ясно.

Нидерландский дипломат умело плел сети своих интриг, в которых неизбежно оказался и Жуковский. Барон просил его сочувствия к ситуации, в какой оказался его приемный сын. Теперь, после того как Дантес принял вызов Пушкина, он не может просить руки Екатерины Гончаровой, так как это сочтут предлогом для избежания дуэли. Другое дело, если Пушкин возьмет свой вызов назад. В этом случае Дантес сразу же сделает предложение невесте и тогда честь обоих соперников не пострадает, а дуэль сама собой расстроится. Жуковский признал доводы посланника убедительными и вновь поехал на Мойку к Пушкину, надеясь и его убедить в этом и закончить дело примирением.

Однако Пушкин обо всем этом был совсем другого мне-

ния. Он разгадал всю низость и коварство поведения обоих Геккеренов. В своих «Конспективных заметках о гибели Пушкина» Жуковский так записал события этого дня: «7 ноября... Открытия Геккерена. О любви сына к Катерине... о предполагаемой свадьбе. — Мое слово. Мысль (дуэль) все остановить. — Возвращение к Пушкину. Les revolutions*. Его бешенство... — Свидание с Геккереном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерен у Вьельгорского».

Пушкина привело в бешенство именно стремление Геккеренов (а теперь уже и Жуковского) убедить его в том, что Дантес давно влюблен в Екатерину. Ему стала ясна вся низость поведения Геккеренов. Он понял, что этот ход его противники изобрели для того, чтобы избежать дуэли.

Как вытекает из записей Жуковского, вечером состоялась его вторая встреча с Геккереном, во время которой он сообщил тому, как воспринял новый ход событий Пушкин и о его непримиримости. Форсируя события, Геккерен на следующий день посвятил в свою выдумку о любви Дантеса к Екатерине и Загряжскую. При этом нидерландский посланник постарался убедить ее (как это сделал раньше в отношении Жуковского) в том, что официальное предложение Дантес сможет сделать либо после дуэли, либо в случае отказа Пушкина от нее.

Жуковский и Геккерен продолжали искать выход. Пушкин же был непримирим и твердо решил не отказываться от поединка. По инициативе посланника был придуман новый ход. Необходимо было устроить свидание противников при свидетелях. Во время него Пушкин бы мотивировал свой вызов, а Дантес объяснил бы свое поведение «глубоким» чувством к старшей сестре жены Пушкина — Екатерине. Все это, по замыслу Жуковского и Геккерена, должно было бы закончиться миром. Но старания их были напрасными. Поэт был неумолим и категорически отказался встретиться с Дантесом. Более того, Пушкин 10 ноября заручился согласием В. Соллогуба быть в случае необходимости его секундантом.

Видя, что события могут привести к трагическому исходу, друзья Пушкина взяли инициативу в свои руки. Во время очередной встречи с посланником (11 или 12 ноября) Жуковский предложил ему самому официально объявить Пушкину о том, что Дантес собирается женить-

* откровения, разоблачения

ся на Екатерине Гончаровой, и о его согласии на этот брак. Сам Жуковский пообещал, что при этом история с вызовом будет сохраняться в тайне, и таким образом в соответствии со светскими приличиями честь его сына не пострадает. Геккерен вынужден был согласиться, но потребовал, чтобы при этом Пушкин подтвердил свой отказ от вызова официальным письмом. Кроме Жуковского к примирению призывала и чуть ли не вся семья поэта, умоляя не разрушать такое неожиданное счастье Екатерины. Пушкин был вынужден уступить друзьям и родным. Через посредничество Загряжской он дал согласие на встречу с Геккереном-отцом, которая состоялась у нее на квартире 14 ноября. Посланник подтвердил сообщение Загряжской о том, что оба семейства дали согласие на брак Дантеса с Екатериной, Пушкин же ввиду этого просил считать, что вызова на дуэль не было. При этом Геккерен требовал от поэта письменного отказа от вызова. Жуковскому пришлось приложить немало сил, чтобы добиться этого. 16 ноября Пушкин написал следующую записку: «Господин барон Геккерен оказал мне честь принять от имени своего сына вызов на поединок. Узнав случайно? из общественных толков? что господин Геккерен решил просить о браке его с моей свояченицей, м-ль Е. Гончаровой, я прошу господина барона Геккерена-отца благоволить рассматривать мой вызов как несостоявшийся». Как видно, никакие интриги Геккерена не смогли заставить поэта отклониться от избранной лично им линии поведения. Геккеренов, разумеется, такое письмо не устраивало, и они стали добиваться от Пушкина другого письма. Через своего секунданта д'Аршиака Дантес передал поэту письмо, в котором настаивал на том, чтобы Пушкин изменил свою мотивировку отказа от дуэли. Пушкин категорически отказался это сделать и сказал д'Аршиаку, что на следующий день придет своего секунданта для переговоров уже о месте и времени дуэли. 16 ноября у Карамзиных на торжественном обеде в честь дня рождения Екатерины Андреевны (вдовы писателя и историка) Пушкин сказал Соллогубу: «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь».

На следующий день Соллогуб встретился с Дантесом, который сообщил ему о своем намерении жениться на Екатерине Гончаровой. Соллогуб по молодости и неопытности поверил в его искренность и поехал к Пушкину,

чтобы убедить того в правоте и «благородстве» Дантеса по отношению к своей невесте. Пушкин вновь потребовал, чтобы его секундант отправился к д'Аршиаку и договорился об условиях поединка. Выполняя волю поэта, Соллогуб встретился с секундантом Дантеса, который предъявил ему документы, относящиеся к предстоящему поединку. Среди них были: 1) экземпляр анонимного диплома на имя Пушкина; 2) вызов Пушкина Дантесу после получения диплома; 3) записка Геккерена-отца с просьбой о том, чтобы поединок был отложен; 4) записка Пушкина о том, что он берет свой вызов назад на основании слухов о предстоящей женитьбе Дантеса на его невестке Екатерине. Д'Аршиак настаивал на том, чтобы Пушкин отказался от вызова без каких-либо объяснений, так как они (по вполне понятным причинам) представляли Дантеса в не совсем выгодном свете. По предложению д'Аршиака переговоры были прерваны до трех часов дня с тем, чтобы за это время Соллогуб передал поэту предложения секунданта Дантеса. Однако Соллогуб, помня непримиримость поэта, не решился на это. Пушкин, не получив никаких известий от своего секунданта, пытался найти нового (Клементия Россета, молодого человека, брата близкой приятельницы Пушкина А. О. Россет, человека из окружения Карамзиных), но тот отказался.

Секунданты же, как и условливались, в три часа возобновили переговоры в нидерландском посольстве и наконец выработали условия поединка. Он должен был состояться 21 ноября на Парголово́вской дороге в 8 часов утра. Противники должны были стреляться на десяти шагах (вспомним пушкинское — «чем кровавее, тем лучше»). Покончив с формальной стороной дела, секунданты вновь вернулись к поиску способа примирения обеих сторон. После долгого обсуждения этого вопроса Соллогуб в присутствии д'Аршиака написал Пушкину следующее письмо, в котором сообщал о выработанных условиях поединка и вновь возвращался к возможностям примирения: «...Г-н д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерен окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы, но что, опасаясь, как бы это не приписали желанию уклониться от дуэли, он по совести может высказаться лишь тогда, когда все будет покончено между вами и вы засвидетельствуете словесно в присутствии моем или г-на д'Аршиака (что считая его неспособным ни на какое чувство, противоречащее чести, вы приписы-

ваете его), что вы не приписываете его брака соображениям, недостойным благородного человека...

Не будучи уполномочен обещать это от вашего имени, хотя я и одобряю этот шаг от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это условие, которое примирит все стороны. — Само собой разумеется, что г-н д'Аршиак и я, мы послужим порукой Геккерена. Соллогуб».

Д'Аршиак, прочитав письмо, согласился с его содержанием, и оно было отправлено Пушкину. Получив его, поэт понял, что по сути дела, это была едва ли не полная капитуляция его противника.

17 ноября Пушкин в письме на имя Соллогуба подтвердил свое согласие с просьбой секундантов, но ни на шаг не отступил от своей оценки предсвадебно-дуэльного дела:

«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерена на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела сообразоваться считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Геккерен решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека».

После получения этого письма секунданты сочли дело о дуэли окончанным и поздравили Дантеса как жениха, а Дантес с Геккереном-отцом отправились к Загряжской, где посланник от имени сына сделал официальное предложение Екатерине Гончаровой. 10 января 1837 г. состоялось их бракосочетание. Следовательно, и в части примирения противников показания Дантеса на суде были от начала и до конца ложными. Не Пушкин по своей инициативе отказался от поединка, а Геккерены вынуждены были пойти на все требования поэта и согласиться с формулировкой Пушкина об отказе от дуэли в связи с предстоящей женитьбой Дантеса.

С действительным положением дел следует сопоставить и утверждение Дантеса о том, что с момента примирения он не имел с Пушкиным «никаких сношений кроме учтивостей». На самом деле вовсе не Дантес не имел с Пушкиным «никаких отношений», а Пушкин, несмотря на навязчивость Дантеса, отказался принимать его у себя, а письма возвращал нераспечатанными. Таким образом, не было

«учтивостей», так как не было для них какого-либо повода, при котором они могли бы быть высказаны. Но, кроме Пушкина была еще его жена, в отношении которой Дантес после своей свадьбы вновь возобновил прежнее поведение. Графиня Фикельмон так, например, пишет по этому поводу в своих записках: «Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования». Это подтверждали чуть ли не все свидетели происходящего, в том числе и представители пушкинского окружения (П. А. Вяземский, Н. А. Смирнов).

События неумолимо шли к развязке. Сохранилось свидетельство, что особо вызывающе Дантес вел себя по отношению к Наталии Николаевне 23 января 1837 г. на балу у Воронцовых. Д. Фикельмон в своем дневнике сделала такую запись об этом вечере: «...на одном балу он (Дантес. — А. Н.) так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно». 25 января Пушкин направил нидерландскому посланнику столь оскорбительное письмо, что оно не позволило на этот раз его врагам уклониться от поединка.

Так факты опровергают и ложь Дантеса относительно его «учтвого» по отношению к Пушкину поведения. Напротив, допрошенный почти одновременно с Дантесом Данзас совсем по другому объяснил поведение обоих Геккеренов и их роль в наступлении трагической развязки:

«Г. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обращением с женой его... давать повод к усилению мнения, поносительного для его чести так и для чести его жены» (забегая вперед, скажем, что эта формулировка Данзаса была принята судом и легла в основу многих официальных документов дела).

Служебные характеристики Дантеса, их приобщение к делу

Вернемся, однако, к формулярному и кондуитному спискам Дантеса (они помещены в деле о дуэли сразу же после документа об освидетельствовании его здоровья), так как официальные сведения о нем необходимо также сопоставить с его собственными показаниями, данными на допросе от 6 февраля. Свои биографические данные он в общем сообщил правильно, хотя и здесь не обошлось

без лжи. Как уже отмечалось, на своем допросе он указал, что имеет «за родителями недвижимое в Альзасе». Последнее было явным преувеличением, тем, что мы называем «пустить пыль в глаза». Родной отец Дантеса, и ранее небогатый дворянин, вследствие июльской революции во Франции 1830 года оказался в крайне стесненном материальном положении и в этом отношении надеяться Дантесу было не на что, разве что на родительское благословение. Далее, на допросе он очень скромно сообщил и о своем обучении во французском королевском военном училище. В действительности Дантес пробыл в нем не более года. Опять-таки, как и в случае с наследственным поместьем, июльская революция помешала ему и в этом. В числе других преданных королю учеников, пытавшихся выступить на его защиту, Дантесу пришлось покинуть школу. Во Франции делать ему было нечего и он вынужден был отправиться «на ловлю счастья и чинов» в другие страны. Первым и наиболее доступным вариантом была Германия, где у Дантеса было много немецких родственников. Благодаря им он нашел покровительство у прусского принца Вильгельма (будущего германского императора, бывшего в близких родственных отношениях с Николаем I). Однако, несмотря на такую высокую протекцию, он мог начать карьеру лишь в чине унтер-офицера (по прусским армейским законам недоучка, не кончивший курса в военной школе, не мог претендовать на офицерское звание). Принц посоветовал ему ехать в Россию (где, как известно, к иностранцам, в том числе и недоучкам, были всегда традиционно снисходительны) и дал ему рекомендательное письмо к одному из приближенных Николая I — В. Ф. Адлербергу. Последний занимал в то время должность начальника канцелярии военного министра. Дантес с этой рекомендацией прибыл в Петербург в октябре 1833 года. Рекомендация, разумеется, оправдала себя, о нем было доложено императору, а Адлерберг стал готовить подопечного к офицерским экзаменам. По высочайшему повелению в январе 1834 года Дантес был допущен к ним при Военной академии по программе школы гвардейских юнкеров и подпрапорщиков (при этом он был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставам и военному судопроизводству) и выдержал их. В результате этого 8 февраля 1834 г. был отдан высочайший приказ о зачислении его корнетом в кавалергардский полк³.

Событие это обсуждалось в свете и не прошло мимо

Пушкина. Еще перед сдачей Дантесом экзаменов в своей дневниковой записи от 26 января Пушкин отметил: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Шуанами называли участников контрреволюционного восстания 1793 года, а позже это название применяли и к контрреволюционерам 1830 года (каким, как отмечалось, и был Дантес).

В формулярном списке в отношении его образования сделаны такие записи. В графе «в российской грамоте читать и писать и другие науки знает ли» указано: «по российски, по французски, по немецки, географию и математику»; в кондуитном списке: «хороших способностей ума, имеет знание географии и математики». В отношении знания русского языка запись была сделана авансом, который Дантес никогда не смог оправдать (он и освобожден был от этого экзамена по причине того, что сдать успешно его он не мог). О его математических способностях либо познаниях каких-либо фактических данных не сохранилось. А о знании им географии свидетельствует следующий факт: на экзамене он не мог сказать, на какой реке стоит Мадрид, хотя при этом воскликнул: «Однако ж я в ней поил свою лошадь»⁴. Из формулярного и кондуитного списков судьи могли сделать твердый вывод о том, что Дантес был безусловно образцовым офицером: «Выговоры не получал, в штрафах и арестах не бывал», «в слабом отпращивании обязанностей не замечен», «усерден по службе», «в походах не бывал... но за смотры, учения и маневры удостоился в числе прочих получить высочайшее благословление, объявленное в высочайших приказах». Следует отметить, что высочайшие милости сыпались на Дантеса как из рога изобилия и по возрастающей степени (в 1834 году — 9 раз, в 1835-м — 12, в 1836-м — 15 раз!). Однако впечатление, которое получили судьи от этих официальных документов, вовсе не соответствовали действительному положению вещей. Вот что писал, ознакомившись с архивом полка, историк Кавалергардского полка С. А. Панчулидзе: «Дантес до поступления в полк оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку... 19 ноября 1836 г. отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де-Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе: хотя

я буду сегодня делать репетицию ординарцам, но не менее того... он на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным... на 5 раз». Число всех взысканий, которым подвергался Дантес за три года службы в полку, достигло цифры 44»⁵.

Чем же объяснить столь резкое различие в официальной оценке успехов Дантеса по службе (что должно было приниматься в расчет при вынесении судом ему меры наказания) и фактического положения дел? Это можно объяснить только одним — сверхблагосклонным отношением Николая I к Дантесу.

В свою очередь последнее также объяснимо несколькими причинами.

Во-первых, уже упоминавшаяся рекомендация принца Вильгельма.

Во-вторых, личность Дантеса не могла не понравиться царю и сама по себе. Дантес был легитимистом, т. е. приверженцем «законной» (легальной) династии Бурбонов (в этом смысле термин «легитимизм» стал употребляться после июльской революции во Франции 1830 г., а позднее легитимистами стали называть всякого сторонника свергнутой монархии). Николай сам был приверженцем легитимизма и поэтому французские легитимисты и ранее пользовались поддержкой царя.

Этим объясняется и то, что в послужные списки Дантеса не заносились его многочисленные служебные прегрешения, почему они и не попали в поле зрения судей.

В кондуитном списке в числе заслуг Дантеса было отмечено, что он «в нравственности аттестовался хорошим», что также не соответствует его подлинной характеристике как человека. По крайней мере судьи могли вполне убедиться, что все его поведение по отношению к Наталье Николаевне и самому Пушкину, история его женитьбы, неискренность показаний на суде были далеки от нравственности.

Допрос П. А. Вяземского

7 февраля военно-судная комиссия постановила: через командира полка просить Николая I предоставить в суд находящиеся у него письма, на которые ссылался Дантес; сформулировать вопросы Вяземскому. 8 февраля было вынесено решение о запросе формулярного и кондуит-

ного списков Данзаса. В этот же день аудитор Маслов составил следующие вопросы Вяземскому:

«...откуда реляция (о дуэли. — *А. Н.*) Вами взята? и если дадена, то кем, когда и на какой предмет, кто оную составлял, не имеется ли кроме оной... еще каких-либо бумаг, касающихся до вышеупомянутой дуэли, когда и от кого Вы узнали об оной и неизвестно ли Вам, за что именно произошла дуэль между Камергером Пушкиным и Поручиком Бароном Де Геккереном: ссора или неудовольствие, последствием чего было выше помянутое происшествие».

На поставленные вопросы Вяземский ответил следующим образом:

«...Реляции о бывшей... дуэли у меня нет, но есть письмо Виконта Даршиака, секунданта Барона Геккерена, и вот по какому поводу ко мне писаное. Не зная предварительно ничего о дуэли, про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, и при первой встрече моей с Господином Даршиаком просил его рассказать о том, что было. На сие Господин Даршиак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при том показать письмо Господину Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей помянутой дуэли... отдал письмо сие Господину Данзасу, который возвратил мне оное письмо от себя: прилагаю у сего то и другое... я ничего не знал о дуэли, до совершенного окончания ея... Равномерно не слыхал я никогда ни от Александра Сергеевича Пушкина (единственный документ судебного дела, где поэт назван по имени-отчеству. — *А. Н.*), ни от Барона Геккерена о причинах имевших последствием сие несчастное происшествие».

Конечно же, Вяземский был неискрен в своих показаниях. Во-первых, как уже отмечалось, Дантес был постоянным гостем у Вяземских и Карамзиных и его назойливое ухаживание за женой Пушкина было замечено всеми бывавшими там. Во-вторых, Вяземские были и адресатом анонимного диплома. В-третьих, сохранились мемуарные свидетельства его жены — *В. Ф. Вяземской* об известном свидании Натальи Николаевны с Дантесом на квартире у Идалии Полетики. В-четвертых, последующие письма Вяземского (написанные после смерти поэта, например, к *Э. К. Мусиной-Пушкиной*) свидетельствуют о том, что у него было твердое убеждение в виновности обоих Геккеренов в смерти поэта.

февраля по решению военно-судной комиссии Дантес был освидетельствован тем же штаб-лекарем Стефановичем, который сделал вывод, что подсудимый «может содержаться на Гаубтвахте в особой, сухой и теплой комнате, которая бы, следовательно, ни чем не отличалась существенно от отношении его здоровью от занимаемой им теперь квартиры» (видимо, штаб-лекарь спутал гауптвахту с квартирой модного кавалергарда).

Нессельроде,
нидерландский
посланник,
и пушкинские письма

9 февраля на заседании военно-судной комиссии заносится протокол факт получения от министра иностранных дел графа Нессельроде двух пушкинских писем, на которые ссылался на допросе Дантес, говоря, что они находятся у императора. Это письмо д'Аршиаку от 17 ноября 1836 г. и Геккерену-старшему от 26 января 1837 г. Так, в военно-судном деле появляется еще одно имя, принадлежащее человеку, который силу сверхреакционности своей деятельности, ограниченности отсутствия талантов объективно мог быть лишь врагом поэта. К. В. Нессельроде в течение сорока лет (1816—1856) руководил внешней политикой России. Он был послушным исполнителем воли царя и главную задачу видел в борьбе с революционным движением на Западе. В результате проводимой им крайне недальновидной внешней политики Россия к началу войны 18 1856 гг. оказалась в изоляции, поражение в этой войне показало полную несостоятельность дипломатической деятельности Николая I, и Нессельроде. Примечательно, что поручением государственной службы поэта Нессельроде был его начальником, так как «служил» поэт по иностранному ведомству.

Оба эти письма были направлены нидерландским посланником в числе других документов министру иностранных дел 28 января 1837 г. как оправдывающие, по его мнению, лично его и его приемного сына в дуэльной истории. В сопроводительном письме он пишет:

«Господин граф! Имею честь представить вашему сиятельству прилагаемые при сем документы, относящиеся до того несчастного происшествия, которое вы благоволили

лично подвергнуть на благоусмотрение его императорского величества.

Они убедят, надеюсь, его величество и ваше сиятельство в том, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе, чем он это сделал».

Обращает на себя внимание та уверенность, с которой на допросе Дантес ссылался на самого императора, у которого находились бумаги, по мнению подсудимого, подтверждающие его версию преддуэльных событий. Волей-неволей и Николай I превращается чуть ли не в свидетеля благородных поступков Дантеса. Разумеется, он знал, что его приемный отец направил письма министру иностранных дел для ознакомления с ними императора. И в этом случае Дантес, конечно же, учитывал незаслуженно сыпавшиеся на него царские милости: от не совсем законного принятия в гвардию до высочайших благодарностей, несмотря на чуть ли не постоянные служебные его прегрешения. Ссылка на царя была не чем иным, как средством давления подсудимого на суд.

Кстати, нидерландский посланник очень дорожил этими письмами и впоследствии требовал от Нессельроде их возвращения. Далее в материалах военно-судного дела помещены эти пушкинские письма, а также письма д'Аршиака и Данзаса к Вяземскому, на которые тот ссылался в своих ответах военно-судной комиссии. Первое пушкинское письмо (от 17 ноября 1836 г.) уже приводилось нами для опровержения объяснений Дантеса. Правда, оно называлось письмом к Соллогубу. В материалах судебного дела оно именуется везде письмом к д'Аршиаку, что в общем-то легко объяснимо. Письмо это, как отмечалось, было ответом Пушкина на письмо Соллогуба как секунданта поэта. Пушкин писал Соллогубу, но, по сути дела, для д'Аршиака, так как переговоры об условиях дуэли велись между секундантами.

Письмо же Пушкина нидерландскому посланнику, хотя оно включено во все полные собрания сочинений поэта, мы считаем необходимым привести полностью, так как именно оно, а не версия Геккеренов, сыграло, на наш взгляд, решающую роль в оценке судьями преддуэльных событий (в дальнейшем это будет показано на соотношении содержания данного письма и мотивировочной части приговора по делу о дуэли). Подлинник письма не сохранился (по настоянию Геккерена он был возвращен адресату) и его текст на французском языке и перевод на русский язык во всех изданиях приводится по копии с этого

письма, находящейся в военно-судном деле. Вот его текст:

«Барон!

Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения; я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном.

Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. Повидимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына.

Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать ходу этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь.

Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга.

26 января 1837 г. Александр Пушкин» (10, 620, 882).

Данное письмо являлось переработкой ноябрьских не отправленных поэтом писем (черновики), датированных 17—21 ноября 1836 г. Как известно, к этому времени друзья поэта (Жуковский, Соллогуб) считали, что инцидент с вызовом на дуэль исчерпан, что дуэли не будет. Однако совсем по-другому оценивал сложившееся положение сам Пушкин. Вначале Пушкину казалось, что он победил, что поставил своего соперника в смешное положение, показал всем его трусость, заставил жениться на некрасивой тридцатилетней девице. Однако все оказалось сложнее. Великосветские сплетни объявили случившееся совсем иначе, чем сам Пушкин. Неожиданно для него Дантес опять оказался чуть ли не романтическим героем. В светских гостиных распространилось мнение, что молодой Геккерен решился на такой шаг только лишь потому, что таким образом спасал честь любимой женщины (т. е. Натальи Николаевны).

Версию о благородстве своего приемного сына настойчиво распространял и нидерландский посланник. В своем письме графу Нессельроде от 1 марта 1837 г. он писал о «высококонравственном» чувстве, «которое заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины». Эта версия усилиями ее авторов (Дантес и нидерландский посланник) разошлась по всем аристократическим салонам столицы. Увы, она утвердилась и в салоне Карамзиных, где во всей этой истории сочувствовали не Пушкину, а Дантесу, где последнего, как и нидерландского посланника, принимали, жалели, а поведение поэта не одобряли. Так же относились к случившемуся и другие близкие друзья поэта. Вяземский утверждал, что он «закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных». Жуковский «осуждал» поэта и как ни в чем не бывало у тех же Карамзиных встречался по-дружески с Дантесом и Геккереном-старшим на глазах у Пушкина. Все это свидетельствует о том, что в самые трудные для поэта дни, предшествовавшие роковой дуэли, он был страшно одинок, и эта сплетня и клевета вокруг его имени и имени его жены нисколько не прекратилась в связи с женитьбой Дантеса. Как была права А. Ахматова, когда, подводя споры пушкинистов о причинах дуэли, утверждала, «что дуэль произошла оттого, что геккеренов-

ская версия взяла верх над пушкинской и Пушкин увидел свою жену, т. е. себя опозоренным в глазах света».

Будучи уверенным, что анонимные дипломы исходили от Геккеренов и что всем поведением Дантеса направлял его приемный отец (об истоках такой уверенности мы скажем при комментировании официальной, судебной версии роли нидерландского посланника в преддуэльной истории), поэт, думая, что поставил Дантеса в двусмысленное положение в свете, решил расправиться не только с Дантесом, но и с Геккереном-старшим. В. Соллогуб вспоминает, что через несколько дней после, так сказать, состоявшегося примирения Пушкин сказал своему секунданту: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне старичка подавайте». Письмо это и было первоначальным вариантом цитированного выше письма от 26 января 1837 г. Усилиями друзей дело тогда удалось уладить, и Пушкин в ту пору не отослал это письмо. С точки зрения доказательственно-судебной январское письмо Пушкина нидерландскому посланнику является одним из важнейших официальных судебных документов по делу о дуэли, так именно оно, а не показания Дантеса, послужило более или менее приближенному к истине представлению о причинах дуэли и сопутствовавших ей обстоятельствах, которое легло в основу обвинительного вердикта. Не страсть к Екатерине Гончаровой, как это пытались вначале утвердить во мнении света Геккерены, а их стремление спасти собственную, так счастливо для них начавшуюся карьеру в России, вынудила Дантеса жениться («я заставил вашего сына играть роль столь жалкую»). В свете этого письма понятны и поводы для написания столь оскорбительного для нидерландского дипломата и его приемного сына письма, послужившего непосредственным поводом к роковой дуэли (по получении этого письма 26 же января Геккерен-старший послал Пушкину вызов: в связи со своим официальным положением дипломата — от имени Дантеса). Повод написания письма один — по-прежнему сверхбесцеремонное приставание Дантеса к Наталье Николаевне и по-прежнему сводническая роль в этом Геккерена-отца.

Исследователей всегда занимал вопрос, почему Пушкин направил свое оскорбительное письмо все-таки Геккерену-старшему и откуда у него была уверенность в том, что тот приложил свою руку к написанию гнусных дипломов? Пушкин знал, что драться ему придется с Дантесом, так как дипломатическое положение нидерландского послан-

ника избавляло того от необходимости самому выйти к барьеру. Поэтому это письмо было ударом по обоим Геккеренам. Кроме того, Пушкин был прекрасно осведомлен о своднической роли приемного отца Дантеса (что, как это в дальнейшем будет показано, найдет свое отражение и в официальных материалах военно-судного дела). И самое главное, у Пушкина были веские основания подозревать нидерландского посланника в авторстве присланного ему гнусного диплома. На последнем обстоятельстве мы считаем необходимым остановиться, так как в ходе судебного следствия по делу о дуэли предпринимались робкие попытки установить анонима.

По этому вопросу поэт советовался со своим лицейским товарищем М. Л. Яковлевым. Последний, будучи директором типографии, прекрасно разбирался в сортах бумаги. Рассматривая диплом, он пришел к выводу, что бумага «иностранныго происхождения», что на нее установлена высокая пошлина, а пользуются ей только иностранные посольства. То, что Пушкин разделял это мнение, свидетельствует и его неотправленное письмо от 21 ноября 1837 г. Бенкендорфу. В нем он писал по этому поводу: «По виду бумаги, по слогу письма (имеется в виду анонимный диплом. — А. Н.), по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Определенные сведения об авторе диплома Пушкину могли дать и выбранные отправителем адресаты этих писем. В Соллогуб в своих мемуарах отмечал, что «письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка...» Таким образом, речь шла не о всех друзьях Пушкина, а о связанных с домом Карамзина, т. е. тех людях, на глазах которых и развивались преддуэльные события, «режиссером» и наблюдателем которых и был нидерландский посланник. На то, что составителем гнусного диплома был человек, причастный к карамзинскому кружку, могла свидетельствовать поэту и такая деталь. Сама по себе забава рассылать подобного рода дипломы для светской «золотой» молодежи была делом обычным. Тот же Соллогуб вспоминает, что в 1836 году кто-то из иностранных дипломатов привез в Петербург из Вены печатные образцы подобных «дипломов», один из которых, бывший печатным образцом присланного Пушкину и его друзьям, показал Соллогубу, как было отмечено, д'Аршиак. Следует отметить, что С. Л. Абрамович справедливо указывает на одно обстоятельство, существенно отличавшее пушкинский диплом от его печат-

ного образца. «Гнусный шутник», списывая с безликого образца текст, который можно было адресовать любому обманутому мужу, сделал при этом одну приписку от себя. Он назвал поэта не только заместителем Великого магистра Ордена рогоносцев, но и *историографом* ордена. Этого слова, конечно, не было в печатном бланке. Оно имеет совершенно определенный прицел и могло быть адресовано в Петербурге только одному человеку — Пушкину... Самая мысль о подобной приписке могла возникнуть у того, кто был как-то причастен к карамзинскому дому, с его атмосферой культа покойного историографа»⁶.

Думается, что все эти детали, так сказать, формального характера, были для Пушкина дополнительным, а не главным доказательством авторства Геккерена. Разумеется, что основной уликой для него была не бумага, не почерк, а сама рука, направлявшая все преддуэльные события, выдававшая человека, способного на дипломатически-светские интриги. Интересно, что вначале окружавшим поэта была непонятна его уверенность в авторстве Геккерена-старшего. Так, в феврале 1837 года Вяземский от имени друзей Пушкина писал: «Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым». В письме же к О. А. Долгоруковой, написанном чуть позже, Вяземский уже уверен в его вине в отношении составления гнусного диплома и сожалеет лишь об отсутствии юридических доказательств этого.

Некоторым косвенным подтверждением фактического авторства или участия в нем нидерландского посланника свидетельствует его письмо к Дантесу, написанное во время судебного процесса по делу о дуэли: «Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная; сколько я помню, на одной печати имеется посередине следующей формы «А» со многими эмблемами вокруг «А». Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради бога будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка». Для А. С. Полякова, опубликовавшего этот документ на языке подлин-

ника, он послужил доказательством непричастности Геккерена к пасквилю⁷.

Напротив, на П. Е. Щеголева эта записка произвела «странное впечатление какого-то воровского документа, написанного с специальными задачами и понятного только адресату»⁸.

Нам кажется, что у Щеголева были основания для такой характеристики этого письма. Оно сразу же наводит на мысль о пословице — «на воре шапка горит». Не может не броситься в глаза стремление опытного дипломата и ловкого интригана зафиксировать некоторые детали как бы «для протокола». С одной стороны, Геккерен говорит о внешних деталях письма. С другой — как бы предreshая вопрос о причинах такой осведомленности, старается уверить (адресата ли?) в том, что он ни в чем не уверен (не успел разглядеть?). К тому же «невинный» вопрос своему приемному сыну о том, для чего ему нужны эти сведения? Как будто дипломат не знает, что его приемный сын находится под следствием и судом и обязательно будет допрошен и по этому вопросу.

В качестве своей защиты от приписываемого ему авторства диплома Геккерен выдвигал оправдательный тезис о том, что у него (как и у Дантеса) не было и не могло быть мотивов для написания шутовского пасквиля. В письме к Нессельроде от 1 марта 1837 г. он писал по этому поводу: «В чьих же интересах можно было бы прибегнуть к этому оружию, оружию самого низкого из преступников, отравителя?.. Мой сын, значит, тоже мог бы быть автором этих писем? Спрошу еще раз: с какой целью? Разве для того, чтобы добиться большего успеха у г-жи Пушкиной, для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставляя ей другого исхода, как погибнуть в глазах света отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины».

Оставим в стороне высокомерный и выпендренный стиль автора, привлекающего внимание к «высокой» нравственности и «благородству» его приемного сына. Мотивы и у отца и у сына были вполне достаточные. Дантес пустился в назойливые и неприкрытые ухаживания за женой Пушкина с целью приобрести репутацию романтического героя, покоровшего красавицу Петербурга. Дипломат и интриган Геккерен как мог помогал ему в этом, побуждая жену поэта «изменить

своему долгу», но, как известно, Дантес получил отказ. Этого интриганы простить не могли. Логика их намерений по отношению к Н. Н. Пушкиной проста: ты отвергла блестящего кавалергарда, ты верна мужу, так получай!

Думается, что не случайно Александр Карамзин в письме к своему брату Андрею от 13 марта 1837 г. сопоставляет два обстоятельства: когда «Дантес... хворал грудью... Старик Геккерен уверял м-м Пушкину, что Дантес умирает от любви к ней, заклинал спасти его сына, потом стал грозить местию, а два дня спустя появились анонимные письма...»

Естественно предположить, что эти письма и были местию Наталье Николаевне.

Удар рассылкой анонимных дипломов был, конечно же, очень сильный и вместе с тем (именно здесь и чувствуется рука дипломата-интригана) едва ли не полностью безопасный для отправителей.

Диплом — анонимный, а за анонимные оскорбления не вызывают к барьеру — вызывать некого!

Таким образом анонимный диплом выполнял сразу две задачи. Во-первых, был местию по отношению к жене Пушкина и к нему самому. И, во-вторых, отводил подозрения от Дантеса.

Материалы военно-судного дела как источник сведений о самой дуэли

Вернемся, однако, непосредственно к официальным документам военно-судной комиссии. Далее в деле помещены письма д'Аршиака и Данзаса Вяземскому, приобщенные в качестве судебных доказательств. При этом письмо д'Аршиака является главным источником, из которого сегодня мы знаем о фактических обстоятельствах и деталях самой дуэли:

«...В 4¹/₂ часа прибыли мы на место свиданья, весьма сильный ветер, который был в это время, принудил нас искать прикрытия в небольшом сосновом леску. Множество снега мешало противникам, то мы нашлись в необходимости прорыть тропинку 20 шагах, на концах которой они встали. Когда барьеры были назначены шинелями, когда пистолеты были взяты каждым из них, то полковник Данзас дал сигнал подняв шляпу. Пушкин в то же время был

у своего барьера когда барон Геккерен сделал 4 шага из 5-и, которые ему оставались до своего места. Оба соперника приготовились стрелять, спустя несколько выстрел раздался, — Господин Пушкин был ранен, что он сам сказал, упал на шинель которая была вместо барьера и остался недвижим лицом к земле. Секунданты приблизились он до половины приподнялся и сказал: погодите... оружие, которое он имел в руке, было покрыто снегом, он взял другое; я бы мог на это сделать возражение, но знак барона Жоржа Геккерена меня остановил; Г-н Пушкин, опершись левою (рукою. — А. Н.) об землю, прицелил твердою рукою выстрелил. Недвижим с тех пор как выстрелил Барон Геккерен раненой так же упал.

Рана Г. Пушкина была слишком сильна, чтобы продолжать дело было кончено. Сново упавши после выстрела, он имел раза два полуобморока, и несколько мгновений помешательства в мыслях...

В санях, сильно потрясаем во время переездки более половины версты, по самой дурной дороги — он мучился не жалуясь...»

Время не пощадило места дуэли. Оно обозначено скромным, но достойным отмеченного им события гранитным обелиском с пушкинским профилем и надписью: «Здесь на Черной речке 27 января (8 февраля) 1837 г. великий русский поэт А. С. Пушкин был смертельно ранен на дуэли». Однако сегодня здесь трудно представить себе обстановку случившегося в один из последних январских дней 1837 года. Небольшой сквер зажат с одной стороны линией железной дороги, по которой время от времени несутся электрички (за железной дорогой вплотную возвышаются жилые дома). С другой стороны, пожалуй, еще более оживленное шоссе, забитое автотранспортом. В связи с этим буквально топографическое описание места дуэли, погоды, при которой она совершалась, и через полтора столетия позволяет нам более зримо вообразить условия наступления трагической для нашей культуры развязки. И в этом мы должны быть обязаны автору этого письма.

Следует, однако, отметить, что д'Аршиак сделал явную попытку бросить тень на репутацию умершего поэта. Ознакомленный с этим письмом Данзас пишет Вяземскому:

«Истина требует, чтобы я не пропустил без замечания некоторые неверности в рассказе д'Аршиака...

...действительно я подал ему пистолет в обмен того,

который был у него в руке и ствол которого набился снегом при падении раненого: но я не могу оставить без возражения заключение Д'Аршиака будто он имел право оспаривать обмен пистолета и был задержан в этом знаком со стороны г-на Геккерена... Обмен пистолетами не мог дать повод во время поединка ни к какому спору. Пистолеты были с пистонами, следовательно осечки быть не могло: снег, забившийся в дуло пистолета Александра Сергеевича усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его; никакого знака со стороны Г-на Д'Аршиака ни со стороны Г-на Геккерена подано не было. Что до меня касается, я почитаю оскорбительным для памяти Пушкина предположение будто он стрелял в противника своего с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета было.

Для истины рассказа прибавлю также на это выражение: (неподвижен после выстрела своего Барон Геккерен был ранен и упал также). Противники шли друг на друга грудью, когда Пушкин упал, то Г. Геккерен сделал движение к нему; после слов же Пушкина, что хочет стрелять, он возвратился на свое место, став боком и прикрыв грудь свою правую рукой. По всем другим обстоятельствам я свидетельствую истину показаний Г. Д'Аршиака».

Разумеется, что нас не может подкупить трогательная забота лицейского товарища Пушкина о его посмертной репутации. Расхождения в показаниях секундантов касаются трех обстоятельств. Во-первых, были ли нарушены дуэльные формальности? Во-вторых, если да, то влекло ли это неблагоприятные последствия для противной стороны (Дантеса)? И в-третьих, в самом ли деле один из секундантов пытался не допустить указанных нарушений, но не сделал этого ввиду «благородного» жеста Дантеса? На первые два вопроса вполне компетентно и убедительно ответил упоминавшийся уже историк кавалергардского полка С. Панчулидзе. По его мнению, «замена пистолетов, раз они взяты в руки противника, не допускается». Однако и он считал, что эта замена не ставила и не могла поставить противника в невыгодное положение. «Данзас прав, что снег, набившись в дуло пистолета Пушкина, мог на морозе только усилить... удар выстрела, а не ослабить его». Таким образом д'Аршиаку не было надобности вмешиваться в ход дуэли, так как интересы дуэлянта, чьим секундантом он был, задеты или ущемлены не были. Кроме того, нас не может не убеждать и та настойчивость пря-

модушного по воспоминаниям современников Данзаса, с которой тот категорически отмечает самую возможность попытки секунданта Дантеса будто бы вмешаться в ход поединка.

Уже в советское время был опубликован документ (отсутствовавший в военно-судном деле), юридически закреплявший условия рокового поединка:

«Условия дуэли между г. Пушкиным и г. бароном Жоржем Геккереном

1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.

3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях: противники ставятся на то же расстояние в двадцать шагов: сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременно посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Нижеподписавшиеся секунданты этого поединка, облаченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, свою честью строгое соблюдение изложенных здесь условий.

Константин Данзас,
инженер-подполковник

Виконт д'Аршиак,
атташе французского посольства»⁹.

Условия эти Данзас привозил Пушкину, но тот, по его словам, даже не пожелал ознакомиться с их содержанием. Документ этот, во-первых, вполне согласуется с показаниями секундантов, данными ими на допросах в военно-судной комиссии, а во-вторых, соответствует настроению Пушкина на жестокий поединок, результатом которого могла быть смерть кого-либо из противников (вспомним пушкинское «чем кровавее, тем лучше»).

Приобщенные к делу служебные характеристики Данзаса

В определенной степени порукой истинности показаний Данзаса для следствия и суда могли служить его официальные характеристики, данные в формулярном и кондуитном списках секунданта поэта, приобщенных к судебному делу. В графе «каков в нравственности» записано: «отлично-благороден». Каким же действительно нравственным авторитетом необходимо было обладать офицеру, чтобы николаевский служака так по-человечески тепло охарактеризовал бы своего офицера в официальном документе! О том, что это был настоящий боевой офицер, свидетельствуют записи о его участии в боевых действиях против персов и турок, о ранении в левое плечо ружейной пулей навывлет, «с раздроблением нижней части лопаточной кости», о награждении его и орденами, и золотым оружием с надписью «За храбрость». Так что по человеческим качествам и по части боевой закалки и опыта пушкинский секундонт мог дать Дантесу не сто, а тысячу очков вперед. И лишь в одном он серьезно уступал ему — монаршьи милости не только не сыпались на Данзаса, но, напротив, его императорское величество скорее всего испытывало неудовольствие личностью храброго и честного офицера. Об этом свидетельствует и его направление в 1838 году за нелады с начальством в действующую армию на Кавказ (в тот самый Тенгинский полк, где под его началом служил М. Ю. Лермонтов) и постоянные препятствия в продвижении по службе, за что он даже получил от товарищей шутовское прозвище «вечного полковника» (генеральский чин он получил лишь при выходе в отставку). Разумеется, что лицейское прошлое Данзаса (а для царя лицей был лишь заведением, которое дало России неприрученного им Пушкина и нескольких декабристов) являлось совсем не лучшей рекомендацией в глазах Николая I.

Последние допросы участников дуэли и противоречия в их показаниях

10 февраля Дантес в третий раз был допрошен. По сути дела, судебное следствие решило уточнить два обстоятель-

ства, и в числе других подсудимому были заданы следующие вопросы: «...в каких выражениях заключались письма, писанные Вами к Г-ну Пушкину или его жене, которые в письме им написанном к Нидерландскому Посланнику Барону Геккерену, называет дурачеством? Какие именно были условия дуэли и на чьих пистолетах стрелялись Вы».

Разумеется, что Дантес продолжал свою линию поведения, которая заключалась в отрицании им своего поведения как провоцировавшего дуэльный вызов Пушкина. На эти вопросы он ответил следующим образом:

«...Посылая довольно часто Г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость как мужа... пистолеты из коих я стрелял были вручены мне моим Секундантом на месте дуэли; Пушкин же имел свои... выше помянутые записки и билеты были мной посылаемы к Г-же Пушкиной прежде нежели я был женихом».

Совсем по-иному поведение Дантеса и его приемного отца оценил на допросе от 11 февраля Данзас:

«... когда Г-н Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он (Пушкин. — А. Н.) однако ж непременно условием требовал от Г-на Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Не взирая на сие Гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести так и для чести его жены. Дабы положить сему конец он написал 26 января письмо к Нидерландскому Посланнику, бывшее причиною вызова Г. Геккерена. За сим Пушкин собственно для моего сведения прочел и самое письмо, которое вероятно было уже известно Секунданту Г. Геккерена...»

Как видно, лицейский товарищ поэта уже прямо обвиняет не только Дантеса, но и его приемного отца в создавшейся накануне дуэли ситуации и обращает внимание на их недостойное отношение к жене Пушкина и после женитьбы Дантеса. На следующий день, т. е. 12 февраля произошел четвертый допрос Дантеса и уже в постановке вопроса, сформулированного военно-судной комиссией подсудимому, видно, что судьи приняли за истину показания Данзаса и согласились с его трактовкой преддуэльных событий и поведения Дантеса, спровоцировавшего, по их

мнению, вызов Пушкиным наглого кавалергарда. Дантесу был задан следующий вопрос:

«...не известно ли вам, кто писал в ноябре месяце и после того к Г. Пушкину от неизвестнаго (имеются в виду анонимные. — А. Н.) письма и кто виновники оных, распространили ли вы нелепые слухи, касающиеся до чести жены его, вследствие чего тогда же он вызвал вас на дуэль, которая не состоялась потому, что вы предложили ему жениться на его свояченице, но вместе с тем требовал от вас, чтоб не было никаких сношений между двумя вашими семействами. Несмотря на сие вы даже после свадьбы не переставали дерзко обходиться с женою его, с которою встречались только в свете, давали повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести жены его, что вынудило его написать 26 Генваря письмо к Нидерландскому Посланнику, бывшее причиною вызова вашего на дуэль».

В постановке вопроса отметим лишь несколько моментов. Во-первых, суд пытался установить авторство анонимных писем, полученных Пушкиным в ноябре (дипломы рогоносца), а также более поздних (не сохранившихся). Во-вторых, суд исходил из того, что именно эти письма явились поводом к ноябрьским дуэльным событиям. В-третьих, судьи взяли за основу оценки этих событий их трактовку самим Пушкиным в его письме к нидерландскому посланнику (январь 1837 г.) и его лицейским товарищем Данзасом (стоит только обратить внимание на дословное совпадение некоторых предложений, формулирующих вопросы военно-судной комиссии Дантесу, и фраз из предыдущего допроса Данзаса).

Разумеется, сам Дантес в своем ответе все отрицал:

«Мне неизвестно, кто писал к Г. Пушкину безимьянные письма в ноябре месяце и после того, кто виновники оного, слухов нелепых касающихся до чести жены его я никаких не распространял, а несогласен с тем, что я уклонился от дуэли предложением моим жениться на его свояченице... что же касается до моего обращения с Г-жою Пушкиной не имея никаких условий для семейных наших сношений я думал, что был в обязанности кланяться и говорить с нею при встрече в обществе как и с другими дамами... К тому же присовокупляю, что обращение мое с нею заключалось в одних только учтивостях... и не могло дать повода к усилению поносительного для чести обоих и написать 26 Генваря письмо к Нидерландскому Посланнику».

Как видно, линия поведения Дантеса прежняя — все отрицать. К этому времени военно-судная комиссия пришла к выводу, что она разобралась в существе дела и степени вины каждого из подсудимых, и 13 февраля вынесла определение об окончании дела:

«Комиссия военного суда... определила привести оное (т. е. дело о дуэли. — *А. Н.*) немедленно к окончательному решению, сочинить из него выписку, прибрать приличные к преступлению подсудимых законы, на основании оных заключить Сентенцию, с подсудимых... в том, что им при производстве суда сего никаких пристрастных допросов чинено не было, взять на основании Указа 6 ноября 1804 года подписку, о прикосновенности иностранных лиц, о мере прикосновенности их составить особую записку и потом дело представить на благоусмотрение по команде».

Документ этот составлен в соответствии с действовавшим тогда уголовно-процессуальным законодательством. Однако далее в деле помещена не выписка из дела, предшествовавшая сентенции или приговору, а совсем другой документ, представляющий известный интерес не только доказательственного плана, но и в уточнении некоторых преддуэльных событий и их трактовке военной-судной комиссией по делу о дуэли.

Особое мнение аудитора военно-судной комиссии

Следователь и судьи считали, что дело подлежит завершению вынесением приговора подсудимым. Однако аудитор Маслов был другого мнения. Он подал официальный рапорт в военно-судную комиссию, и она, изучив его, вынесла определение:

«О заслушивании в комиссии рапорта Аудитора Маслова о том, что он считает неизлишним истребовать от вдовы Камергерши Пушкиной некоторые объяснения, а как Комиссия при слушании вчерашнего числа дела имела оные в виду, нашла дело довольно ясным, то дабы без причин не оскорблять Г-жу Пушкину требованием изложенных в рапорте Аудитора Маслова объяснений, определила приобщив помянутый рапорт к делу, привести оное к окончанию...»

Тем не менее, ознакомимся с доводами самого аудитора. Свое предложение допросить Наталью Николаевну он обосновал следующими соображениями.

«... 1-е Не известно ли ей какие именно безимьянные письма получил покойный Муж ея, которые вынудили его написать 26 числа Минувшего Генваря к Нидерландскому Посланнику Барону Геккерену оскорбительное письмо, послужившее как по делу видно причиною к вызову подсудимым Геккереном его Пушкина на дуэль. 2-е Какие подсудимый Геккерен, как он сам сознался, писал к Ней Пушкиной письма или записки кои покойный муж ея в письме к Барону Геккерену от 26 Генваря называет дурачеством; где все сии бумаги ныне находятся, равно и то письмо, полученное Пушкиным от неизвестного еще в ноябре месяце... и 3-е Из письма умершего подсудимого Пушкина видно, что Посланник Барон Геккерен, когда сын его подсудимый Геккерен по болезни был содержан дома говорил жене Пушкина, что сын его умирает от любви к ней и шептал возвратить ему его, а после уже свадьбы Геккерена... они Геккерены дерзким обхождением с женою его при встречах в публике давали повод к усилению поносительного для чести Пушкиных мнения. Посему я считал бы нужным о поведении Гг. Геккеренов в отношении обращения их с Пушкиной взять от нея такие объяснения. Если Комиссии военного суда неблагоугодно будет истребовать от вдовы Пушкина по вышеуказанным предметам объяснения, то я всепокорнейше прошу, дабы за упущение своей обязанности не подвергнуться мне ответственности рапорт сей приобщить к делу для видимости высшего начальства».

Тревога аудитора о своей ответственности была не напрасной. В соответствии со ст. 8 петровского Краткого изложения процессов или судебных тяжб им строго предписывалось: «Также надлежит притом аудитору накрепко смотреть, чтоб каждого, без рассмотрения персон, судили и самому не похлебствовать никому, но сущею правдою в деле поступать и тако быть посредственником между челобитчиком и ответчиком. А ежели он напротив в неправомерном приговоре похлебствен причинитца, то сверх лишения чина его, надлежит ему еще иное жестокое учинить наказание». Вместе с тем следует отметить, что опасения аудитора по делу подвергнуться ответственности имели не только формально-правовые основания, но справедливо, по его мнению, вытекали и из фактических обстоятельств дела. Чувствуется, что аудитор был достаточно поднаторевший в судебных делах чиновник и он вполне профессионально обратил внимание на ряд пробелов судебного следствия. Во-первых, он был единственным, кто

обратил внимание на то, что в деле отсутствует пресловутый анонимный диплом, который должен был бы стать одним из главных документов в этом процессе. Во-вторых, он настойчиво обращает внимание суда на то, что позднее Пушкин получал и другие оскорбительные анонимные письма, и делает попытку выяснить что-либо по этому вопросу. И, в-третьих, по нашему мнению, аудитор лично пришел к убеждению о виновности Дантеса, но он обеспокоен тем, достаточно ли судебных доказательств его вины. В связи с этим аудитор и указывает на пути (способы) собирания новых дополнительных доказательств, которые, по его мнению, должны усилить виновность подсудимого. Именно поэтому Маслов и настаивает на допросе вдовы поэта. Кроме того, как нам представляется, особенно важным следует считать попытку аудитора усилить доказательства вины старшего Геккерена, его своднической и подстрекательской роли в преддуэльных событиях. Не может нас не подкупать и то, что в своих убеждениях незначительный по своему официальному положению судейский чиновник исходит из позиции самого погибшего поэта, изложенной им в письме к нидерландскому посланнику.

Военно-судная комиссия, как отмечалось, отклонила ходатайство аудитора, сославшись при этом на две причины. Первая — достаточная ясность по делу и без дополнительных документов и данных; вторая — нежелание причинять лишние моральные страдания вдове поэта. Заслуживающую внимания правовую и этическую оценку расхождений по этому вопросу между членами суда и аудитором дал С. Панчулидзе:

«В данном случае и аудитор и комиссия были — с разных точек зрения — правы. Закон, конечно, был всецело на стороне аудитора, здравый смысл — порядочность — на стороне судей. Аудитор Маслов был, как и все аудиторы того времени, выслужившийся писарь, судьи же, по своему рождению, воспитанию и службе, принадлежали к тому самому Петербургскому обществу, к которому принадлежали и Пушкин и Геккерены; точки зрения аудитора и судей на обстоятельства дела были разные.

Была дуэль — т. е. с точки зрения действовавшего закона и аудитора Маслова было совершено преступление. С точки же зрения порядочности и судей — совершено деяние, в данном случае безусловно неотвратимое. Один из противников, смертельно раненный, уже умер, мало того, убитый — гениальный поэт, слава своей родины. Вся-

кое копание в его личном прошлом, или прошлом его жены, могло бы только так или иначе набросить тень на едва закрытую могилу... Получился бы грандиозный скандал, но не лишний субъект наказания. И судьи поторопились заявить, что все им ясно, и что у них для вынесения приговора достаточно данных».

Соглашаясь в целом с такой трактовкой указанных расхождений, хочется возразить историку кавалергардского полка в части противопоставления им позиций «писаря» и офицеров-кавалеристов по этическим соображениям. Конечно же, здесь чувствуется кастовое пренебрежение, барство бывшего кавалергарда к «служивому судейскому». Не в силу своих низких моральных критериев, уступающих светским приличиям, аудитор настаивал на допросе жены поэта, а будучи серьезно озабочен тем, что официальных доказательств вины барона может не хватить для серьезного приговора и убийца поэта отделается легким наказанием, «отвертится» от правосудия (что, увы, в конечном счете и произошло). Так и хочется видеть этого скромного чиновника в числе действительно переживавших смерть поэта как национальную трагедию, и уже в этом бывших нравственно несравненно выше многих представителей одного с Пушкиным и его убийцей общества. Думается, что именно о таких, как аудитор Маслов, писала с удивлением своему брату С. Карамзина: «В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пушкину. Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу: говорят, в этот день у них перебывало более 20 000 человек: чиновники, офицеры, купцы — все шли в благоговейном молчании, с глубоким чувством — друзьям Пушкина было отраднo это. Один из этих неизвестных сказал Россети: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали...» И вообще это второе общество проявляет столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он сейчас».

Мог ли Данзас предотвратить дуэль?

15-го же февраля военно-судная комиссия рассмотрела рапорт Данзаса, представленный им на имя презуса суда Бреверна, из которого он объясняет, каким образом он

стал секундантом Пушкина. Ссылаясь на копию с письма Пушкина д'Аршиаку, полученную им от Вяземского, Данзас пишет:

«Содержание сего письма ясно доказывает, что утром в самый день поединка Пушкин не имел еще секунданта. Полагая, что сие может служить к подтверждению показаний моих, что я предварительно до встречи с Пушкиным 27 января ни о чем не знал, я считаю необходимым представить сию Копию в Военно судную Комиссию для сведения. К пояснению обстоятельств, касающихся до выбора Секунданта со стороны Пушкина прибавлю я еще о сказанном мне Г. Д'Аршиаком после дуэли: т. е. что Пушкин на кануне несчастного дня у Графини Разумовской на бале предложил Г-ну Мегенсу* находящемуся при Английском Посольстве быть свидетелем с его стороны, на что последний отказался. Соображая ныне предложение Пушкина Г-ну Мегенсу, письмо к Д'Аршиаку и некоторые темныя выражения в его разговоре со мной когда мы ехали на место поединка, я не иначе могу пояснить намерения покойного, как тем что по известному мне и всем знавшим его коротко, высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу, никого из соотечественников; и только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился наконец искать меня, как товарища и друга с детства, на самопожертвование которого он имел более права считать. После всего что я услышал у Г. Д'Аршиака из слов Пушкина вызов был со стороны Г. Геккерена. Я не мог не почитать избравшего меня в свидетели тяжко оскорбленным в том что человек ценит дороже всего в мире: в чести жены и собственной: оставить его в сем положении показалось мне невозможным, я решился принять на себя обязанность Секунданта».

И в этом документе самым трогательным является стремление лицейского товарища Пушкина подчеркнуть благородство поэта, его стремление не вовлечь своих друзей в опасную для их карьеры дуэль. Дело в том, что Пушкин оказался действительно в затруднительном положении. Отказ англичанина вынудил его написать 27 января д'Аршиаку письмо, в котором он допускал даже следующее: «Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне

* Медженис Артур Чарль — советник английского посольства в Петербурге.

секунданта; я заранее его принимаю, будь то хоть бы его ливрейный лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским, обычаям этого достаточно». И только, как отмечает Данзас в своем рапорте, когда Пушкин «вынужден был к тому противниками», он обратился за помощью в этом деле к Данзасу.

Известно, что друзья и близкие поэта обсуждали вопрос о том, мог ли Данзас воспрепятствовать дуэли. Кстати, его до конца жизни сопровождал этот укор: «почему он не предотвратил дуэль?» Однокашник Пушкина и Данзаса по лицу сановник М. Корф (недружелюбно относившийся к поэту) писал: «В последнее время он приобрел особенную известность, был секундантом в печальной дуэли Пушкина». Лучше всего на этот вопрос ответил один из самых близких друзей поэта П. Нащекин («Войныч»). «Данзас мог только аккуратнейшим образом размерить шаги до барьера, да зорко следить за соблюдением законов дуэли, но не только не сумел бы расстроить ее, но даже обидел бы Пушкина малейшим возражением». Будем же и мы судить об этом с позиций нравственных законов того времени. Данзас близко к сердцу принял личную трагедию и обиду поэта (как свою собственную). При этом сила авторитета Пушкина и сила его влияния на Данзаса были таковы, что тот в принципе не смог бы отказать ему в просьбе («обидел бы Пушкина малейшим возражением») или попытаться бы как-то воспрепятствовать намерениям поэта. Проявим же снисходительность к лицейскому товарищу Пушкина. Насколько же легче душевно было поэту в минуты своего смертельного ранения от того, что рядом с ним находился и сопровождал его в последний раз в жизни к себе домой близкий ему человек. Данзас был единственным из лицейских товарищей поэта, который находился с ним в последние минуты его жизни. Пушкин даже в невыносимых предсмертных муках помнил об участии Данзаса и просил через придворного медика Арендта о его помиловании.

Вместе с тем в целях снижения своей ответственности за участие в поединке Данзас выдвинул версию о том, что предварительно у него с Пушкиным о дуэли не было никаких переговоров. Эта версия выдвинута была им при допросах и настойчиво поддерживалась друзьями поэта. Так, В. Жуковский в письме к отцу Пушкина отмечал: «...утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицей-

ским товарищем... Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту его противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерену и которое произвело вызов от молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком...» Письмо это было рассчитано на предание его гласности (суд был еще не окончен), и осторожный Жуковский не стал описывать действительное положение вещей, чтобы не осложнять судьбу Данзаса. Сам же Жуковский твердо знал, что все это на самом деле было иначе. В своих «Конспективных записках о гибели Пушкина», рассчитанных уже не на читателей, он так описывает дуэльный день поэта: «Встал весело в 8 часов. — После чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. — Потом увидел в окно Данзаса, в дверях вст[рел] радостью. Взошли в кабинет, запер дверь. — Через неск[олько] минут посл[ал] за пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться...» Таким образом, Пушкин, видимо, заручился обещанием Данзаса не 27 января, а накануне.

Бенкендорф и приобщение к делу материалов по- смертного обыска в доме поэта

15 февраля начальник Гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант граф Апраксин направил в комиссию военного суда несколько документов по делу с сопроводительным письмом следующего содержания:

«Доставленные ко мне по Высочайшему повелению Шефом Жандармов и командующим ИМПЕРАТОРСКОЮ Главною Квартирою Генерал Адъютантом Графом Бенкендорфом, найденные между бумагами покойного Камер-Гера А. С. Пушкина, письма, записки и билет, в прилагаемой ведомости помянованныя, могущие служить оной Комиссии руководством и объяснением, препровождаю при сем в военно-судную Комиссию, предлагаю о получении этих бумаг меня уведомить».

Так, в деле о дуэли появляется еще одно известное имя, известное своим недружелюбием к Пушкину, имя человека, который не только организовал тайный и явный надзор над поэтом, но практически осуществлял его.

Это — шеф жандармов и начальник знаменитого III Отделения Бенкендорф, своеобразная промежуточная инстанция между поэтом и царем. Бенкендорф, жандармы и полиция контролировали буквально каждый шаг поэта. Вся их переписка (Пушкина и Бенкендорфа), как уже отмечалось, состоит из сплошных выговоров поэту. И вовсе не из-за своей сентиментальности Жуковский по прочтению писем Бенкендорфа писал их автору: «Я прочитал все письма, им (т. е. Пушкиным. — А. Н.) от высшего начальства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он все был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным надзором... В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление?.. Наконец в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику»¹⁰.

Как уже было отмечено, царь, опасаясь, что среди бумаг покойного поэта будут и антиправительственные, «организовал» «посмертный» обыск рукописей поэта. В результате него появилась необходимость направить в военно-судную комиссию документы, относящиеся к дуэли. В находящейся в деле ведомости, на которую ссылается начальник дивизии, дается перечень этих документов:

- 1) письмо д'Аршиака Пушкину от 26 января 1837 г.;
- 2) его же два письма Пушкину от 27 января 1837 г. (в них, как и в первом, речь шла о выработке условий поединка);
- 3) письмо Геккерена-старшего Пушкину, подписанное и Дантесом и содержащее вызов Пушкина на дуэль;
- 4) визитный билет д'Аршиака с надписью на нем (он договаривался с Пушкиным о свидании).

Затем в деле помещено решение комиссии от 16 февраля о приобщении указанных бумаг к делу, о переводе их с французского на русский язык.

Сразу же скажем, что некоторые документы, полученные III Отделением в результате посмертного обыска и

имеющие прямое отношение к дуэли, Бенкендорф утаил от суда. Это касается, например, (неотправленного) письма поэта к самому шефу жандармов от 21 ноября 1837 г. В нем он подробно информирует его о получении им и его знакомыми анонимных писем пасквильного характера и уверенно называет их автором нидерландского посланника.

В пушкиноведческой литературе делались различные попытки толкования мотивов и целей написания Пушкиным этого письма. Но большинство из них сводилось к тому, что тем самым Пушкин хотел обесчестить своего врага в глазах Николая I (П. Е. Щеголев, Б. В. Казанский, Л. В. Гроссман, Н. Я. Эйдельман). Однако, по нашему мнению, С. Л. Абрамович справедливо отвергает эти суждения, мотивируя тем, что на Пушкина вовсе не похоже, чтобы он тем самым предупреждал шефа жандармов о возможной дуэли. Она обоснованно считает, что Пушкин вовсе не имел намерения отправить это письмо в тот момент адресату. «Попасть к адресату оно должно было после дуэли... Если бы дуэль окончилась для Пушкина благополучно, это письмо послужило бы официальным объяснением делу... В случае несчастья ему предназначено было стать посмертным письмом»¹¹.

Что же побудило шефа жандармов скрыть это письмо от военно-судной комиссии? Очевидно, Бенкендорф вовсе не был заинтересован в том, чтобы у следствия и суда появились какие-то улики против Геккеренов (например, соображения Пушкина о том, что бумага и стиль письма свидетельствовали о написании их дипломатом). В сочетании же с «заинтересованностью» в этом деле единственного дипломата версия о причастности к нему нидерландского посланника выглядела вполне правдоподобной. С другой стороны, все эти сведения так или иначе в определенной степени если и «не оправдывали» поэта, то смягчали его вину как дуэлянта. Это Бенкендорф, не любивший Пушкина, не мог допустить.

Следует отметить, что дополнительно к бумагам, имеющим отношение к дуэли, обнаруженным во время посмертного обыска у поэта и направленным в военно-судную комиссию 13 февраля, через пять дней Бенкендорф опять-таки на имя Апраксина препроводил для суда еще один документ:

«Генерал-Адъютант Граф Бенкендорф, свидетельствуя совершенное почтение Его Сиятельству Графу Степану Федоровичу, имеет честь препроводить при сем найден-

ную между бумагами покойного Камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина записку Соллогуба, в дополнение к запискам, отправленным к Его Сиятельству от 13-го февраля..., для передачи в Военно-судную Комиссию...»

Дело в том, что при осмотре пушкинских бумаг было найдено два письма Соллогуба к поэту. Первое касалось несостоявшейся в начале 1836 года дуэли между ним и Пушкиным. Второе было написано в разгар преддуэльных ноябрьских событий 1836 года, в которых Соллогуб склонял Пушкина к примирению с Геккеренами, ссылаясь на решение Дантеса жениться на Е. Гончаровой. Вот это-то письмо Бенкендорф и препроводил судьям. Узнав об этом и переживая за судьбу Соллогуба и свою репутацию, Жуковский обратился к царю с письмом (до нас дошел его черновик), в котором, возмущаясь бесцеремонностью жандармов, писал: «По найденным двум запискам, как я слышал, хотят предать суду Соллогуба. Государь, будьте милостивы, избавьте меня от незаслуженного наказания. Сохраните мне доброе имя. Меня называют доносчиком. Вы не для того благоволили поручить мне рассмотрение бумаг Пушкина: здесь не может быть и места наказанию».

Вмешательство Жуковского сыграло свое дело и письмо Соллогуба по требованию Бенкендорфа было возвращено из суда в III Отделение. Любопытно, однако, следующее. В журнале — протоколе разбора пушкинских бумаг скрупулезно «оприходовано» 90 писем различных авторов (включая и самого Бенкендорфа), но среди них имя Соллогуба даже не упоминается.

ПРИГОВОР И ЕГО ЦАРСКАЯ КОНФИРМАЦИЯ

Виселица
всем подсудимым

19 февраля — день окончания следствия и вынесения приговора. Военно-судная комиссия начала свою работу с того, что отобрала у Дантеса и Данзаса подписку в том, что «во время нахождения» их под судом «пристрастных допросов» им «произведено не было». Затем аудитор Маслов закончил составление пространной выписки из материалов дела. Это был в то время очень важный процессуальный документ, строго регламентируемый Сводом за-

конов Российской империи 1832 года. Согласно входящему в него Своду законов уголовных (том 15 Свода) содержанию и порядку составления таких выписок было посвящено несколько статей (1062—1064, 1091—1092 и др.). В них, в частности, предписывалось: «выписки из дел должны быть так составлены, чтобы никакое важное обстоятельство в них сокрыто или выпущено не было»; «в выписке помещать на каждый пункт приличные законы, ежели же на что приличных законов нет, то о том означить именно»; «при выписывании по делам законов, означать точные слова оных, без сокращения и малейшей перемены, изменяющей часто самый смысл».

Следует отметить, что аудитор Маслов постарался педантично выполнить все эти требования. Мы же приведем лишь его выписку о «приличных» законах. В выписке приводятся извлечения из трех нормативных актов XVIII века, относящихся к уголовно-правовой регламентации ответственности за поединки: 1) Указ от 14 января 1702 г. о запрещении поединков; 2) три артикула из Артикула воинского Петра I (139, 140 и 142) и 3) Манифест о поединках от 21 апреля 1787 г. Петровский указ 1702 г. предписывал: «Всем обретающимся в России и выезжающим иностранным, поединков ни с каким оружием не иметь, и для того никого не вызывать и не выходить: а кто вызвав на поединок ранит, тому учинена будет смертная казнь; ежели кто инебывав на поединке, поссорясь, вынет какое оружие, на другого замахнется, утого по розыску отсечена будет рука».

Артикул 139 предусматривал ответственность самих участников (непосредственно дуэлянтов) поединка: «Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, високаго или низкаго чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другой кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах, или на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умервщлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить».

Артикул 140 предусматривал ответственность секундантов: «Ежели кто с кем поссорится и уприсит секунданта

(или посредственника) онаго купно с секундантом, ежели пойдут, и захотят на поединке битца, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит».

Наконец, Артикул 142 предусматривал ответственность тех, кто мог предотвратить поединок, но не сделал этого. Аудитор сделал также, как отмечалось, выписку и из Манифеста Екатерины II о поединках 1787 г. («Подтверждается запрещение, словами или письмом или пересылкою вызывать кого на драку, или так прозванный поединок», «подтверждается запрещение вызванному словами, письмом или пересылкою выходить надраку или поединок»).

Выписка заканчивалась примечанием аудитора: «Более по сему делу приличных узаконений не имеется». Прямо скажем, что аудитор в этом отношении был не прав, что обуславливалось как недостаточной профессиональной компетенцией полкового аудитора (вполне обычной для такого рода судебных чиновников), так и очень сложной иерархией действовавших тогда уголовных законов, нередко не согласованных друг с другом. Забегая вперед, скажем, что аудитор второй судебной инстанции (аудиторского департамента военного министерства) нашел и другие относящиеся к делу «приличные узаконения», сейчас же мы считаем необходимым перейти к характеристике приговора, вынесенного военно-судной комиссией в этот же день, т. е. 19 февраля 1837 г. именно на основании подобранных полковым аудитором законов.

В начале сентенции (приговора) констатируется, что суд был учрежден не только над Дантесом и Данзасом, но и над Пушкиным, а также то, что суд был учрежден по повелению самого царя:

«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Комиссия военного суда учрежденная при Лейб-Гвардии Конном полку над поручиком... Б. Геккереном, Камергером... Ал. Пушкиным и Инженером Подполковником Данзасом, переданными суду по воле высшего начальства...»

В констатирующей части приговора подробно изложены обстоятельства дуэли, причем за основу судебной оценки взято письмо Пушкина к нидерландскому посланнику и показания Данзаса, проанализированы материалы допросов подсудимых и все документы, приобщенные к делу. В результате было вынесено следующее решение:

«Комиссия военного суда соображая все вышеизложенное подтвержденное собственным признанием подсудимого поручика барона Геккерена находит как его, так и Камергера Пушкина виновным в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Геккерена и в причинении pistolетным выстрелом Пушкину раны, от коей он умер, приговорила подсудимого Поручика Геккерена за такое преступное действие по силе 139 Артикула воинского Сухопутного Устава и других под выпискою приведенных законов повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый Камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить, а подсудимого подполковника Данзаса... по силе 140 воинского Артикула повесить. Каковой приговор подсудимым объявить, а до воспоследования над ними конфирмации... содержать под строгим арестом».

Что и говорить приговор строг, но справедлив ли и законен? Если исходить из законов, подобранных для этого случая полковым аудитором, то да. Если же принять во внимание и другие, действовавшие в то время наряду с петровскими воинскими артикулами, то следует сказать категорическое «нет». Дело в том, что в 1837 году суд не вправе был вынести смертный приговор ни за участие в дуэли, ни за причинение на ней смерти противнику. История развития российского законодательства о смертной казни после жесточайших петровских указов развивалась следующим образом. Первую попытку к неприменению смертной казни сделала дочь Петра I императрица Елизавета. В 1743 и в 1744 годах ею были изданы законы о том, чтобы смертные приговоры не приводились в исполнение, а представлялись через сенат на усмотрение императрицы. В 1753 и 1754 гг. указом Елизаветы подтверждалось неприведение смертных приговоров в исполнение, при этом предписывалось заменить натуральную смертную казнь на политическую — путем рвания ноздрей, клеймения и вечной ссылки в каторгу. Исполнение смертных приговоров приостановилось до специального «указа». В 1761 году Елизавета предписала законодательной комиссии, чтобы «в новосочиняемом уложении за подлежащие вины смертной казни не писать», однако, предворить это в жизнь она не смогла.

В 1787 году уже Екатерина II в своем манифесте, изданном по случаю 25-летия ее царствования, также предписывает всех осужденных к смертной казни не казнить, а сослать в каторгу. Тем не менее, вопреки елизаветин-

ским и екатерининским нормативам смертные приговоры не только выносились, но и проводились в исполнение. Например, в 1764 г. был казнен Минович, пытавшийся произвести государственный переворот в пользу Иоанна Антоновича. В 1771 году во время чумного бунта в Москве был казнен убийца архиепископа Амвросия. Чего стоили, например, массовые казни руководителей и участников пугачевского восстания (было казнено более 20 тысяч человек). Уже при Николае I к смертной казни на основании Соборного Уложения 1649 г. и Воинских Артикулов Петра I были осуждены и казнены декабристы.

С 1 января 1835 г. вступил в силу Свод законов Российской империи 1832 года. В соответствии с ним смертная казнь в России сохранялась, но применялась только в отношении трех категорий преступлений: 1) политических («когда оные, по особой их важности, предаются рассмотрению и решению верховного уголовного суда»); 2) за нарушение карантинных правил (т. е. за так называемые карантинные преступления, совершенные во время эпидемий или сопряженные с совершением насилия над карантинной стражей либо карантинными учреждениями); 3) за воинские преступления. Таким образом суд не мог в 1837 году приговорить кого-либо за дуэль к смертной казни. Вопрос о наказании за убийство на дуэли регламентировался ст. ст. 352, 354 и 332 тома 15 Свода законов уголовных. В соответствии со ст. 352, «кто, вызвав другого на поединок, учинит рану, увечье или убийство: тот наказывается, как о ранах, увечьях и убийстве умышленном постановлено». В соответствии же со ст. 332, «главный виновник умышленного смертоубийства подлежит лишению всех прав состояния, наказанием кнутом и каторжными работами» (правда каторга обычно заменялась заключением в крепость, а телесные наказания к дворянам, как правило, не применялись). Наказание Пушкину должно было определяться в соответствии с той же ст. 352 и ст. 361 («причинение легких ран подвергает виновного, смотря по степени вреда, сверх бесчестья, заключению в тюрьме, или денежному штрафу...»). Наказание Данзасу как секунданту должно было быть вынесено в соответствии со ст. 354 («Примиритель и посредники или секунданты, не успевшие в примирении и допустившие до поединка, не объявив о том в надлежащем месте, судятся как участники поединка, и наказываются по мере учиненного вреда, то есть, если учинится убийство, как сообщники и участники убийства, если раны или увечья,

как участники и сообщики ран или увечья...» и со ст. 334 («Все соучастники в умышленном смертоубийстве подлежат или равному с умышленными смертоубийцами наказанию или меньшему, смотря по вине их»)*.

Чем же объяснить столь суровый и явно незаконный приговор по данному делу? О причинах недостаточного профессионализма судей, и аудитора уже говорилось. Справедливости ради, надо отметить, что в те времена в этом не было ничего необычного. Существование большого числа противоречащих друг другу нормативных актов вполне сочеталось с невысокой юридической квалификацией нижнего этажа служителей тогдашней Фемиды. Однако заблуждение полкового аудитора не может быть признано единственной причиной указанной суровости приговора по делу о дуэли. Мера наказания, назначенная военно-судной комиссией, явно выпадает из обычных наказаний по аналогичным делам. За дуэль переводили из гвардии в армию («Капитанская дочка»), из столичных центров на Кавказ, подвергали кратковременному заключению в крепость. Так, Лермонтов за дуэль с де Барантом был переведен в действующую армию на Кавказ. Мартынов — убийца Лермонтова был приговорен к 3 месяцам гауптвахты, а секунданты прощены. И все-таки, пристрастное изучение материалов дела позволяет выдвинуть вполне, на наш взгляд, правдоподобную версию. Как уже отмечалось, судя по вопросам, задаваемым Дантесу, по принятым судом объяснениям Данзаса, наконец, по тому, что чуть ли не в основе своей оценки причин дуэли судьи исходили из знаменитого пушкинского письма нидерландскому посланнику, можно сделать вывод, что в целом следствие и суд с сочувствием отнеслись к причинам, побудившим Пушкина выйти к барьеру, и что судьи в этом отношении были на стороне поэта. По господствовавшим обычаям нормам поведение Дантеса и его усыновителя Геккерена-старшего посягало на честь Пушкина и его жены. Поэт, сделав все для того, чтобы поставить своего противника к дуэльному барьеру, поступил

* В принципе такие же наказания участникам дуэли были установлены еще в Указе 1787 года о поединках Екатерины II, в соответствии с которым за вызов на дуэль лицо приговаривалось к денежному штрафу, а если поединок заканчивался нанесением ран, увечий или смертью, то виновный наказывался как за обыкновенное (т. е. без отягчающих обстоятельств) причинение ран, увечий.

так, как был должен в такой ситуации поступить на его месте любой из судей (к этому их обязывало сословно-дворянское представление о чести). В связи с этим равное предельно строгое наказание обоим противникам (смертная казнь) практически ничем не могла уже повредить погибшему на дуэли поэту. Наоборот, оно было какой-то гарантией сохранения строгого наказания (пусть и не смертного приговора) при утверждении вынесенной ими сентенции второй судебной инстанцией и царем. В отношении же Данзаса для них была полная уверенность, что сложившаяся устойчивая судебная практика, касающаяся секундантов, диктовала для него едва ли не безусловное снисхождение в верхних судебных инстанциях (как отмечалось, секунданты чаще всего вообще прощались и освобождались от наказания). Таким образом наша версия строится на явном несоответствии оценки фактических обстоятельств дуэли и ее причин членами военно-судной комиссии во время судебного следствия по делу и равно строгой мерой наказания всем ее участникам. Это, по нашему мнению, позволяет опровергнуть версию о том, что «поэта судьи не знали» (А. Вознесенский). Дошедший до нашего времени исторический материал позволяет совсем по-другому взглянуть на это. С одной стороны, такая позиция необоснованно оглупляет гвардейское офицерство, явно занижает степень его образованности и начитанности. Разумеется, что столичные офицеры-гвардейцы, как и вообще образованные люди своего времени, не могли быть столь невежественными, чтобы не знать пушкинских стихов. С другой стороны, такое упрощенное мнение не может не принижать и подлинного значения Пушкина на любимого и почитаемого в России поэта. Можно также категорически утверждать, что Пушкин был лично знаком, по крайней мере с восьмью офицерами конногвардейского полка. О связи поэта с полковником Галаховым (следователем по делу) мы уже говорили. Опровергнуть эту связь невозможно, так как она «увекочена» самим поэтом в «Истории Пугачева». Из других конногвардейцев можно указать на П. К. Александрова, А. М. Голицина, В. Д. Голицина, А. И. Головина, В. А. Долгорукова, К. Ф. Опочинина и А. И. Свистунова. Знакомство этих офицеров с поэтом зафиксировано либо в его переписке, либо засвидетельствовано его друзьями. Вот краткая характеристика этих гвардейцев и их взаимоотношений с Пушкиным.

П. К. Александров (побочный сын великого князя

Константина Павловича) — ротмистр. Пушкин упоминает о нем как о своем знакомом дважды в письмах к жене (от 27 сентября 1832 г. и 8 апреля 1833 г.).

А. М. Голицын — командир 2-ой бригады полка, генерал-майор. 7 июля 1829 г. был вместе с Пушкиным на обеде у И. Ф. Паскевича по случаю взятия Арзрума.

В. Д. Голицын — князь, корнет, знакомый как Пушкина, так и Карамзиных. 26 января 1837 г. он (вместе с А. И. Головиным) встретился с едущим на дуэль Пушкиным и Данзасом и сообщил им, что катание с гор уже закончилось (свидетельство К. Данзаса).

А. И. Головин — корнет, знакомый семьи Карамзиных, где неизбежно встречался с Пушкиным; о нем и Голицине Данзас отозвался как «о двух знакомых (Пушкину. — А. Н.) офицерах Конного полка».

В. А. Долгоруков — князь, полковник (впоследствии военный министр, начальник III отделения); о Долгорукове как своем знакомом Пушкин писал М. О. Судиенко в письме от 22 января 1830 г.

К. Ф. Опочинин — корнет; о том, что он лично встречался с Пушкиным, свидетельствует письмо поэта к Е. М. Хитрово (сентябрь — октябрь 1831 г.): «Господин Опочинин оказал мне честь зайти ко мне — это очень достойный молодой человек — благодарю вас за это знакомство».

А. И. Свистунов — служил в Конной гвардии до 1835 г., известно, что 1 марта 1831 г. участвовал вместе с Пушкиным в катании на санях; о нем как о своем знакомом поэт упоминает в письме к Е. М. Хитрово (середина июля 1831 г.).

И это свидетельства лишь *личного* знакомства поэта с офицерами — конногвардейцами. Известно также, что, например, за месяц с небольшим до роковой дуэли, 17 декабря 1836 г., Пушкин был на балу у командира этого полка барона Е. Ф. Мейендорфа, квартира которого находилась в казармах конного полка¹². Эти фактические данные в совокупности с уже приводимыми юридическими аргументами причин достаточно строгого, а вовсе не непонятно «мягкого приговора» (А. Ахматова), позволяют опровергнуть и мнение о том «исключительно благосклонном отношении, которым пользовался Дантес — Геккерен со стороны судей» (М. Н. Гернет).

Вывод суда о вине посланника

За сентенцией (приговором) в деле о дуэли располагается еще один важный документ — Записка о мере прикосновенности к дуэли иностранных лиц. К таковым военно-судная комиссия отнесла: нидерландского посланника барона Геккерена, «состоящего при французском посольстве» д'Аршиака и «находящегося при Английском посольстве господина Мегенса». В отношении первого мера прикосновенности была следующая:

«По имеющемуся в деле письму убитого на дуэли Камергера Пушкина видно, что сей Министр (имеется бытовавшее тогда официальное дипломатическое звание Геккерена как посланника — министр Нидерландского Двора. — А. Н.) будучи вхож в дом Пушкина старался склонить жену его к любовным интригам с своим сыном Поручиком Геккереном. По показанию подсудимого Инженера Подполковника Данзаса основанном на словах Пушкина, поселял в публике дурное о Пушкине и Жене его мнения на счет их поведения, а из собственного Его Барона Геккерена письма писанного к Камергеру Пушкину в ответ на вышеупомянутое его письмо, выражением онаго высказывал прямую готовность к мщению для исполнения коего избрал сына своего Подсудимого Поручика Барона Геккерена».

Судьи не были пристрастны к голландскому дипломату. Оценка Пушкиным и Данзасом преддуэльных событий и, в частности, откровенно своднической роли Геккерена-старшего в попытке сблизить своего приемного сына и жену Пушкина подтверждается мемуарными и иными свидетельствами современников. В письме Александра Карамзина брату от 13 марта 1837 г. так говорится об этом: «Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерен сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить мстью». По словам Вяземского, Наталья Николаевна после получения анонимных писем «раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней, последний стремился склонить ее изменить своему долгу...» Барон Фризенгоф (впоследствии муж Александрины Гончаровой, также сестры Натальи Николаевны) в письме к дочери Н. Н. Пушкиной от второго брака также свидетельствует: «Старый Геккерен написал вашей матери, чтобы убедить ее оставить своего мужа и

выйти за его приемного сына». Наконец, есть и монаршьё свидетельство. Николай I так писал по этому поводу своему брату Михаилу: «Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наиболеею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью...» Как видно, все свидетельства основаны на пушкинском толковании своднической роли Геккерена-старшего и пушкинское же объяснение этому, как отмечалось, было положено и в основу документа судебного дела о мере прикосновенности голландского дипломата к дуэльным со- бытиям.

Таким образом современники трагической смерти Пушкина сходились во мнении о своднической роли нидерландского посланника. Другое дело — объяснение ими авторства циничного диплома, в чем такого единства уже не наблюдалось. И тем не менее, версия Пушкина об авторстве Геккеренов не была неожиданной даже для официальных властей. Так, у III Отделения поначалу на подозрении было два лица, способных изготовить пасквиль. Это — учитель, француз Тибо, живший у Карамзиных, и сам Дантес. Не случайно Бенкендорф запросил русский почерк Дантеса¹³.

Хотя и косвенный, но убедительный аргумент в пользу авторства Геккерена приводит С. Л. Абрамович. Она обратила внимание на скрупулезную точность в передаче редких и трудных фамилий адресатов на конвертах с пасквилями. Сделано это было так, как будто их списывали с пригласительного «реестра», в котором предельно точно были зафиксированы имена, титулы и звания приглашенных. Нидерландский посланник устраивал у себя приемы, на которые рассылал письменные приглашения и, следовательно, такой список у него был. С. Л. Абрамович установила, что, например, всего лишь за месяц до истории с анонимными письмами в доме Геккерена состоялся музыкальный вечер, на котором среди прочих присутствовали чуть ли не все получатели анонимных дипломатов, т. е. их имена и точные адреса были в списке нидерландского посланника¹⁴.

Как бы то ни было, Геккерен действовал, разумеется, не в одиночку и уже сразу же после дуэли в петербургском обществе настойчиво назывались два имени, с кото-

рыми связывалось составление пресловутых дипломов. Это — П. В. Долгоруков и И. С. Гагарин. Первому во время написания диплома было неполных двадцать лет и по своим дружеским связям он принадлежал, так сказать, к великосветской «золотой» молодежи, был близок к Дантесу (в дальнейшем политический эмигрант, издатель журналов, автор многочисленных биографических очерков сановников российского государства). И. С. Гагарин — приятель Долгорукова, двумя годами старше его, вместе с ним живший на одной квартире, вхож в общество Геккеренов (впоследствии, как и Долгоруков, покинул Россию и вступил в орден иезуитов). Общее мнение о причастности Геккерена, Долгорукова и Гагарина к изготовлению и рассылке дипломов выразил в своей дневниковой записи 1845 года Н. М. Смирнов: «Весьма правдоподобно, что он (Геккерен-старший — А. Н.) был виновником сих писем... Сколь ни гнусен был сей рапорт, Геккерен был способен составить его. Подозрение падало также на двух молодых людей — кн. Петра Долгорукова и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россетом: на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, но какой идти лестницей и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодых человека, часто посещающие Россета... Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерен был их сочинитель».

Уже в советское время (в 1927 г.) с помощью судебно-почерковедческой экспертизы была сделана попытка установить имя того, кто лично изготовлял эти пасквили. Организатором этой экспертизы был П. Е. Щеголев. Он представил на исследование эксперту два подлинных экземпляра диплома — пасквиля и подлинные письма Геккерена-старшего, Долгорукова и Гагарина. Экспертизу проводил ленинградский криминалист А. А. Сальков. Он дал следующее заключение: «На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера к князю Воронцову, в

1855 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича Долгорукова..., я, судебный эксперт Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым»¹⁵.

В 1966 году по инициативе пушкиниста М. И. Яшина была произведена новая криминалистическая экспертиза, на основании которой эксперт В. В. Томилин, не отрицая авторства Долгорукова, указал, что некоторые надписи в предложенных для исследования текстах дипломов были выполнены Гагариным и лакеем его отца Завозкиным. Этот вывод был оспорен экспертом Любарским. Однако следующая, более тщательная и полная экспертиза этих и дополнительных документов, проведенная в 1974 году опытнейшими криминалистами-почерковедами, пришла к выводу о том, что тексты дипломов писали не Долгоруков и не Гагарин, а кто-то другой¹⁶. Следует, однако, иметь в виду, что исследованию подвергались лишь два дошедших до нас диплома и вполне возможно, что не все они были написаны одной рукой. У современников, как уже отмечалось, были достаточно веские основания для такого тяжкого обвинения указанных лиц.

Еще одним потенциальным автором гнусного анонимного диплома не без основания считается жена вице-канцлера, стоявшего во главе министерства иностранных дел К. В. Нессельроде — М. Д. Нессельроде. Этой версии посвящена специальная работа В. Ходасевича. При этом он ссылаясь на дневник современника поэта, близкого к придворным кругам директора канцелярии начальника Главного штаба военного министерства, а впоследствии министра двора В. Ф. Адлерберга. В нем зафиксирован разговор Александра II с кн. Долгоруковой. На вопрос последней, известно ли ему, кто был автором пресловутых анонимных писем, толкнувших Пушкина на дуэль с Дантесом, Александр ей ответил: «Это — Нессельроде» (имеется в виду не сам вице-канцлер, а его жена). Ходасевич указывал, что чета Нессельроде была в очень хороших отношениях с Геккеренами (отцом и сыном). Супруга вице-канцлера была посаженной матерью на свадьбе у Дантеса. Когда же после смерти поэта, он (Дантес) был отвергнут не только друзьями Пушкина, она и тогда не порвала связи ни с ним, ни с его приемным отцом. Близость графини Нессельроде к Дантесу

подтверждается и письмом нидерландского посланника к своему приемному сыну, написанным во время следствия и суда над ним. В письме, в частности, говорится: «Мадам де Н., графиня София Б. шлют тебе свои пожелания. Обе они горячо интересуются нами». Пушкинисты почти категорически расшифровывают имя «мадам де Н.» как Нессельроде.

**Оценка приговора
генералитетом
гвардейского корпуса.
Могла ли быть допрошена
Наталья Николаевна?**

В соответствии с законами того времени, вынесенная комиссией военного суда сентенция не была окончательной, и дело здесь не только в царской конфирмации приговора. Через командующего Отдельным гвардейским корпусом дело направлялось по инстанции в Аудиторский департамент военного министерства с выпиской, сентенцией и *мнениями* полкового и бригадного командиров, начальника дивизии и командующего резервным кавалерийским корпусом (мнениями по поводу оценки ими обоснованности приговора и вынесенной меры наказания подсудимым).

Ознакомимся с мнением полкового командира генерал-майора Гринвальда:

«...По делу сему и собранным Судом сведениям оказывается: что подсудимый... Д. — Геккерен, в опровержение возведенного на него Пушкиным подозрения, относительно оскорбления чести жены его, никаких доказательств к оправданию своему представить не смог, равномерно за смертью Пушкина и Судом не открыто прямой причины, побудившей Пушкина подозревать... Д. — Геккерена, в нарушении семейного спокойствия, но между прочим из ответов самого подсудимого... Д. — Геккерена видно, что он к жене покойного Пушкина, прежде нежели был женихом, посылал довольно часто книги и Театральные Билеты при коротких записках, в числе оных были такие: (как он сознается), коих выражения могли возбудить Пушкина счекотливость как мужа.

Я... нахожу, что последнее сознание... Д. — Геккерена, есть уже причина побудившая Пушкина иметь к нему подозрение, и вероятно обстоятельство сие заставило Пуш-

кина очернить... Д. — Геккерена в Письме к отцу его Нидерландскому Посланнику Барону Д. — Геккерену а вместе с тем и насчет сего последнего коснуться к выражению оскорбительных слов.

...принимая во уважение молодые его... Д. — Геккерена лета, и обстоятельство, что он будучи движим чувствами сына засчищать честь оскорбленного отца своего (хотя сему быть может сам был причиною), полагаю: лишив его Поручика Барона Д. — Геккерена всех прав Российского Дворянина разжаловать в рядовые с определением в дальние Гарнизоны на службу».

Несколько слов о личности самого Гринвальда. По происхождению он из эстляндских немцев. С 15 лет — юнкер, участник заграничного похода. Затем — корнет, командир взвода, эскадрона. Проявил усердие во время подавления восстания декабристов. По личному указанию Николая выполнял полицейские функции — арестовывал в Москве, Орле и Курске находившихся в отпуску офицеров, прикосновенных к тайному обществу. Видимо за эти услуги был произведен в полковники. Выполнял ответственные военно-дипломатические поручения. В 1833 году «по особому желанию великого князя Михаила Павловича» назначен командиром Кавалергардского полка и произведен в генерал-майоры. Был приближен ко двору и императору. Об этом он говорит в записках о своей жизни («императрица всякий раз изволила танцевать со мной первую кадрили»; «на маленькие балы в Аничковом дворце я всегда был приглашаем со всеми офицерами», «в театре я появлялся, когда там был двор») ¹⁷. В дальнейшем командовал дивизией, корпусом, в 1864 году — член Государственного совета.

Пушкин и Гринвальд были неплохо знакомы друг с другом. Имя его сохранилось даже в эпистолярном наследии поэта. Так, в письме своей жене от 6 мая 1836 г. из Москвы поэт пишет: «Какие бы тебе московские сплетни передать? что-то их много, да не вспомню. Что Москва говорит о Петербурге, так это умора. Например: есть у вас некто *Савельев*, кавалергард, прекрасный молодой человек, влюблен он в *Idalie* Полетику и дал за нее пощечину Гринвальду. Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази как жалка *Idalie!*» (10, 577).

В упоминавшемся уже «Сборнике биографий кавалергардов» не говорится о том, что пощечина была дана Гринвальду, но зато сообщается о ссоре его со штабс-капитаном Горголи, за что Савельев был определен рядо-

вым в Нижегородский драгунский полк, участвовавший в боевых действиях на Кавказе. В пушкинском письме об этом происшествии интересны два момента. Во-первых, как пишет И. С. Зильберштейн, «можно представить себе, какова была репутация Идалии в мужских кругах высшего света, если командир одного из самых аристократических полков империи генерал-майор Гринвальд, мог позволить себе оскорбительно отозваться об этой женщине, и по-видимому, о таком ее поведении, при котором она начисто роняла в глазах людей строгих нравов свое женское достоинство»¹⁸. И тем не менее Пушкин сочувствует Савельеву, вступившемуся за честь женщины.

Неизбежно встречался поэт с Гринвальдом и в Аничковом дворце, куда приглашался лишь высший петербургский свет и куда Пушкин должен был являться в силу своих обязанностей, которые на него накладывало придворное звание камер-юнкера. Из содержания же высказанного полковым командиром мнения по делу можно заключить, что это был тонкий, если не сказать хитрый и осторожный человек, поднаторевший в этом в окружении царя. Напрямую он избегает делать выводы о причинах дуэли, о вине Дантеса (он, как никто другой, знал о монарших милостях, сыпавшихся на подчиненного ему кавалергарда). Тем не менее для нас важно то, что о вине Пушкина он вообще не говорит и по сути дела признает вину Дантеса. И главное. Зная благорасположение императора к Дантесу, он, тем не менее, высказывается за очень строгое по отношению к подсудимому наказание — солдатчину с «определением в дальние Гарнизоны», что по тогдашним временам означало военные действия на Кавказе.

Следующим по инстанции было мнение по делу бригадного командующего генерал-майора Мейендорфа:

«Разсмотрев военно-судное дело... я нахожу виновным Геккерена в произведении с Пушкиным дуэли в причинении ему самой смерти за что он по строгости воинского Сухопутного устава артикула 139 подлежит и сам смерти, но соображаясь с милосердием ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ко всем впадшим в преступление, я полагал бы достаточным лишить его чинов и Дворянства, разжаловать в рядовые без выслуги — потом определить в Кавказский Отдельный Корпус...»

Е. Ф. Мейендорф также лично знал Пушкина. В дневниковых записях А. И. Тургенева от 26 ноября 1836 г.

имя Мейендорфа упоминается, например, наряду с именами Вяземского, Жуковского, Виельгорского, а в записи от 24 декабря этого же года указывается на личное общение поэта и генерала. Для нас же в его мнении по делу важно то, что он признает в случившемся вину Дантеса и настаивает на очень строгом ему наказании — пожизненной солдатчине.

Мнение начальника дивизии генерал-адъютанта графа Апраксина:

«...Для приведения сего в ясность (имеется в виду дело о дуэли. — А. Н.), следовало бы спросить удовлетворительных сведений у жены Камергера Пушкина, но как сего военно-судная комиссия не сделала, то сие остается на усмотрение начальства...

Сентенцию военного суда, коей она осудила... казни виселицей — правильным (имеется в виду «нахожу правильным». — А. Н.); но соображаясь с **МОНАРШИМ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА** милосердием, мнением моим полагаю: Порутчика Барона Геккерена, лишив чинов и дворянства разжаловать в рядовые впредь до отличной выслуги...»

В этом мнении важно то, что начальник дивизии согласился с позицией аудитора по делу о необходимости допроса вдовы поэта, оставляя это «на усмотрение начальства». Это говорит о том, что с этической точки зрения он не находил здесь ничего особенного. При этом следует отметить, что кто-кто, а граф Апраксин светские приличия и условности знал как никто другой. Он близок к императору (его партнер по карточной игре) и едва ли не единственный из причастных к военному суду по делу о дуэли вхож и в дипломатические круги (был женат на дочери неаполитанского посланника), а следовательно так или иначе связан и с нидерландским посланником. С. Ф. Апраксин с 12-летнего возраста на воинской службе (начинал юнкером в кавалергардском полку). Участник заграничной кампании 1813—1814 гг., награжден боевым оружием. Затем — полковник, флигель-адъютант, командир кавалергардского полка. 14 декабря 1825 года доказал особую преданность новому императору — по его приказу полк атаковал восставших. После чего стремительно стал продвигаться по службе: генерал-майор, генерал-адъютант, командующий дивизией, генерал-лейтенант. Кстати, на допросе жены Пушкина настаивал и нидерландский посланник в своем письме к Нессельроде от 1 марта 1837 г. П. Е. Щеголев,

комментируя это письмо, допускает такую возможность¹⁹. Напротив, Я. Левкович это категорически отвергает, ссылаясь на то, что такой допрос «противоречил бы тем представлениям о приличиях, с которыми не мог не считаться даже император»²⁰. Крайнюю позицию по этому вопросу занимала А. Ахматова, считая, что Геккерен «просит вызвать (как последнюю авантюристку) в суд и взять с нее (жены Пушкина. — А. Н.) под присягой показания»²¹. Думается, что позиция, занятая по этому вопросу графом Апраксиным, и его компетентность в области светских приличий позволяет сделать вывод о том, что ничего необычного в допросе Н. Н. Пушкиной не было. Обратим внимание и на то, что Апраксин выступает также за строгое наказание Дантесу — разжалование в солдаты (хотя и до «отличной выслуги»).

Совершенно новое с материально-правовой стороны содер­жится во мнении по делу командующего гвардейским кавалерийским корпусом генерал-лейтенанта Кнорринга:

«...По соображении всего вышеизложенного, хотя под­судимый Порутчик Барон де-Геккерен за произведенный им с Камергером Пушкиным дуэль и причиненную смертельную рану подлежит на основании статей 352, 332, 82—173 Свода уголовных законов, строгому наказанию, но в уважение того, что он решился на таковое строго законом запрещенное действие будучи движим чувствованиями сына к защищению чести оскорбленного отца, я мнением моим полагаю, разжаловать его в рядовые впредь до отличной выслуги, с преданием церковному покаянию, выдержав при том в крепости шесть месяцев в каземате. Равномерному подлежал бы наказанию и Камергер Пушкин, если бы оставался в живых».

Как видно, командир корпуса был первым, кто обратил внимание на то, что военно-судная комиссия сузила материально-правовую основу рассматриваемого ею дела и «забыла» действие самого важного закона — Свода законов уголовных как части Свода законов Российской империи. Этим объясняется и то, что Кнорринг ничего не говорит о смертной казни, а высказывается более осторожно: Дантес «подлежит... строгому наказанию». Об определенной компетентности командира корпуса в области юриспруденции свидетельствует и то, что в числе других статей Свода он называет ст. 173, формулирующую ответственность иностранцев за преступления, совершенные на территории России («Иностранцы, в России пребывающие и путешествующие, подлежат действию Уголовных

законов на том же основании, как и Российские подданные»). Изъятие из юрисдикции российских судов в соответствии с традициями международного права было сделано в отношении дипломатов в ст. 174 («Из сего изъеются иностранные Послы, Министры и Дипломатические Агенты. В случае учиненного ими преступления, производится надлежащее дипломатическое сношение с Правительством их, установленным для сего порядком»). Кроме того, Кнорринг, как и Апраксин, считал пробелом следствия и суда то обстоятельство, что не была допрошена «Госпожа Пушкина».

Наконец дело поступило к командиру Отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютанту Бистрому:

«Разсмотрев военно-судное дело... я нахожу их (подсудимых. — А. Н.) виновными: Поручика Барона Геккерена, в противузаконном вызове Камергера Пушкина на дуэль, нанесении ему смертельной раны и по собственному его признанию, в раздражении Пушкина щекотливыми для него записками к жене... за каковые преступления, я мнением моим полагаю: Поручика Геккерена, лишив чинов и заслуженного им Российского Дворянского достоинства, определить на службу рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса впредь до отличной выслуги; предварительно же отправления его на Кавказ, выдержать в крепости в каземате шесть месяцев, так как относительно его нет в виду никаких заслуживающих снисхождения обстоятельств, ибо письмо Камергера Пушкина к посланнику Барону Геккерену с выражениями весьма оскорбительными для чести обоих Геккеренов, при строгом воспрещении дуэли, не могло давать право на таковое противузаконное самоуправие; впрочем всякое разсуждение о сем письме, без объяснения Пушкина было бы односторонне, и в особенности если взять в соображение, что заключающаяся в том письме чрезвычайная дерзость, не могла быть написана без чрезвычайной же причины...»

Кроме фактического признания вины Дантеса в случившейся дуэли очень важным является вывод Бистрома о том, что он не находит для Дантеса каких-либо смягчающих обстоятельств. Невольно подкупает и его оценка пушкинского письма нидерландскому посланнику. Командир корпуса вполне основательно предполагает, что для такого оскорбительного письма нужна была «чрезвычайная» причина, а это может означать не что иное, как намек на недостойное поведение самого адресата.

Пробелы следствия и суда

Дальнейший процессуальный ход военно-судного дела о дуэли заключался в том, что оно вместе с мнениями военачальников опять поступало к командующему Отдельным гвардейским корпусом Бистрому (согласно правилам должно было поступить к великому князю Михаилу Павловичу, но тот находился за границей) и уже через него направлялось дальше по инстанции в Аудиторский департамент военного министерства. В деле есть специальное отношение Бистрома, где он делает заключение по делу в целом. Оно представляет известный интерес в связи с тем, что командир корпуса обнаружил целый ряд пробелов следствия и суда. Вот наиболее важные в доказательственном плане выдержки из этого заключения:

«... имею честь уведомить, что при ревизии сего дела в Штабе Гвардейского Корпуса замечены упущения: 1. что не спрошена по обстоятельствам в деле значущимся жена умершего Камергера Пушкина; 2. не истребованы к делу записки к ней Поручика Барона Геккерена, которые между прочим были начальною причиною раздражения Пушкина; 3. не взято надлежащего засвидетельствования о причине смерти Камергера Пушкина и 4, что не истребован был в суд особый переводчик для перевода писем и записок с французского языка, а сделаны те переводы самими членами суда, с многими ошибками, по сему, хотя бы и следовало возвратить означенное дело для изъясненных пополнений, но как главные преступления подсудимых достаточно объясняются, то дабы не замедлить в дальнейшем его представлении, я решился препроводить оное в таком виде в каком есть».

Это отношение датировано 11 марта и подписано не только Бистромом, но и начальником штаба корпуса генерал-адъютантом Веймарном. Выявленные пробелы в военно-судном деле, по крайней мере, за исключением третьего, являются достаточно значительными. При этом следует отметить, что их значение заключается в том, что, в случае устранения этих пробелов, вина Дантеса безусловно выглядела бы еще более убедительной. Таким образом возвращение дела для дополнительного следствия и судебного рассмотрения могло бы только усугубить положение Дантеса. Кроме того, знающий светские приличия генерал-адъютант по вопросу об этической стороне допроса вдовы Пушкина солидаризуется с далеким от

этих правил мелким судебным чиновником аудитором Масловым. Не может не привлекать наше внимание и то, что в основу обвинения Дантеса Бистром кладет оценку преддуэльных событий, данных поэтом в его письме Геккерену-отцу. Однако он (как и другие представители генералитета) не заметил или не захотел заметить такого существенного пробела, как отсутствие в деле экземпляра анонимного диплома, полученного Пушкиным и его близкими знакомыми в ноябре 1836 года. Думается, что этому может быть лишь одно объяснение — содержащийся в нем намек «по царственной линии» был понят и Бистромом, и другими военачальниками, а может быть и судьями.

Анонимный диплом не просто оповещал Пушкина об избрании его «коадьютором великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена». При этом назывался и сам великий магистр — граф Д. Л. Нарышкин, муж известной красавицы, находившейся в интимной связи с Александром I. Здесь был явный намек (хотя и клеветнический) на связь Натальи Николаевны с императором. К тому же, поведение самого царя в этом отношении было не безупречным: о его назойливых ухаживаниях за Натальей Николаевной хорошо знал и сам Пушкин; в пересказе его близкого друга П. В. Нащекина известны его слова, что Царь, как офицеришка, ухаживает за его женой: «нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а вечером на балах спрашивает, от чего у нее всегда шторы опущены». По всей видимости, Пушкин и его друзья так и поняли гнусные намеки анонимного пасквиля (это предположение обосновано видными советскими пушкинистами П. Е. Щеголевым, М. А. Цявловским и другими).

В намеке «по царственной линии», по нашему мнению, заключалась, как сверхчувствительность удара, нанесенного Пушкину и его жене, так и едва ли не полная безопасность для составителей диплома их действий по отношению к Н. Н. Пушкиной. Их логика примерно такова: «ты отвергла Дантеса? но, как ты отвертишься от такого обвинения? для света безразлично, кто «наставил рога» твоему мужу». О том, что поэт понял этот намек и то, что так могут понять его и другие, свидетельствует и его стремление любым образом освободиться от финансовой зависимости от царя. Уже через два дня после получения анонимного диплома Пушкин обратился к министру финансов Е. Ф. Канкрину с письмом, в котором в уплату своего долга в 45 000 рублей казне (царь разрешил ему по-

гашать его за счет годового жалованья) предлагает свое именье, но просит разрешить это дело, не сообщая об этом царю. Разумеется, что эти ноябрьские дни для поэта были не совсем подходящими в плане холодно-резвых денежных расчетов. Кроме того и финансовые дела поэта к этому времени были как нельзя плохими, если не сказать безнадежными. С. Л. Абрамович считает, что такое традиционное толкование письма Пушкина к Канкрину, а также его мотивов требует пересмотра, поскольку намек на связь царя с Н. Н. Пушкиной был явно клеветническим:

«в петербургском обществе все знали, что отношения государя» с женой поэта «не выходят за рамки самого строго этикета», и что «царской семье текст шутовского диплома стал известен лишь после смерти поэта»²². Однако, по нашему мнению, традиционная версия улаживания поэтом своих денежных отношений с казной в преддуэльные события остается непоколебленной именно потому, что намек на связь царя с женой поэта был клеветническим и в таком случае клеветников мало волновало, что в действительности подобного не происходило. Клевета потому и называется клеветой, так как связана с распространением именно заведомо ложных, позорящих другое лицо, измышлений. В связи с этим достоверность традиционного толкования содержания анонимного диплома связана не с подтверждением или отрицанием фактической основы намека «по царственной линии», а с оценкой этого поступка поэта (письмо министру финансов) в цепи преддуэльных событий и его психологического и иного объяснения.

В какой-то степени подтверждением того, что диплом содержал намек «по царственной линии» и намек этот был понят императором, может служить и последующее отношение к нидерландскому посланнику самого царя. Когда после дуэли дипломат уезжал официально в отпуск, он просил у царя аудиенцию. Николай отказал в этом и передал ему бриллиантовую табакерку, что по установившимся при императорском дворе обычаям означало, что Геккерен должен был уехать из России навсегда. Справедливости ради следует сказать, что до этого нидерландский посланник был на хорошем счету у царя и вряд ли такая перемена в отношении к дипломату была вызвана смертью Пушкина. П. Е. Щеголев убеждает, что, если до дуэли император мог и не знать всех обстоятельств преддуэльных событий, то после нее он потребовал

от Бенкендорфа полный отчет по делу и, по всей видимости, должен был ознакомиться и с дипломом. А раз так, то провести параллель связи Александра I с Нарышкиной и собственной коронованной особы с Н. Н. Пушкиной ему было вовсе не трудно. Какого-либо вмешательства в его личные (царские) дела он, разумеется, не мог потерпеть, и поэтому-то нидерландский дипломат должен был навсегда оставить Россию²³.

Имелась ли, однако, у следствия и суда возможность восполнить указанный пробел и приобрести важнейший документ к военно-судному делу? Думается, что на этот вопрос можно ответить вполне утвердительно. После революции в архивах III Отделения был обнаружен экземпляр пасквиля, полученный Виельгорским (второй экземпляр чуть раньше оказался в музее Царскосельского Лицея). III Отделение — это Бенкендорф, а всемогущий шеф жандармов не отчитывался перед полковым судом. Однако из упоминавшегося письма (оказавшегося опять-таки в архивах III Отделения) Геккерена Дантесу, написанного во время следственного и судебного производства по делу, мы знаем, что один экземпляр диплома был у Нессельроде. Из воспоминаний В. Соллогуба мы знаем о существовании еще одного экземпляра диплома у д'Аршиака. Как уже отмечалось, когда Соллогуб по просьбе поэта приехал к секунданту Дантеса для переговоров об условиях дуэли, то среди прочих документов показал ему и «Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина». Мы решительно отделяем сообщение Соллогуба о дипломе от его же информации о печатных образцах этого диплома: «Перед отъездом я пошел проститься с д'Аршиаком, который показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкой подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, писанного Пушкину». У Соллогуба прочная репутация «тонкого мемуариста», верно излагавшего не только события, но и незначительные детали, и у нас нет никаких оснований считать, что в первом случае речь шла не о самом дипломе, а о его печатном образце. Таким образом, объективная возможность приобрести к делу экземпляр диплома была. Однако содержащиеся в нем намеки «по царственной линии» абсолютно исключали это, судьи не вправе были обсуждать вопросы, связанные с личностью императора. Другое дело, каким образом экземпляры диплома оказались у Нессельроде и

д'Аршиака? Представляется, что выяснение этого заслуживает самого пристального внимания.

III Отделение вообще всячески старалось скрыть наличие в его архивах пушкинских документов, относящихся к роковой дуэли. Даже спустя много лет для одного судебного процесса (ответчиком в котором был П. В. Долгоруков) III Отделение выдало официальную справку следующего содержания: «Из дел 3-го Отделения видно, что по смерти Александра Сергеевича Пушкина, бумаги, находившиеся в его кабинете, разбираемы были Начальником Штаба Корпуса Жандармов генералом Дубельтом и покойным Василием Андреевичем Жуковским: все они, как относившиеся до литературных трудов Пушкина, переданы были, по высочайшему повелению, Жуковскому. За тем, в 3-ем Отделении писанных бумаг Пушкина не осталось, и не имеется даже в виду ничего такого, что относилось бы к дуэли». Дело в том, что посмертный обыск в кабинете поэта был не единственным источником получения III Отделением бумаг, относящихся к дуэли, и обнаруженные уже в советское время в его архивах экземпляры пресловутого диплома опровергают эту официальную справку.

Производство по делу в военном министерстве

Аудиториатский департамент военного министерства функционировал для того, чтобы осуществлять подготовку военно-судных дел для их ревизионного рассмотрения в генерал-аудиториате. Идея создания такого органа военной юстиции и ее первое практическое воплощение принадлежали еще Петру I. В главе XXIV его Устава воинского сформулированы требования, которым должен отвечать генерал-аудиториат (при Петре это была единоличная должность Генерал-аудитора): «Генерал-аудитору, понеже он при войске почитай правителем Военной Канцелярии (и судит все преступления, каковы б звания не были) надлежит быть не токмо ученому и в военных и прочих правах, но притом осторожному и благой совести человеку, дабы при написании и исполнении приговору преступитель оным отягчен не был». Естественно, что на генерал-аудитора выпадала неимоверно большая нагрузка и одному ему справиться с возложенными на него обязанностями было не только нелегко, а по сути дела просто

невозможно. В связи с этим Александр I учреждает генерал-аудиториат как коллегиальный ревизионный орган. При Николае I функции генерал-аудиториата расширяются. Он осуществляет уже не только ревизию военно-судных дел. На аудиториатский департамент военного министерства возлагались как делопроизводство по ревизии военно-судных дел, так и подготовка законопроектов в области военно-уголовного законодательства.

Следует отметить, что генерал-аудиториат занимал в военном министерстве несравненно более высокое место, чем аудиториатский департамент. Так, структурный состав министерства на 1 января 1837 г. выглядел следующим образом: военный министр; военный совет; генерал-аудиториат; канцелярия министра; военно-походная его императорского величества канцелярия. Далее шли департаменты министерства, их было — 12 и аудиториатский занимал лишь 9-е место (после медицинского и перед военнo-ученым комитетом). Непосредственно генерал-аудиториат состоял из председателя (генерал от инфантерии, шеф Екатеринбургского гренадерского полка князь И. Л. Шаховской 1-й) и восьми членов (все генералы, а один из них, Б. Я. Княжнин 2-й, был даже сенатором). Порядок производства, в соответствии с которым осуществлялось прохождение военно-судного дела в аудиториатском департаменте и генерал-аудиториате, регламентировался специальной главой («Делопроизводство в генерал-аудиториате») Положения о порядке производства дел в военном министерстве 1836 года. В соответствии с этим документом все военно-судные дела, подлежащие рассмотрению генерал-аудиториата, поступали в аудиториатский департамент. Там они распределялись по отделениям и столам.

Итак, военно-судное дело о дуэли поступило в аудиториатский департамент. Первый документ этого судебнo-канцелярского учреждения военного ведомства датирован 16 марта 1837 г. Это — отношение директора департамента генерал-аудитора Ноинского в Придворную контору. Документ очень краткий, но в то же время и не менее любопытный:

«Аудиториатский Департамент покорнейше просит оную Контору уведомить с сим же посланием: какое имел звание умерший от полученной на дуэли раны Пушкин, камер-юнкера, или камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА». В тот же день из Придворной конторы (оперативно же работали царские канцелярии!) был получен ответ, гласивший, что «умерший титулярный

советник Александр Пушкин состоял при Высочайшем Дворе в звании камер-юнкера».

Следует отметить, что если к званию титулярного советника (9-й класс из 14-и, соответствовавший званию капитана военного ведомства) Пушкин был довольно равнодушен, то придворное звание камер-юнкера его попросту раздражало. 1 января 1834 г. он записывает в своем дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Об этом же свидетельствуют и мемуаристы — современники поэта. Так, Н. М. Смирнов писал: «Это его взбесило, ибо сие звание неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбляло, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену». Материалы же военно-судного дела свидетельствуют о том, что авторитет поэта был настолько велик, что и в глазах судей и в глазах далеко не близкого (по духу) Пушкину николаевского генералитета он не камер-юнкер, а камергер, и соответственно Наталья Николаевна — камергерша. Почти во всех процессуальных документах (от, так сказать, возбуждения уголовного дела до приговора и мнений генералитета по этому делу включительно) Пушкин именуется *камергером*. Таковым его титулуют и Дантес, и командир корпуса и другие военачальники (в том числе, как отмечалось, и приближенные к императору) люди, прямо скажем, не новички и не профаны в придворной геральдике. Даже приговор военно-судной комиссии вынесен в отношении *камергера* Пушкина. И лишь генерал-аудитор уже 16 марта, т. е. почти через месяц после вынесения приговора по делу усомнился в столь высоком придворном звании поэта. Таким образом можно сделать вывод, что Пушкин был камер-юнкер лишь в глазах царя, определившего ему это звание.

Следующим документом ревизионной инстанции явилась выписка из дела, формально аналогичная той, которая была сделана в военно-судной комиссии перед вынесением приговора по делу. Однако составление этого документа в аудиторском департаменте регламентируется более тщательно. В соответствии с указанным уже Положением о порядке производства дел в военном министерстве «выписка из дела должна быть составлена так, чтобы в оной не было выпущено никакого важного обстоятельства; чтобы с краткостью соединялась надлежа-

щая ясность и правильность, и чтобы сохранено было прямое существо всех обстоятельств дела, которые в развязке его нужны, как то: случай, по коему дело началось, ответы подсудимого, доказательства, обвиняющие его или оправдывающие, происхождение, лета, служба и отличные заслуги подсудимого, сентенция Военного суда, мнения начальников войск, дело расследовавших, и различные обстоятельствам законов».

В качестве юридической основы для рассмотрения дела к «приличным» законам были отнесены артикулы 139 и 140 Артикула Воинского Петра I. Артикул 142 по справедливости был исключен из «приличных» как не относящийся к делу, о чем мы уже говорили, так же как и Указ 1702 года о запрещении поединков и Манифест о поединках 1787 года как устаревшие законы в связи с вступлением в силу Свода законов Российской империи 1832 года. Кроме того к «приличным» законам были отнесены соответствующие статьи Свода законов уголовных (рассмотренных нами ранее), мимо которых прошел полковой аудитор, а вместе с ним и военно-судная комиссия в целом. Выписка, подготовленная в аудиториатском департаменте, была составлена и подписана начальником отделения департамента и помощником столоначальника. Разумеется, что их юридические знания были выше, чем те, которыми обладал полковой аудитор.

17 марта генерал-аудиториат вынес по делу следующее определение (приводятся наиболее важные его фрагменты):

«Генерал-аудиториат по рассмотрению военно-судного дела... находит следующее: «Поводом к сему, как дело показывает, было легкомысленное поведение Барона Егора Геккерена, который оскорблял жену Пушкина своими преследованиями, клонившимися к нарушению семейного спокойствия и святости прав супружеских... Егор Геккерен и после свадьбы не переставал при всяком случае проявлять жене Пушкина свою страсть и дерзким обращением с нею в обществе давать повод к усилению мнения, оскорбившего честь, как Пушкина и жены его; кроме того присылаемы были к Пушкину без-имянные равно оскорбительные для чести их письма, в присылке коих Пушкин тоже подозревал Геккерена, что впрочем по следствию и суду неоткрыто... Генерал-аудиториат... полагает, его Геккерена за вызов на дуэль и убийство на оной Камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им Российского дворянского достоинства напи-

сать в рядовые, с определением на службу по назначению Инспекторского Департамента... Хотя Данзас... подлежал бы лишению чинов, генерал-аудиториат (принимая во внимание дружеские отношения* и боевые заслуги), вменяя ему в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте два месяца и после того обратиться по прежнему на службу. Преступный же поступок самого Камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию за написание дерзкого письма к Министру Нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю его смерти предать забвению. С сим заключением представить Государю Императору от Генерал-аудиториата всеподданейший доклад».

После этого определения в деле помещена записка о мере прикосновенности к случившемуся (дуэли и ее трагическому исходу) иностранных лиц, по сути дела повторяющая аналогичную, вышедшую из-под пера полкового аудитора военно-судной комиссии.

Таким образом выводы военно-судной комиссии и генерал-аудиториата совпадают: Дантес приговаривался и там (к смерти) и здесь (к лишению российского дворянского звания и разжалованию в солдаты) к строгому наказанию. В основе обвинения в обоих случаях лежит трактовка преддуэльных событий, изложенная поэтом в его письме к нидерландскому посланнику. Вместе с тем, в определении генерал-аудитора есть, на наш взгляд, две заслуживающие внимания особенности. Во-первых, если сентенция военно-судной комиссии о равном наказании обоих дуэлянтов вытекала из требований тех уголовно-правовых актов, которыми руководствовались судьи и которые были подобраны полковым аудитором, то вывод генерал-аудиториата о равенстве наказания Дантесу и Пушкину уже формально прстизоречил тем законам, которыми руководствовалась ревизионная инстанция. В соответствии со ст. 352 Свода законов уголовных (а определение генерал-аудиториата было вынесено с учетом содержащейся в этой статье уголовно-правовой нормы), Пушкин должен был отвечать за нанесение Дантесу легкого ранения. Согласно же ст. 361 этого Свода за причинение легких ран «смотря по степени вреда» полагалось применение наказания в виде кратковременного заключения в

* Имеются в виду дружеские отношения с поэтом.

тюрьме или денежного штрафа (т. е. совсем иного по строгости наказания). Таким образом вынесенная по смертно поэту мера наказания даже формально-юридически была незаконной и явно завышенной.

Вторая особенность вытекает из первой. В определении генерал-аудиториата в вину поэту, кроме принятия им вызова на дуэль и участия в ней, поставлено новое обстоятельство: «написание дерзкого письма к Министру Нидерландского двора». Здесь уже, по нашему мнению, чувствуется несомненное влияние близости военного министерства (Чернышевых, Клейнмихелей) к царю и формулирование обвинения, не основанного на материальных уголовных законах. Вина, по их логике, видимо заключалась в том, что «как смел всего лишь камер-юнкер и титулярный советник беспокоить столь высокопоставленную особу». Это тем более странно, что на всех уровнях (военно-судная комиссия, мнения войсковых начальников по делу, анализ доказательств в выписке для генерал-аудиториата, обе записки о мере прикосновенности иностранных лиц) сводническая роль нидерландского посланника в отношении сближения своего сына с женой Пушкина была вполне установлена и зафиксирована. Налицо тот случай, когда юридические выводы по делу не соответствуют установленным фактическим данным.

Царское прощение Дантесу

На следующий день, т. е. 18 марта 1837 г, на определении генерал-аудиториата по делу о дуэли Николай I «начертал» следующую резолюцию:

«Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

Царь все-таки спас своего бывшего любимца, сведя его наказание чуть ли не к символическому по сравнению с тем, что было определено полковым или ревизионными судами. Не мог он его не спасти. Уж очень хорош был подсудимый на царский взгляд. Это не проливающие на Кавказе кровь декабристы, тщетно пытавшиеся такой ценой получить свободу. Это — совсем другое дело. И крови не проливал («в боях не участвовал») и службу нес неважно, зато легитимист, сторонник свергнутого монарха, а это многое значит.

В принципе этим и заканчивается военно-судное дело, освященное именем великого русского поэта, хотя налаженная бюрократическая машина военного ведомства еще продолжала функционировать. И после царской конфирмации в деле есть еще несколько документов, относящихся к исполнению приговора. Это и отношение военного министра к директору аудиторского департамента с объявлением «высочайшей» конфирмации по делу и просьбой «поспешить» с отправлением нужных бумаг для исполнения «высочайшей воли». Это и приказ Николая I (завизированный военным министром) от 20 марта 1837 г. о лишении Дантеса чинов, приобретенного российского дворянского достоинства и разжаловании в рядовые. Это и сообщение директора аудиторского департамента в Правительствующий сенат об императорской воле по делу. Это, наконец, уведомление начальника штаба Отдельного гвардейского корпуса о том, что царская конфирмация объявлена подсудимым и о том, что направляются: Дантес — «к Дежурному Генералу Главного Штаба Его Императорского Величества для дальнейшего распоряжения о высылке его за границу, а Данзас — к коменданту Санкт-Петербургской Крепости, для выдержания его под арестом в крепости на гауптвахте два месяца».

Обида Дантеса на петербургское светское общество

Вот все, что находится в официальных материалах военно-судного дела о дуэли. Однако существует документ, который по своему содержанию должен был бы помещен в нем, но по тем или иным причинам отсутствует. 26 февраля 1837 г., т. е. уже после вынесения приговора по делу, но до принятия по нему решения генерал-аудиториатом Дантес написал и отправил письмо на имя презуса военно-судной комиссии, в котором он пытался очернить личность Пушкина. Он, так сказать, без зазрения совести выделяет такие, будто бы присущие поэту качества, как злобность, мстительность, нетерпимость к окружающим, невоспитанность, деспотизм по отношению к своей жене и пытался объяснить причины дуэли только этими чертами убитого им поэта²⁴.

Для нас этот документ примечателен в другом. Как известно, в самые трудные для Пушкина дни, предшество-

вавшие дуэли, поэт был страшно одинок. Напротив, Дантес до последнего рокового дня трагической дуэли был принимаем, например, даже в салоне Карамзиных, людей как будто бы наиболее близких поэту (Софья Карамзина в письме брату Андрею осуждает поведение Пушкина и его жены, сочувствует «несчастному» Дантесу). Однако после смерти Пушкина многие из тех, кто раньше брал сторону Геккеренов, вынуждены были изменить о них свое мнение. Выражение поистине всенародной любви к умирающему поэту, всенародная скорбь в связи с его трагической гибелью были настолько сильными, что заставили тех представителей светского общества, кто был способен на более или менее объективную оценку случившегося, понять наконец, что Пушкин был национальной гордостью и не мог быть судим лишь по меркам этого общества. Поэтому вход во многие дома, где Дантес еще вчера был с любовью и восторгом принимаем, стал для него закрыт. Это вынудило Дантеса излить жалобу председателю суда на такое неискреннее светское общество. Пытаясь убедить Бреверна в правдивости своей версии о причинах дуэли (поведение самого поэта), Дантес пишет: «Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника...»²⁵. Настораживает тот факт, что почему-то этот документ не был приобщен к военно-судному делу, а находился и был обнаружен уже после революции в секретном архиве III Отделения. Не будем оглуплять ни руководителей этого ведомства, ни самого царя как его создателя и, выражаясь по-современному, его куратора. Место этому документу было отведено в секретных архивах вследствие того, что в нем присутствовала правда, которая никак не устраивала ни Николая I, ни его ближайшее окружение. Эта правда касалась оценки подлинного отношения светского общества к поэту и его убийце, того самого общества, с молчаливого согласия которого, а в некотором отношении и прямого поощрения Геккерены плели свои страшные интриги вокруг семьи Пушкина.

Тон обиженности, присутствовавший в письме Дантеса, объясняется и тем, что суровый приговор был для него полной неожиданностью. Подобного рода возможных последствий дуэли он для себя не допускал, так как ответственность за участие в подобных поединках обыкновенно сводилась, как отмечено, к незначительному нака-

занию. При этом явная поддержка его преддуэльного поведения светским общественным мнением выглядела в его глазах чуть ли не как аванс будущего милосердия юстиции, или гарантия символического наказания, которое будет определено ему (зачтутся, по его мнению, судьями и обильно сыпавшиеся на него императорские милости). Дантес не мог не думать, что будущие его судьи — это те, кто принимал его, восторгался его плоскими казарменными шутками, почти открыто брал его сторону в создавшейся ситуации и даже поощрял его и приобретенного им в России отца к интригам против семьи Пушкина. И Дантес, и Геккерен-старший, и многие другие представители светского общества допустили при этом существенный просчет: не смогли предвидеть широкого общественного резонанса, выражения общего горя по поводу смерти любимого поэта, открытого негативного отношения людей к светскому обществу, допустившему эту национальную трагедию. Поэтому иной, более суровый подход суда к определению наказания за происшедшую дуэль, объясняется изменившимся отношением части светского общества (одних по причине позднего прозрения, других — по причине боязни проявления народного гнева) к оценке преддуэльных событий.

О редкостной безнравственности убийцы великого поэта свидетельствует и его поведение после дуэли. Конечно он понимал, что его карьера, так блестяще начавшаяся в России, рухнула. Однако, как и большинство подлецов, он не унывал ни при каких обстоятельствах. Лучше всего об этом свидетельствует содержание письма Андрея Карамзина, написанное своим родным через несколько месяцев после дуэли: «Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые». (На балу, устроенном в Бадене русской знатью, т. е. по существу тем же обществом, которое погубило Пушкина и для которого Дантес был «несчастливым»). Да и что другое можно было ожидать от «проходимца», у которого было три отечества и два имени» (такую меткую характеристику французскому монархисту, усыновленному голландским дипломатом и обласканному русским двором, дала младшая дочь Карамзина Е. Мещерская, искренне сочувствовавшая поэту)²⁶.

Уместно вспомнить, что Дантес дослужился во Франции до сенатора и удосужился того, что К. Маркс в «Гражданской войне во Франции» назвал его «выкормы-

шем империи» и «сволочью». Интересно, что уже будучи сенатором, Дантес через Нессельроде, выполняя поручение Луи Наполеона, просил аудиенции у Николая I. На Дантеса было возложено важное секретное дипломатическое поручение. Необходимо было до провозглашения во Франции империи заручиться гарантией признания нового режима другими монархами и в особенности российским. Николай I дал свое согласие на встречу с Дантесом, но ритуал ее связал с фактом осуждения Дантеса русским судом. Через своих дипломатов царь предупредил французского сенатора о том, что он не может принять его в качестве представителя иностранной державы в связи с приговором в отношении него военного суда, отстранившего его от службы в российской гвардии и выславшего его из России. Николай I согласился на встречу с ним лишь как с бывшим офицером его гвардии, осужденным и помилованным, и в таком случае был готов выслушать просьбу главы Французской республики. Естественно, Дантесу было все равно, в каком статусе он предстанет перед Николаем, и он с радостью принял эти условия, и встреча императора и его бывшего кавалергарда состоялась в Потсдаме. Николай конечно же высказал полную поддержку Луи-Наполеону в его монархических начинаниях. Но царь не особенно доверял Дантесу: в своей секретной депеше русским дипломатам, участвовавшим в этом деле, он настаивал на том, чтобы «проконтролировать отчет барона Геккерена»²⁷.

«Кольчуга» Дантеса и «надувательство» с пистолетами

Общественное мнение никогда не примирится с потерей Пушкина, и интерес к обстоятельствам дуэли и смерти его не ослабевает. Медики настойчиво думают над тем, можно ли было при другом лечении спасти тяжелораненого поэта. Криминалистам не дает покоя мысль, что Дантес отделался лишь легким ранением. Вначале это объяснялось тем, что пуля срикошетила от одной из пуговиц его мундира, задев лишь руку, что и спасло ему жизнь. В. В. Вересаев высказал предположение, что здесь не все чисто и будто бы на Дантесе была нательная кольчуга и именно она, а не пуговица спасла ему жизнь. На эту версию его натолкнуло сообщение одного архан-

гельского литератора о том, что в Архангельске в старинной книге для приезжих тот видел запись. В ней было отмечено, что от Геккеренов приезжал человек и поселился на улице Оружейников. Версию о кольчуге Дантеса, ссылаясь на проведенное в 1938 году на основе некоторых положений судебной баллистики инженером М. З. Комаром исследование, поддерживают в наши дни криминалисты Е. П. Ищенко и М. Г. Любарский. Вычисления при этом строятся на учете массы и скорости пули на расстоянии десяти шагов. Согласно соответствующим баллистическим вычислениям пуля Пушкина должна была бы, если не разрушить, то хотя бы деформировать пуговицу мундира Дантеса и вдавить ее в тело. При этом ссылаются и на заключение судебно-медицинского эксперта В. Сафонова, по расчетам которого пуля, предназначавшаяся Дантесу, попала в преграду больших размеров и плотности, способную противостоять ее ударной силе. Исходя же из характера скрытого перелома ребер у Дантеса судебно-медицинский эксперт и заключил, что такой преградой, скорее всего, были тонкие металлические пластины. Наконец, Е. П. Ищенко и М. Г. Любарский считают, что в 1962 году ленинградские криминалисты и судебные медики окончательно подтвердили версию о кольчуге, спасшей Дантеса. Ими был проделан специальный эксперимент, смысл которого заключался в том, что по манекену, облаченному в мундир Дантеса, были сделаны специальные выстрелы. Стреляли в пуговицу мундира из пистолета А. С. Пушкина якобы с той же позиции, в которой находился поэт. В результате эксперимента полностью исключилась возможность рикошетирования пули^{27 а}.

Думается, что все-таки это преувеличенные надежды криминалистов на возможности своей науки. Криминалистические выкладки обязательно должны соответствовать твердо установленным фактам преддуэльных и дуэльных событий. Гипотеза о кольчуге (иные говорят о панцире, надетом под мундир в виде корсета) была выдвинута в связи с тем, что приемный отец Дантеса, «отбросив спесь, униженно упрасивал поэта отсрочить дуэль хотя бы на две недели»²⁸ (срок будто бы необходимый для изготовления либо доставания кольчуги-панциря).

В действительности же это было не совсем так. Во-первых, Геккерен-отец просил отсрочки не на две недели, а на одну. Срок в две недели был определен самим Пушкиным, который вошел в положение голландского дипломата.

Вяземский, например, так свидетельствует об этом в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Найдя Пушкина... непоколебимым, он (нидерландский посланник. — А. Н.) рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с целью обеспечить его благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю... Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю — я вам даю две недели...»

Известно, что отсрочку от дуэли Геккерен-старший просил не для поиска или изготовления «кольчуги», а для того, чтобы избежать дуэли. Опытный, ловкий дипломат был уверен, что ему удастся сделать это. «Начиная с этого момента, — пишет П. Е. Щеголев, — Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным»²⁹. И как уже отмечалось, он сразу же преуспел в этом. Уже на следующий день он убедил Жуковского в «страсти» Дантеса к Екатерине Гончаровой. Разумеется, это было крайнее средство, но оно указывает на то, что нидерландский посланник *исключал* дуэль. Она была бы для него крахом его дипломатической и Дантеса гвардейской карьеры в России. К тому же любое упрощение обстоятельств, любое неосновательное принижение противников поэта волей-неволей будет означать и принижение его самого. Да, Дантес был ничтожеством по сравнению с поэтом-гением, был легкомысленным и безнравственным человеком. Однако делать из него еще и физического труса — это значит исказить действительное положение вещей, упрощать трагедию случившегося, превращать ее в банальную уголовщину, не достойную памяти поэта. И прискорбно, что криминалисты пытаются оказать истории медвежью услугу.

Перейдем теперь к чисто криминалистическим аргументам, которые в этом отношении являются также весьма сомнительными. Во-первых, кто из медиков может сейчас поручиться, что у Дантеса был скрытый *перелом* ребер. Нужно обладать завидной уверенностью и не мень-

шей увлеченностью своим предположением, чтобы на основании сохранившегося заключения полкового штаб-лекаря категорически сделать такой вывод. Речь может идти лишь о возможности такой трамвы, но ведь известно, что от возможности до действительности часто оказывается непреодолимое расстояние. Во-вторых, как можно зафиксировать позу Дантеса и позу Пушкина? Материалы военно-судного дела (показания д'Аршиака и Данзаса) могут дать лишь представление об этих позах, достаточное для писателя, художника, но вовсе не для эксперта-криминалиста. Отклонись пистолет Пушкина на 1 см или положение тела Дантеса на это же расстояние, — неизбежно изменится и траектория полета пули и характер соприкосновения пули с телом. Ну и наконец, вывод криминалистов о том, что «Пушкина и его секунданта Данзаса бессовестно обманули: дуэльные пистолеты обладали разной убойной силой. То, что пистолет поэта был слабее, установили, сопоставив повреждения, причиненные пулями из того и другого оружия»³⁰. Кто обманул и как? Так и чудится, что опять Геккерены с помощью по меньшей мере, если не царя, то Бенкендорфа либо Нессельроде обманывают бесхитростно наивных Пушкина и Данзаса, слабо разбирающихся в пистолетах. В действительности же ни Дантес, ни его секундонт, ни Геккерен-старший (это подтверждается материалами военно-судного дела о дуэли) к пистолетам Пушкина не имели никакого отношения. Приходится удивляться и такой «проницательности» криминалистов. Даже если они получили в распоряжение пистолеты Пушкина, то каким образом могли они сделать вывод, из какого из двух использованных на дуэли пистолетов, был сделан поэтом выстрел? Может быть по ржавчине, оставшейся на одном от попавшего в ствол снега? Разумеется, что все это попросту несерьезно и такие «криминалистические» выводы способны только дискредитировать криминалистическую науку. То, что убойная сила пистолетов стреляющихся на дуэли нередко бывала различной, явление вполне нормальное. Не могли же секунданты перед дуэлью производить экспертизу. М. И. Яшин в своем упорстве доказать версию с кольчугой (правда он считает, что это была не кольчуга, а кираса, изготовленная из кованого железа) упрекает Данзаса в том, что тот отказался от осмотра одежды Дантеса, называя это «игрой в благородство». Думается, что и здесь явный «перебор» с доказательствами и упреками. Я. Левкович в примечаниях к факсимиль-

ному изданию книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» справедливо указывает, что «мы не знаем ни одной дуэли и ни одного литературного описания дуэли, когда бы секунданты осматривали одежду противников, подобная проверка могла поставить проверяющего в смешное положение, вызвать пересуды, возмущение и даже новую дуэль».

Понятно наше неистребимое желание придать какому-либо событию из преддуэльных и дуэльных значение рокового, не будь которого, трагедия не произошла бы. Отсюда живучесть разного рода легенд: и о кольчуге Дантеса, и об интригах императора, якобы заставившего Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой, и о направлении Бенкендорфом своих жандармов в сторону, противоположную месту дуэли. Не случись то или то, жизнь гения не оборвалась бы. Однако это есть упрощение действительно трагических событий. Даже, если бы (ах, как хочется верить и такой красивой легенде, приписываемой Данзасу) Натали не была близорука и увидела ехавших на место дуэли мужа и его секунданта, это ничего не могло бы изменить. Гений Пушкина был обречен в условиях александровско-николаевской России. «Ужасный, скорбный удел, — отмечал А. И. Герцен, — уготован у нас всякому, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок». Судьба, общество, правительство опутали поэта массой едва ли вообще разрешимых обстоятельств. В последние годы жизни он буквально бился в тисках нужды и цензуры. Одни только годовые расходы на квартиру, лошадей, гардероб Натали и другие неизбежные траты приближались к 30 тысячам³¹. Доходы же от «деревеньки на Парнасе» были куда более скромные. Поэт так нуждался, что за пять дней до дуэли им было взято под залог шалей, жемчуга и столового серебра на 2200 рублей³². Если в августе 1836 года Пушкин оценивал сумму своих долгов в 45 000 рублей, то затем счет этот стремительно рос, и после смерти поэта опека выплатила его долгов на сумму свыше 135 тысяч рублей³³. В связи с этим зададимся вопросом, как мог поэт выкрутиться хотя бы из этих обстоятельств? А ведь денежные дела поэта — это всего лишь одна (и сама по себе еще не главная) сторона дела.

Не мог не переживать остро Пушкин и потерю им своей популярности у читателей. Нам, живущим на под-

ходе к XXI веку, странно и подумать об этом. Но тем не менее это было так. Вот мнение, идущее из ближайшего (карамзинского) окружения Пушкина. С. Карамзина в июльско-августовском письме (1836 год) к брату Андрею отмечает: «Вышел № 2 «Современника», но говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разобрал ужасно и справедливо Булгарин, как «светило, в полдень угасшее»). Ужасно согласиться, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду». Можно сказать, что это мнение любителя (Карамзина) или полицейского литератора (Булгарин). Увы, оно совпадает с мнением и уважаемых литераторов. Достаточно сказать, что Белинский в 1834 г. в своих едва ли не программных «Литературных мечтаниях» дает следующую оценку творчества поэта: «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер, или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую и невозвратимую потерю». Очень скоро и обывательское и профессиональное мнение «прозреет» и навечно запишет покойного поэта в разряд гениев (прискорбно лишь то, что Пушкину самому не суждено было этого дожидаться). Менее чем через полтора месяца после трагической гибели поэта В. А. Жуковский (один из немногих, кто неизменно, по-отечески, любил покойного и никогда не сомневался в его гениальности) справедливо писал по этому поводу: «Наши врали-журналисты, ректоры общественного мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе».

Разумеется, были и другие причины того безысходного состояния, в котором к 1836—1837 гг. оказался поэт.

Какой же главный вывод можно сделать из ознакомления с военно-судным делом о дуэли и сопоставлении его материалов с устоявшейся в советском пушкиноведении оценкой преддуэльных, дуэльных и последуэльных событий? Первое и главное — судьи не смогли, конечно, дать правильную социально-политическую оценку событи-

ям, которые они рассматривали в судебном процессе. Конфликт, приведший к дуэли, а затем и к смерти поэта, они свели к семейственным неприятностям дома Пушкиных. В этом проявилась сословно-классовая ограниченность военно-судной комиссии. Причина же, разумеется, заключалась не в семейственных неприятностях и не в Дантесе с Геккереном-старшим. Пушкин представлял большую опасность и неудобство и для царского окружения и для великосветского общества. Он был враждебен им своими социально-политическими взглядами, своими представлениями о нравственности, чести и благородстве. Смерть от пули французского монархиста, ставшего «блестящим» кавалергардом, покровительствуемым самим русским императором, — это акт расправы великосветского общества с гением, не желавшим жить по его законам и презиравшим его. Поэтому это обыкновенное по своему формальному содержанию для судопроизводства николаевской юстиции дело является и всегда будет являться весьма необычным для нас, соотечественников поэта, живущих в другом веке. И спустя более ста пятидесяти лет, прошедших после процесса, это судебное дело является не чем иным, как свидетельством посмертного суда царского самодержавия над поэтом. Не случайно, что в числе либо решавших посмертную судьбу поэта, либо втянутых в колесницу николаевской военной юстиции оказались и сам царь и наиболее реакционные представители как царского окружения, так и великосветского общества — бенкендорфы, нессельроде, чернышевы, «клейн-михели».

Вместе с тем, ставшая традиционной оценка данного суда как суда в кавычках, как комедии³⁴, спектакля, поставленного по сценарию, написанному самодержцем, не соответствует историческим фактам. Более того, такая оценка этого процесса явно принижает то общественное положение, которое в жизни России (даже в серо-промозглых сумерках николаевского царствования) занимал Пушкин. Никакой комедии не было и быть не могло, так как покойный поэт меньше всего походил на комедийного героя. Процесс свидетельствовал об обратном. Да, суд проходил в полку, шефом которого был лично император. Да, офицеры конной гвардии, которых судьба избрала в судьи поэта, были тесно связаны со светским обществом. Но император и светское общество были сами по себе, а Пушкин оставался Пушкиным. По сути дела этот суд был и посмертным поединком поэта с царем и светским об-

ществом, который те проиграли начисто. Это царь оценил поэта лишь в величину оскорбительно-мелкого для него придворного звания камер-юнкера. Судьи же и после смерти поэта вынесли приговор камергеру, так как никак не могли связать его имя с камер-юнкерским званием (ведь это — Пушкин!). Это царь думал, что суд вынесет убийце поэта обычный для дуэлянта приговор: перевод из гвардии в армию или краткосрочное заключение в крепость. Судьи же и не думали шутить (или «ломать комедию»), а вынесли Дантесу смертный приговор. Царь щедро сыпал на «блестящего» кавалергарда монаршьи милости. Его окружение и высший свет стремились не отстать от царя в покровительстве его любимцу, едва ли не открыто поддерживали Дантеса и его приемного отца — нидерландского посланника в их преследованиях жены поэта. Суд же отверг все их объяснения и в своем решении исходил из пушкинской версии о причинах дуэли. Сколько бы мы ни считали, вывод один: посмертно подсудимый победил!

Примечания

¹ Полтора века конной гвардии. 1730—1880. СПб., 1881. С. 65.

² История лейб-гвардии Конного полка. 1731—1848. СПб., 1849.

³ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М., 1987. С. 28—35.

⁴ Никольский В. В. Идеалы Пушкина. СПб., 1899. С. 124.

⁵ Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908. Составлен под редакцией С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 77.

⁶ Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году (предыстория последней дуэли). Л., 1985. С. 72.

⁷ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. Пг., 1922. С. 17.

⁸ Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 277.

⁹ Модзалевский Б., Оксман Ю., Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924. С. 86.

¹⁰ В. А. Жуковский — критик. С. 260.

¹¹ Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 255.

¹² См.: Русская старина. 1914. № 3. С. 534—535.

¹³ См.: Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 395.

¹⁴ Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 86—87.

¹⁵ Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 410—411.

¹⁶ См.: Ципенюк С. А. Исследование анонимных писем, связанных с дуэлью А. С. Пушкина. — В сб.: Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1976. Вып. 12. С. 90.

¹⁷ Сборник биографий кавалергардов. С. 24.

¹⁸ Зильберштейн И. С. И скоро силою вещей мы очутились в Париже. — В сб.: Памятники Отечества. 1 (15). 1987. С. 84.

^{19, 20} См.: Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 271, 469.

²¹ Ахматова А. Соч. в двух томах. Т. второй. М., 1986. С. 88.

²² Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 96—97.

²³ См.: Щеголев П. Е. С. 395—397. Правда, П. Я. Эйдельману удалось установить, что Геккерен вызвал раздражение Николая I еще до конфликта поэта с нидерландским дипломатом в связи с тем, что тот в своих депешах позволял себе сообщать о семейных делах императора. (См.: Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества, 1826/1837. М., 1987. С. 406.) Однако это не противоречит трактовке намека авторов диплома как последней капли, переполнившей терпение царя.

²⁴ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина (по новым данным). П., 1922. С. 55.

²⁵ Поляков А. С. Указ. соч. С. 55.

²⁶ См.: Андронников И. Л. Записки литературоведа. М., 1973. С. 276.

²⁷ См.: Гроссман Л. Карьера д'Антеса. Библиотека «Огонек». № 7. М., 1935. С. 21.

^{27 а,} ²⁸ См.: Ищенко Е. П., Любарский М. Г. В поисках истины. М., 1986. С. 33—94.

²⁹ Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 223.

³⁰ См.: Ищенко Е. П., Любарский М. Г. Указ. соч. С. 94.

³¹ Пушкин и его современники. XII. С. 98.

³² См.: Вересаев В. Пушкин в жизни. Минск, 1987. С. 524.

³³ См.: Дела III Отделения. С. 187.

³⁴ См., например, аннотацию к роману А. Новикова «Последний год» (М., 1976).

IV. Политические и правовые взгляды Пушкина

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ

Известно, что оценка политических идеалов Пушкина исследователями его творчества не является однозначной. Можно сказать, что существует целый спектр таких оценок. Среди них есть и диаметрально противоположные. Так, с одной стороны, по мнению В. А. Жуковского, «Пушкин... решительно был (Жуковский оговаривает, что его слова относятся к последним дням жизни поэта. — А.Н.) утверждён в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических...»¹. С другой стороны, он признается не просто революционером, а даже идеологом «мужицкой революции» (Л. Войтоловский)². В промежутках этих крайностей оценка политико-государственных взглядов поэта также распадается на гамму оттенков. К ним относят, например, то его приверженность к конституционной монархии, то, напротив, признают его роль идеолога декабристского движения, то считают его выразителем интересов либерального дворянства. Следует отметить, что, несмотря на всю противоречивость этих оценок политического мировоззрения Пушкина, следы каждой из них так или иначе можно отыскать в фактах его биографии и в его творчестве. Более того, эти взгляды не были ни однозначны, ни неизменны.

Возьмем лицейский период его жизни. Шестнадцатилетним лицеистом опубликовано стихотворение «Лицинию», написанное под влиянием сатиры Ювенала в виде монолога республиканца-демократа, покидающего в негодовании «развратный Рим». В соответствии с этим такие выражения, встречающиеся в этом стихотворении, как «Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу и «Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода», следует понимать как

согласие автора с республиканской формой правления. Однако в написанном в то же время «Наполеоне на Эльбе» поэт высказывает сочувствие «законным царям», а спустя год воспевает в качестве героя того, кто «мстил за лилии Бурбона» («Принцу Оранскому»), т. е. в споре за власть «законных» самодержцев (Бурбоны) и «незаконных» (Наполеон) высказывал симпатии первым.

Республиканские приверженности шестнадцатилетнего лицеиста, конечно же, в первую очередь, объяснялись влиянием А. П. Кунницына, преподававшего, как отмечалось, в лицее курс нравственно-политических наук, к которым относились и, собственно, юридические дисциплины. Страстный поборник идей школы естественного права Кунницын в своих лекциях высказывался против самодержавной формы правления и крепостничества. Эти идеи оказали влияние не только на формирование политического мировоззрения Пушкина-лицеиста, но и на его литературное творчество. В автобиографических записках поэта («Из лицейского дневника») 10 декабря 1815 г. им сделана следующая запись: «Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разума человеческого: Право естественное» (8, 10).

Противопоставление же в ранних стихотворениях начинающего поэта «законных» царей «незаконным» может быть объяснено громадным воздействием на формирование политического мировоззрения Пушкина событий Отечественной войны 1812 года. Через Царское Село проходили русские войска, направлявшиеся к западным границам (как регулярные части, так и отряды ополченцев). Военные события в это время были определявшими и распорядок жизни лицея и думы и чаяния лицеистов. Лицей буквально жил известиями, приходившими с полей сражений. И. И. Пущин вспоминал в своих «Записках о Пушкине»:

«Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812-го года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея, — мы всегда были тут, при их появлении: выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!..

Газетная комната (род читального зала. — А. Н.) ли-

цейстов никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях, — всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас смотреть за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное»³.

Одним из источников, откуда лицеисты получали сведения о военных событиях и их политическую оценку, был журнал «Сын Отечества», оказывавший огромное влияние на формирование политического мировоззрения лицеистов в целом. Этот журнал отражал наиболее прогрессивные взгляды на войну 1812 года, как на борьбу народов за свою свободу, национальную независимость, против рабства. В соответствии с этим Наполеон представлялся врагом свободы. Резкой критике подвергалось уничтожение им политических свобод итальянских республик. Несомненно, Пушкину была известна и статья А. П. Куницына «Послание к русским», опубликованная в этом журнале с пометкой «Царское Село. Октября 28.1812 г.» В ней резко осуждались те страны, которые «неминуемое рабство предпочли... политической победе: в знак позорной неволи повергли к стопам завоевателя свои мечи, которые он превратил в оковы». Свободу же и национальную независимость Куницын считал важнейшей целью, стоящей перед народами. «Пусть нивы наши прорастут тернием, пусть села наши опустеют, пусть града наши падут в развалинах; сохраним только свободу, и все бедствия прекратятся»⁴.

Таким образом, республиканские идеи стихотворения «Лицинию» вполне уживались с признанием «законно»-монархических династий («Наполеон на Эльбе» и «Принцу Оранскому»).

В период после окончания лицея и до первой (кишиневской) ссылки политические и государственно-правовые взгляды Пушкина больше всего отразились в его стихах, нозлях и эпиграммах: «Вольность» (1817 г.), «К Чаадаеву», «Ура! в Россию скачет...», «На Карамзина» (1818 г.), «Деревня», «Мы добрых граждан позабавим» (1819 г.). Первое место среди них, конечно же, принадлежит оде «Вольность». Следует согласиться с Вс. Н. Ивановым, считавшим, что «поэт в начало своей оды «Вольность» вмонтировал в нескольких стихах целую теорию государственного права свободного европейского государства»⁵. Ода «Вольность» по праву считается одной из вершин русской по-

литической лирики, оказавшей огромное влияние на развитие декабристского движения. Арзамасец Ф. Вигель так рассказывает в своих «Записках» об обстоятельствах написания этой оды. «Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых, они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшему, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенно брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи... С проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу, и со смехом принялся писать... Окончив, показал стихи и, не зная почему, назвали их «Одой на свободу»⁶.

Не верить воспоминаниям Вигеля у нас нет оснований. Поэтому за исходный момент своих рассуждений возьмем два его свидетельства. Во-первых, то, что написание оды связано с братьями Тургеневыми. Известно, что особое влияние на поэта имел Н. И. Тургенев, с которым он сблизился, по всей видимости, в «Арзамасе». Н. И. Тургенев, как и видные участники преддекабристских политических организаций М. Орлов и Н. Муравьев, был принят в это общество в 1817 году уже после вступления в него юного поэта. «Арзамас» представлял для них не столько литературный интерес, сколько возможность использовать его как средство политической пропаганды. Конечно же, общество Карамзина, Батюшкова, Жуковского не годилось для этого. Тем не менее, новые его члены пытались превратить общество из чисто литературного в литературно-политическое. Н. И. Тургенев в своем дневнике сделал 29 сентября 1817 г. следующую запись: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласилось в необходимости уничтожения рабства»⁷. Вполне возможно, что на этом заседании присутствовал и Пушкин. Н. И. Тургенев в пору написания Пушкиным своей оды был помощником статс-секретаря Государственного совета, а в 1819 году служил в министерстве финансов. В 1818 году издал книгу «Опыт теории налогов», в связи с чем его можно считать основоположником русской финансовой науки. Настойчиво выступал за ликвидацию крепостного права при сохранении земли у помещиков, за применение вольнонаемного труда в помещичьем хозяйстве. В 1818 году вступил в

«Союз благоденствия» и стал одним из его идеологов. Проповедовал республиканские формы правления. Являлся одним из основателей Северного тайного общества. В 1824 году уехал за границу и в восстании 14 декабря 1825 г. не участвовал. Тем не менее заочно был приговорен к пожизненной каторге. По характеру (в отличие от всего старшего брата Александра) был резок, насмешлив, нетерпим к тем, кто не разделял исповедуемые им взгляды, требовал от людей бескомпромиссности. На поэзию смотрел свысока, допуская исключения лишь для агитационно-политической лирики, что старался внушить и Пушкину⁸. Несомненно, что содержание пушкинской оды (особенно первых ее строк) свидетельствует о том, что Тургеневу во многом удалось это. В начале оды поэт демонстративно отказывается от темы любви в пользу вольнолюбивой Музы:

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Теперь о Михайловском (Инженерном) замке. Это было место, где Павел I пытался оградить себя от возможных покушений и где, тем не менее, он и был убит заговорщиками. В оде сцена убийства достигает едва ли не документальной точности:

Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата открыты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И совсем не случайно на фоне строки рукописи «погиб увенчанный злодей» Пушкин нарисовал Павла I.

Конечно же, читатели разошедшейся в рукописных списках пушкинской оды отчетливо представляли себе описанные в ней яркие страницы недавней отечественной истории, связанные с убийством тирана императора. Однако в пропагандистском плане на революционно на-

строенную часть дворянского общества больше всего действовали другие строки оды:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь, и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

В литературоведении эта пушкинская строка понимается по-разному. Так, Д. Д. Благой считал, что слова «восстаньте, падшие рабы!» у Пушкина вовсе не означали призыва к восстанию крепостных. Например, стихотворение «Восстань, о Греция, восстань» было написано уже после завоевания ею своей независимости и, следовательно, поэту незачем было призывать к восстанию⁹. Действительно, слово «восстань» во втором стихотворении употреблено поэтом в значении «встать», «воспрянуть», «воскреснуть». Соглашаясь с этим, В. Кулешов все же считает, что в оде «Вольность» слово «восстаньте» употреблено применительно к рабам и имеет тот смысл, что они должны отомстить тиранам, подняться на борьбу. Поэтому, считает В. Кулешов, в оде и употреблен стих: «Тираны мира! трепещите!»¹⁰. Нам думается, что сравниваемые позиции не столь уж далеки друг от друга и что вторая лишь дополняет и конкретизирует первую. Если (исходя из позиции Благого) рабы (крепостные) проснуться и осознают свое право, то тиранам действительно придется «трепетать», и в конечном счете призыв пробудиться и осознать свои права означает призыв отомстить тиранам и подняться на борьбу против них за те же свои права. Кстати сказать, власти так и восприняли смысл этой оды, и не случайно ее написание послужило едва ли не главным поводом для ссылки поэта на юг.

Основное же государственно-правовое кредо молодого поэта было выражено в строках оды, в которых высказаны взгляды Пушкина на соотношение власти и закона, вольности и закона:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;

....

Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

В контексте этих строк и следует толковать всю оду в целом. Очевидно, что Пушкин призывал в оде не к свержению самодержавия, а к его ограничению. И в первую очередь ограничению законом. Его должны соблюдать все — и цари и народы. Людовик XVI нарушил закон и поэтому был казнен. Но пришедшие к власти также нарушили закон, введя якобинский террор, и это вновь принесло народам порабощение — диктатуру Наполеона, провозгласившего себя императором («злодейская порфира на галлах скованных лежит»). В связи с этим поэт вновь предрекает гибель тирана, поправшего закон:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою гибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.

Все это позволяет предположить, что государственно-правовым идеалом Пушкина и в это время была не республика, а конституционная монархия. Исторически такая форма правления буржуазного государства возникает там, где буржуазия еще недостаточно сильна, чтобы господствовать безраздельно и поэтому вынуждена идти на компромисс с земельной аристократией и разделять с ней власть (разумеется, что появление «сегодняшних» конституционных монархий не всегда может вписаться в подобное объяснение причин создания таких форм правления государства). Конечно же, социально-политическим условиям России первой половины XIX века в большей степени отвечала именно конституционная монархия, а не республика. И государственно-правовые взгляды Пушкина относительно формы правления и государственного устройства, выраженные им в оде, являлись свидетельством того, что эти вопросы молодой поэт понимал вполне с позиций историзма.

Идеями конституционной монархии проникнуты и са-

тирические «Сказки», в которых обещания Александра I («кочующего деспота») ограничить свою власть законом и дать людям «права людей, по царской милости моей» названы именно сказками. В этом смысле следует понимать и заключительные строки пушкинского послания «К Чаадаеву»:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Здесь так же, как и в приписываемой Пушкину эпиграмме «На Карамзина» («Необходимость самовластья»), под самовластьем понимается самодержавие как неограниченная монархия.

На этих же идейных основах построена и насквозь антикрепостническая «Деревня». Это и констатация происходящего в России («Здесь барство дикое, без чувства, без закона, ...»), и мечты поэта («Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя...»).

Все эти вольнолюбивые антикрепостнические стихи были написаны в пору тесного общения поэта с активными участниками преддекабристских и будущих декабристских обществ (и не только с Н. И. Тургеневым, но и И. Якушкиным, Н. Муравьевым и другими). Пушкин, конечно же, подозревал о существовании тайных политических обществ и о том, что их участниками являются, например, Н. И. Тургенев и его близкий лицейский друг И. И. Пущин. В своих мемуарных записках Пущин описывал это следующим образом: «Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? наконец поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество? Я совершенно случайно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже»¹. Пущин в то время не открылся свое-

му другу. Тем не менее, Пушкин все это отчетливо представлял и через десять лет в десятой главе «Евгения Онегина» описал сходки членов тайного общества:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

.....

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Луний дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

И хотя Пушкин не являлся членом петербургского тайного общества, он по праву нарисовал себя в числе участников сходки, так как именно вольнолюбивые стихи поэта наиболее ярко выражали политические идеалы революционно настроенной передовой части дворянского общества — членов тайных обществ. Не случайно уже в 1826 году во время судебного следствия над декабристами Жуковский писал Пушкину в Михайловское, что «в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои». Да и фактически чтение Пушкиным своих «ноэлей» будущим декабристам не было отступлением от истины, так как все это вполне могло быть на заседании «Зеленой лампы» — легального литературного филиала Союза благоденствия. По этой же причине представляется необоснованным упрек Н. Л. Бродского автору «Евгения Онегина» в том, что тот сделал «осторожного Илью», т. е. И. А. Долгорукова членом Северного общества, в действительности таковым не являвшегося¹². Однако Ю. М. Лотман, опираясь на показания декабриста И. Н. Горсткина, данные тем на следствии по делу декабристов, справедливо пришел к выводу, что приводимая строфа десятой главы относится не к заседанию Северного общества, а собранию менее конспиративного Союза благоденствия¹³, на которых в соответствии с показаниями Горсткина бывал и И. Долгоруков, а Пушкин также мог читать там свои «ноэли».

В кишиневском изгнании Пушкин, как отмечалось, дружески общался с членами тайного общества М. Ф. Орловым, В. Ф. Раевским («первым декабристом»), К. А. Охотниковым, П. С. Пуциным. Весной 1821 года он познакомился с руководителем Южного тайного общества Пестелем.

Об этом 9 апреля поэт сделал запись в своем дневнике: «Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (8, 17). Со многими видными участниками Южного общества Пушкин встречался в Каменке — имении декабриста В. Л. Давыдова в Киевской губернии. Например, в ноябре 1820 года он присутствовал там на собрании членов тайного общества, на котором велись разговоры об испанской и неаполитанской революциях, о военном перевороте в Португалии, о перспективах революционного движения в России. Содержание этих бесед отражено в строках пушкинского стихотворного послания «В. Л. Давыдову», написанному в апреле 1821 г.:

И за здоровье тех и той
До дна до капли допивали!
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет..

На условном языке декабристов «те» — это итальянские карбонарии, неаполитанские революционеры, а «та» — политическая свобода. Несомненно, Пушкин надеялся, что будет принят в общество, о существовании которого он давно догадывался. Так, И. Якушкин в своих воспоминаниях рассказал о следующем эпизоде: «...Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились... сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к тайному обществу или нет... В последний... вечер пребывания нашего в Каменке... Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России?.. Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России... Я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование тайного общества... Раевский стал мне доказывать противное... В ответ на его выходку я ему сказал: мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы наверное к нему не присоединились бы? — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. — В таком случае, давайте руку, — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, все это только шутка. Другие также смеялись, кроме А. Л. ... и Пушкина, который был очень взволнован; он перед тем убедился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда

увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен»¹⁴. Причиной того, что поэт не был принят ни в Северное, ни в Южное общества, были рискованность и откровенность, с которыми он вел разговоры и не скрывал своих вольнолюбивых настроений, и опасения руководителей декабристского движения за судьбу самого поэта в случае неудачи. Много лет спустя С. Волконский, которому было поручено в свое время принять Пушкина в тайное общество, признавался: «Как мне решиться было на это... когда ему могла угрожать плаха».

Следует отметить, что южная ссылка, проходившая на фоне тесного общения с членами тайного общества, революционных событий в Европе (Италия, Греция, Португалия), была пиком революционных настроений поэта, что весьма ощутимо отразилось в его творчестве того периода. Особенно это заметно в содержании стихотворения «Кинжал», в котором прославлялась идея расправы с тиранами и деспотами путем убийства (т. е. как раз то, что часто обсуждалось в Северном и Южном тайных обществах):

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Не случайно именно текст этого стихотворения вошел в дело следственной комиссии, созданной по приказу Николая I сразу же после восстания 14 декабря 1825 г.

После южной ссылки у Пушкина наблюдается некоторый отход от революционных настроений. Известия об усилении политической реакции в России, выразившееся, например, в репрессиях, связанных с волнениями в Семеновском полку, в жестоком усмирении крестьянских восстаний, аресте В. Ф. Раевского, в удушении революции в Неаполе, Пьемонте, Испании, привели к разочарованию поэта в революционных средствах переустройства общества. Это не могло не отразиться и на его творчестве, например, в стихотворениях 1821—1823 гг. «Свободы сеятель пустынный», «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг...»), «Мое беспечное незнанье» и др.

Так, в послании к В. Ф. Раевскому 1822 г. поэт писал:

Я говорил пред хладною толпой
Языком истины свободной,

Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный.

А в стихотворении «Свободы сеятель пустынный» (1823 г.) те же настроения поэта прозвучали еще сильнее и более сатирически:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Государственно-правовой анализ неограниченного абсолютизма был выполнен Пушкиным в кишиневский период его жизни на материалах русской истории. В статье «О русской истории XVIII века» он дал очень точную характеристику государственно-правового механизма России эпохи Екатерины II. Поэт отмечает незаконность восшествия императрицы на престол («Взведение на престол заговором нескольких мятежников») и пытается снять «хрестоматийный» глянec с этой правительницы, выглядевшей в глазах просвещенной Европы также весьма просвещенной. В этом смысле она ввела в заблуждение даже Вольтера и других просветителей. Пушкин же предъявляет к ней как к императрице целый реестр промахов на государственной ниве. Это и доведение народа до крайней нищеты, и расхищение государственной казны ее любовниками, и «важные ошибки ее в политической экономии» и «ничтожность в законодательстве». Один из главных упреков ей в том, что «развратная государыня развратила и свое государство». Но Пушкина меньше всего занимали многочисленные романы императрицы. Под развращением государства он понимал отсутствие малой толики нравственности и честности как у приближенных к императрице, так и чиновников среднего и низшего звена. «От канцлера до последнего канцеляриста все крало и все было продажно». Главной чертой характера императрицы поэт считает лицемерие, называет ее «Тартюфом в юбке» и приходит к выводу, что ее память достойна «проклятия России».

К этим же вопросам государственного устройства Пушкин вновь и вновь возвращается в михайловской ссылке. Например, к вопросам о пределах насилия при революционных переворотах (о «цареубийственном кинжале» Якушкина). При этом, как и при написании оды «Вольность», он обращается и к опыту Великой французской революции. Особенно ярко это проявилось в элегии «Анд-

рей Шенье», написанной за несколько месяцев до декабрьских событий. Андрей Шенье — французский поэт. Вначале он принимал самое решительное участие в революции, но при этом оставался в рядах умеренных, примыкал к жирондистам, а перед арестом выступил в защиту короля. Это послужило поводом к его аресту и обвинению в участии в монархическом заговоре, в результате чего он в 1784 году был казнен накануне падения диктатуры Робеспьера. Как и в оде «Вольность», Пушкин признает, что свержение Людовика XVI было законным, так как он попрал права народа. Но его свержение и казнь привели к новой диктатуре и новым казням и, следовательно, к новым беззакониям:

От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

После восстания декабристов эти строки вполне можно было понять как откровенный намек на недавние события на Сенатской площади. Более того, как отмечалось, эти стихи так многими читателями и понимались и поэтому распространялись в рукописных списках с заглавием «На 14 декабря», что и послужило поводом для жандармского расследования и военно-судного дела о распространении этих стихов.

Однако в Михайловском в проблеме государственной власти наряду с уже традиционным для поэта выяснением соотношения власти и закона на первый план выступает проблема власти и народа, роли народа в историческом процессе, в борьбе монарха за власть, в дворцовых переворотах. Думается, что все эти вопросы волновали поэта не только в чисто практическом плане, но и в историко-теоретическом. Осмысливание причин поражения революционных сил в Западной Европе неумолимо возвращало его к спору о стратегии и тактике дворянских революционеров своего времени — членов тайных обществ. Наиболее отчетливо эти государственно-политические взгляды и раздумья поэта нашли свое отражение в художественной форме в трагедии «Борис Годунов». Написана она была в Михайловском в период с декабря 1824 по ноябрь

1825 года. Историческим фоном трагедии поэт избрал сложнейший период российской истории — события так называемого смутного времени (начало XVII в.). Этот короткий исторический период царствования в России Бориса Годунова объединяет и смену царей, и нашествие на Россию иноземных захватчиков, и народные бунты и восстания, и, что особенно повлияло на дальнейшее развитие Российского государства, введение крепостного права. Все это казалось Пушкину не далеким, а очень близким к жизни современной ему России. Так, прочитав X и XI тома «Истории Государства Российского» Карамзина, в которых шла речь об этом времени, поэт писал Н. Раевскому и Жуковскому: «Это злободневно, как свежая газета».

Центральная идея трагедии — взаимосвязь народа и царской власти. По мнению царей, и Бориса в том числе, единственным средством удержания в узде народных масс, противостоящих царской власти, является их жестокое устрашение:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоани,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и — его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Вместе с тем Борис понимает, что в отношении народа нельзя ограничиться только «грабежом и казнями». Это опасно, народ обязательно взбунтуется и тогда — горе самодержцу. Поэтому на смертном одре он дает советы сыну проявлять благоразумие и время от времени ослаблять «державные бразды», но ненадолго.

Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить, тебя благословят...
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды...

Однако Пушкин вносит определенный порядок в такое понимание прочности царской власти. Осмысливание хода исторического процесса и современных ему событий приводит его к мысли о том, что ни Борис, ни другой самодержец не способны удержаться у власти без поддержки народа. Годунов пал не в результате интриг бояр или поддержки самозванца польскими вооруженными отрядами. Решающей причиной его поражения было мнение народ-

ное. Народ не только не поддержал Бориса, но и выступил против, видя в нем того царя, который, отменив Юрьев день, отнял у крестьян остатки свободы. Эти мысли поэт вложил в уста своего предка боярина Пушкина, перешедшего на сторону самозванца и уговаривающего встать на этот путь боярина Басманова:

Я сам скажу, что войско наше дрянь,

.....

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?

Не войском, нет, не польскою помогой,

А мнением; да! мнением народным.

Та же мысль явно просматривается в диалоге между Шуйским и Пушкиным.

Шуйский

Сомненья нет, что это самозванец,

Но, признаюсь, опасность не мала.

Весть важная! И если до народа

Она дойдет, то быть грозе великой.

Пушкин

Такой грозе, что вряд царю Борису

Сдержат венец на умной голове.

Пушкин закончил трагедию в ноябре 1825 году, но опубликована она была лишь в 1831 году. Самодержавный цензор Пушкина инстинктивно чувствовал, что такие трагедии не способствуют укреплению царской власти и долго сопротивлялся ее напечатанию. В первом издании трагедии после слов: «Народ! Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (*Народ в ужасе молчит.*) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» была добавлена авторская ремарка: «Народ *безмолвствует*». Этой ремарке в пушкиноведении посвящена целая литература, в которой исследователями высказаны самые противоречивые суждения. Еще в 1839 году в журнале «Галатей» неизвестный критик обратил внимание на значение этой ремарки и попытался дать ей свое толкование:

«Как много заключается в этом «народ *безмолвствует*» ...В этом... таится глубокая историческая и нравственная мысль: при всяком великом общественном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев-аристократов: он сам по себе ни добр, ни зол, или, лучше сказать, он добр и зол, смотря по тому, как заправляют им высшие; нравственность его может быть и самую чистую и самую испор-

ченной, — все зависит от примера: он слепо доверяется тем, которые выше его и в умственном и в политическом отношении; но увидевши, что доверенность его употребляют во зло, он *безмолвствует* от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознательно содействовал; *безмолвствует*, потому что голос его заглушается внутренним голосом проснувшейся, громко заговорившей совести...»¹⁵.

Думается, что такая трактовка сужает Пушкинскую мысль об исторической миссии народа. То, что правители всегда использовали народ как *средство* завоевания или удержания власти, лишь часть правды, которая заключается в том, что народ становится *решающей* силой в завоевании и удержании власти. Власть и существует до той поры, пока народ согласен с ней, несогласие с властью влечет ее падение и изменение.

Очень близко к разгадке авторского содержания ремарки подошел Белинский. В своей десятой статье из цикла статей о Пушкине он писал: «Превосходно окончание трагедии. Когда Мосальский объявил народу о смерти детей Годунова, — *народ в ужасе молчит...* Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского рода, разве не сам он кричал: «Вязать Борисова щенка»?.. Мосальский продолжает: «Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! — Народ *безмолвствует...* Это — последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира... В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою — над тем, кто погубил род Годуновых...»¹⁶. Безмолвствие народа означает, по Белинскому, что самозванец, возведенный народом на трон, им же и будет низвержен. Именно так и понял ремарку Д. Д. Благой, который, приведя цитату Белинского, поясняет: В этом «безмолвствует» заключается, по Пушкину, вся дальнейшая судьба самозванца, поскольку народ от него отвернулся, его, достигшего высшего могущества и власти, ждет близкое свержение и бесславная гибель. Сегодня — народ безмолвствует, а завтра — он заговорит, и горе тому, против кого он обратит свой голос, — таков смысл этого единственного в своем роде, потрясающего пушкинского финала...»¹⁷.

Соглашаясь с такой трактовкой содержания пушкинской ремарки, вместе с тем представляется, что в идейном плане не следует преувеличивать различия между первоначальной редакцией трагедии (без конечной ремарки) и опубликованным поэтом вариантом трагедии с указанной

ремаркой и вкладывать в отсутствие или наличие этой ремарки принципиальное содержание. Так, Д. Д. Благой усматривает в «Борисе Годунове» «сплав» противоречивых воззрений на народ, что будто бы было характерно для декабристов и что, по его мнению, «борьба в самом Пушкине между этим двойным отношением к народу сказывается с особенной отчетливостью в двух вариантах конца пьесы»¹⁸. По нашему мнению, в *идейном* плане наличие или отсутствие этой ремарки ничего не меняло. Допустим, что народ не безмолвствовал, а кричал «да здравствует царь Димитрий Иванович!» Это означало лишь художественное выражение окончания одного витка отечественной истории. Годунов, не поддержанный народом, был свергнут самозванцем, которого поддерживали народные массы. Наличие реплики означало начало нового исторического витка — самозванец, не поддержанный народом, обречен на свержение и гибель. В художественном плане ремарка усиливает авторскую концепцию, так как дает историческую перспективу, вероятный дальнейший ход событий, но вовсе не противоречит первому варианту без ремарки. Далее. Колебания в Пушкинских воззрениях на народ соответствуют колебаниям декабристов в этом вопросе. Трагедия была написана накануне восстания декабристов. Следовательно, в последний год своей жизни в Михайловском Пушкин не раз возвращался к оценке, обдумыванию позиции своих друзей-заговорщиков. Позиции, хорошо известной ему как по Петербургу, так по Кишиневу и Каменке: в их программе борьбы за власть не отводилось места народу. Поражение революций в Западной Европе ничего не изменило в революционной стратегии декабристов. Пушкин, напротив, совсем по-другому оценил и поражение революционных сил на Западе и роль народных масс в историческом процессе. И примерно через месяц «безмолвие» народа на Сенатской площади подтвердило его правоту. Разумеется, это не значит, что поэт, поняв силу народных масс, отказался от своего государственно-правового мировоззрения, от ограничения монархии конституцией и перешел на позиции самого народа. Вовсе нет. Однако в успех декабристов, среди которых, как известно, было немало его друзей и товарищей, он уже не верил. Думается, что Пушкин мог бы согласиться со словами Грибоедова, которого считал человеком государственным и очень умным, относительно перспектив декабрьского переворота: «Сто прапорщиков хотят перевернуть весь государственный быт России».

Можно предположить, что у поэта ко времени работы над «Борисом Годуновым» даже снизилась острота интереса к тайным обществам. В какой-то мере подтверждением этому, на наш взгляд, может служить совсем иное его отношение к разговору о тайном обществе с Пуциным в Михайловском в январе 1825 года по сравнению с тем, который состоялся между ними до ссылки Пушкина на юг. Мемуарный источник, на который мы собираемся сослаться, один и тот же — записки самого И. И. Пуци-на. Во время первого разговора о тайном обществе Пушкин, как отмечалось, относительно этого предмета проявлял инициативу и обижался на то, что лицейский друг не ввел его в курс дел общества. При встрече в Михайловском, несмотря на то, что на этот раз Пушкин открылся другу, поэт уже не проявлял былой настойчивости¹⁹. Эти рассуждения могут противоречить известным мемуарным свидетельствам, в соответствии с которыми Пушкин признавался Николаю I, что, будь он во время восстания в Петербурге, он был бы с восставшими. Сомневаться в искренности Пушкина здесь не приходится. Но. Одно дело, что Пушкин далеко не полностью соглашался с программой практических действий восставших и их планами государственного переустройства общества и что у него не было веры в успех. Другое, что он не мог не разделить участь своих друзей, не мог не участвовать в их едва ли не с самого начала обреченной на неудачу попытке завоевать для России политическую свободу, отменить крепостное рабство. Восстание было поднято декабристами против ненавистной ему тирании, не ограниченного ничем самодержавия, против всего того, что он заклеил в своих вольнолюбивых стихах и против чего он сам призывал бороться. Самоустранение от участия в восстании выглядело бы для него самого предательством по отношению к своим друзьям и товарищам. Сомнение же в успехе дела было присуще не только Пушкину, но и многим декабристам. Даже К. Ф. Рылеев в написанной незадолго до восстания поэме «Наливайко» признавался:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На угнетателей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...

В момент восстания и после его поражения Пушкину было не до разногласий с восставшими. В главном он был с ними. Поэтому с такой болью он переживает судьбу восставших. В январском (1826 г.) письме к П. А. Плетневу он пишет: «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит» (10, 197). В письме от 20 января 1826 г. Дельвигу он беспокоится за судьбу арестованного А. Раевского: «...он болен ногами и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня» (10, 198). В начале февраля поэт пишет также Дельвигу: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных... Твердо надеюсь на великодушные молодого нашего царя» (10, 200). И уже после исполнения приговора в отношении декабристов он, надеясь на смягчение участи осужденных, пишет Вяземскому: «...повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (10, 211). Писать такие письма ссыльному, политически неблагонадежному, подозреваемому в «преступных связях» с «бунтовщиками», требовало незаурядной гражданской смелости, которую поэту было не занимать.

Верность общим с декабристами политическим идеалам (ненависть к самодержавию, крепостному рабству, стремление к политической свободе) поэт выразил и в своем стихотворном послании к декабристам («Во глубине сибирских руд») и в стихотворении «Арион» («Я гимны прежние пою»). Шанс разделить судьбу сосланных на каторгу друзей и товарищей только за эти стихи для поэта был достаточно велик.

Рассматривая эволюцию государственно-правовых взглядов поэта, нельзя обойти вниманием его работу над пугачевской темой («История Пугачева», «Капитанская дочка»). Непосредственно к написанию первой главы «Истории Пугачева» поэт приступил в марте 1833 года. Закончена же эта работа (судя по дате авторского предисловия к этому произведению) 2 ноября того же года. Как уже отмечалось, это время для поэта было временем серьезных раздумий над осмысливанием роли народа и дворянства в истории России, исторических судеб неограниченного самодержавия и просвещенного абсолютизма, революционных переворотов. И не только раздумий, но и уточнения своих позиций по всем этим вопросам, отказа от некоторых прежних представлений. Обращение к пугачевской теме было для поэта закономерным, что не требует какого-либо особенного обоснования. Другое дело,

что цели написания «Истории Пугачева» могут восприниматься и воспринимаются по-разному. В трактовке этого вопроса между пушкинистами существуют определенные расхождения. Наиболее распространенным в литературоведении является объяснение этой цели как стремления автора повлиять на Николая I в направлении того, чтобы подсказать тому во избежание новой пугачевщины отменить крепостное право²⁰. Нам же представляется более обоснованной позиция Г. П. Макогоненко, считавшего, что к моменту работы над «Историей Пугачева» у Пушкина уже исчезла иллюзия в возможность проведения Николаем I политики просвещенного абсолютизма. По его мнению, главная цель написания «Истории» — это получение ответа на едва ли не основной занимавший Пушкина вопрос — о том, какие социальные силы способны покончить с рабством в России и осуществить идеалы свободы²¹. Правда, и Г. П. Макогоненко не отрицал, что во вторую очередь (речь идет о практическом использовании поэтом своего исторического труда и особенно авторских «Замечаний о бунте», переданных царю) поэт не исключал того, что если Николай I вознамерится решить крестьянский вопрос, то пушкинский труд сыграет в этом свою роль.

Первое, что в государственно-правовом плане интересовало поэта в пугачевской теме, — это причины народных восстаний вообще и самого величайшего в России в частности. Этой проблеме посвящена первая глава «Истории» и превышающие ее по объему примечания к ней. На примере истории яицких казаков Пушкин откровенно общал читателей, что виновником их вооруженных выступлений была жестокая и несправедливая в отношении них политика царского правительства, пытавшегося, начиная с Петра I, отобрать у них ранее дарованные свободы. Дело в том, что при царе Михаиле Федоровиче донские казаки, поселившись на Яике, получили от царя охранную грамоту, по которой они признавались «вольными людьми». Казаки расселились на огромной территории и выполняли важные для государства функции. Их поселения являлись в этом крае своеобразной пограничной заставой России, охранявшей страну от набегов «неприятельских племен». Жили казаки по установленному им распорядку, по своим обычаям и «постановлениям». Атаманы и старшины избирались народом. Все общественные дела решались большинством голосов на общих собраниях («кругах» или «советах»). Эти вольные порядки были упразднены Петром I. Именно с этого времени начались вооруженные

выступления казаков за восстановление своих прав, после смерти Петра I превратившихся в народную войну. Казацкие мятежи жестоко подавлялись, но «наказания уже не могли смирить ожесточенных». Таким образом, Пушкин впервые объективно объяснил причины пугачевского восстания.

После выхода из печати «Истории Пугачевского бунта» в 1835 году в журнале «Сын Отечества» на нее была опубликована анонимная рецензия (считается, что ее автором был В. Б. Броневский — член Российской академии наук, автор «Записок морского офицера», «Истории Донского войска» и других литературно-исторических материалов). В ней рецензент высказал мнение о том, что обширные примечания к первой главе «Истории» не имели никакой нужды». Пушкин в своей статье «Об Истории Пугачевского бунта», напечатанной им в третьем номере «Современника» за 1836 год, отвечал рецензенту, что первая глава «Истории» с действительно обширными примечаниями к ней необходима для «совершенного объяснения Пугачевского бунта».

Как известно, вначале восстание Пугачева имело громадный успех, крепостное право и самодержавие получило ощутимые удары, моментами само их существование находилось под угрозой. Пушкин тщательно выясняет причины такого успеха восставших. Решающее значение в этом, по мнению поэта-историка, сыграло непрерывное расширение социальной базы восстания. К восставшим казакам присоединились и «рабочие люди» уральских заводов, и угнетенные национальности Урала и Заволжья, и, главное, крепостные крестьяне. «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» (8, 363). Все эти огромные массы людей шли за Пугачевым, так как он давал им волю, истреблял ненавистный для них дворянский род, отменял различные крепостные и иные повинности. Исследуя как причины восстания, так и его ход, поэт пришел к выводу об исторически-классовой закономерности крестьянских восстаний, как и вообще угнетенных классов против власть имущих. К этому его привело не только изучение отечественной истории, но и ознакомление с ходом революционных событий 1830—1831 гг. во Франции, современных ему холерных бунтов русских крестьян, очевидцем которых был он сам.

Вместе с тем Пушкин отчетливо видел и трагический

характер русского крестьянского бунта. В первую очередь, его стихийную и неуправляемую жестокость и беспощадность. Ненависть крестьян к помещикам реализовывалась в том, что первые громили и жгли помещичьи усадьбы, жестоко истребляли дворянский род. Так, заняв, например, Саратов, «Пугачев повесил всех дворян, попавших в его руки, и запретил хоронить тела» (8, 262). Ничем в этом отношении не отличались и действия дворянских карателей. «...Михельсон пошел к Казани. Навстречу ему поминутно попадались кучи грабителей, пьянствовавших целую ночь на развалинах сгоревшего города. Их рубили и брали в плен.» (8, 247). В авторских «Замечаниях о бунте», завершающих историческое повествование, Пушкин сообщал читателям: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений!» Остальных человек до тысячи... простили, отрезав им носы и уши» (8, 361).

Эта общая жестокость приводила к вседозволенности, пробуждению диких и страшных инстинктов. Эта разрушающая стихия грозила не только культуре страны, но и существованию России как государства. Все это очень тревожило Пушкина, требовало не только объяснений, но и поисков выхода из создавшегося положения. Он видел, что ни правящий класс, ни правительство не сделали никаких выводов из этой страшной крестьянской войны. Все основные причины, вызвавшие ее (крепостное право и беззаконие помещиков по отношению к крестьянам), сохранились в неприкосновенности. Правительство старалось забыть уроки пугачевского восстания. В народе же, как удостоверился в этом поэт, память об этих событиях была жива. Пушкин и заканчивает «Историю Пугачева» именно противопоставлением памяти имущих и неимущих классов о Пугачеве. «В конце 1775 года обнародовано было общее прощение и повелено все дело предать вечному забвению. Екатерина, желая истребить воспоминание об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, коей берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки переименованы в уральские, а городок их назвался сим же именем. Но имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он *пугачевщиною*» (8, 274).

Завершение работы над историческим трудом не исчерпало интереса поэта к пугачевской теме. Очевидно, это

событие российской истории требовало и своего художественного воплощения, что нашло выражение в романе «Капитанская дочка». Его замысел возник у поэта давно. Первый набросок им был сделан еще летом 1832. Однако требование исторической правды едва ли не вынудило поэта прервать работу над романом и окунуться в чисто историческое исследование (изучение документов, встреч с оставшимися в живых свидетелями восстания, посещением городов и станиц, где проходила недавняя крестьянская война). К написанию романа Пушкин вернулся вновь лишь в конце 1835 года и закончил его 19 октября 1836 г. Основная государственно-политическая концепция автора в романе та же, что и в его историческом труде. Это концепция «русского бунта бессмысленного и беспощадного», неизбежности крестьянских волнений в крепостнической России и невозможность какого-либо компромисса либерального дворянства с крестьянской революцией.

Однако «История Пугачева» — научное историческое исследование, а «Капитанская дочка» — художественное произведение, роман. Поэтому и главные государственно-политические вопросы, интересовавшие поэта в пугачевской теме, в романе выражены иногда несколько иначе. В первую очередь это касается художественного воплощения образа самого Пугачева. Автор не побоялся сделать этот образ симпатичным для читателя, наделив его и умом, и широким характером русского человека, и способностью быть не только жестоким, но и милосердным. По этому поводу может быть несколько преувеличенно, но, в принципе, верно, заметила Марина Цветаева, что у Пушкина есть два Пугачева: «Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории Пугачевского бунта». Цветаева изумлялась тем, «как Пушкин *своего* Пугачева написал — *зная?* Было бы наоборот, то есть будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего героя вообразил, а потом узнал (как всякий поэт в любви). Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил»²². По нашему мнению, прав Н. Скатов, который не удивляется этому, а доверяется логике самого Пушкина, для которого было естественно вначале *узнать* Пугачева, то есть изучить его образ с позиции историка-исследователя, а потом, уже на основании исторической правды, художественно *вообразить* его²³. Тем не менее, мы считаем, что внутреннее отношение самого Пушкина к личности Пугачева в процессе работы над «Историей» и над романом не менялось. Поэт и в ходе исторического поиска никогда

не преувеличивал свирепости характера Пугачева и не отказывал ему в положительных человеческих качествах. Лучше всего об этом говорят строки его стихотворного послания Денису Давыдову, отправленному ему вместе «Историей Пугачева»:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

И хотя это послание было написано в 1836 году, тем не менее поводом к его написанию послужила передача герою Отечественной войны 1812 года (Д. Давыдову) именно исторического повествования, а не романа. Следовательно, из «Истории Пугачева» Денис Давыдов должен был сделать вывод о Пугачеве, как о «казаче прямом» и «лихом уряднике» в партизанском отряде «отца и командира». Признаемся, что это высокая оценка нравственного образа Пугачева и его личности. Поэт уверен, что при других обстоятельствах Пугачев стал бы не мятежником, «не кровавым Пугачевым», а национальным героем, храбро защищавшим родину от иноземных захватчиков.

Очень важным в понимании государственно-правовых взглядов Пушкина является изучение его неопубликованной при жизни статьи «Александр Радищев» и его же незаконченного «Путешествия из Москвы в Петербург». Первая завершена в начале апреля 1836 года и предназначалась для третьей книги «Современника», но была запрещена цензурой и лично С. С. Уваровым. Вторая статья начата в начале декабря 1833 года и писалась до апреля 1834 года. В январе 1835 года поэт вернулся к работе над статьей, но так и не закончил ее.

Следует отметить, что интерес Пушкина к Радищеву и его «Путешествию из Петербурга в Москву» возник еще в лицее и не ослабевал на протяжении всей жизни. Следы знакомства с именем Радищева и его запрещенной книгой видны уже и в юношеской поэме «Бова» (1815) и в оде «Вольность», которая, по сути дела, была написана в подражание Радищеву. В письме к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 г. Пушкин возмущался: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? кого же мы будем помнить?» (10, 61). Если же учесть, что в «Памятнике» поэт подчеркнул влияние Радищева на гражданственность собственной поэзии, то можно сказать, что Пушкин начал с Радищева, им же и закончил свою поэтическую песнь.

Сопоставление обеих статей позволяет предположить, что работа над ними шла едва ли не параллельно. Более того, по нашему мнению, статья «Александр Радищев» выглядит как своего рода предисловие к «Путешествию». Можно предположить, что в замыслы Пушкина входило создание одной большой работы о Радищеве и его запрещенной книге. Попытка же опубликования статьи «Александр Радищев» была для него пробным камнем в отношении возможного цензурного разрешения. И в этом случае ее можно рассматривать не только как предисловие к последующему, более полному разбору радищевского «Путешествия», но и как «выжимки» из всего уже вчерне написанного поэтом о Радищеве. Предполагаемая нами логика автора: авось удастся «уломать» цензуру и сделать в этом отношении первый шаг; после этого сделать второй шаг куда легче.

Обратимся, однако, непосредственно к первой статье, официально представленной на цензуру автором — к статье «Александр Радищев». В ней Пушкин осуждает Радищева и считает написание им своей книги ни много ни мало как преступлением. «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгою» (7, 354). Решительная оценка и решительное осуждение, чуть ли не полное единодушие с официальным отношением к Радищеву и его книге. Чем же тогда он не угодил верноподданной цензуре? Почему сам министр народного просвещения, редкий реакционер С. С. Уваров не пропустил в печать эту статью? Не возражал же он против таких оценок Пушкина? Конечно же, нет. И в этом случае, как нередко уже бывало и раньше, поэт и здесь не смог, по его выражению, «упрятать всех моих ушей под колпак юродивого». Что же так насторожило проницательного министра-цензора? По всей видимости, просто-напросто не поверил этой пушкинской оценке. Да и как можно было поверить, если этой краткой (буквально в несколько строк) весьма осуждающей оценке предпослана основательная биография политического преступника и автора посредственной книги. Явное противоречие. Осуждает автора противоправительственной книги и привлекает внимание к именам и идеям французских просветителей — идеологов французской революции Гельвеция, Вольтера, Дидро и Руссо, в чьих трудах, по мнению Пушкина, «легкомысленный поклонник молвы видит» ни много ни мало как

«цель человечества и разрешение великой загадки» (7, 351). (Кстати сказать, упоминаемый Пушкиным и запрещенный в России трактат Гельвеция был издан на русском языке лишь в 1917 г.) Другое противоречие. Автор считает Радищева политическим преступником и вовсе не великим человеком и в то же время отмечает, что его способности (государственные) были оценены даже самой государыней (Екатериной II) и что «следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых ступеней государственных» (7, 352). Удивительное противоречие! Автор осуждает написание Радищевым своей книги как преступление и одновременно едва ли не восхищается его смелостью именно в этом: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться против общего порядка, противу Екатерины!» (7, 353). Один восклицательный знак чего стоит. Вот они «уши», выглядывающие из-под «колпака юродивого». Автор называет крамольное радищевское «Путешествие» «весьма посредственную книгою», говорит о том, что ее «первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны», считает слог книги «варварским», однако находит в своей статье место для целой главы радищевской книги («Клин»). Опять противоречие. Автор статьи осуждает Радищева за то, что тот «как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием» вместо того, чтобы указать ей «на блага, которые она в состоянии сотворить». Он осуждает «бунтовщика хуже Пугачева» за то, что тот «поносит власть господ как явное беззаконие» и считает, что тому вместо этого надо «было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян». Однако чуть раньше, в этой же статье, Пушкин, как будто не зная, о чем он будет писать несколькими строками ниже, сообщает читателю о том, что Александр I определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Радищев в точности последовал императорской воле, «вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям». Что из всего этого вышло, Пушкин также откровенно сообщает читателю. Как известно, Радищев, поняв, что и этим мечтам (так настойчиво подсказываемым ему спустя десятилетия после его смерти Пушкиным) сбыться не суждено, покончил жизнь самоубийством. И произошло это не в царствование Екатери-

ны II, не во времена действий строгих (не изменявшихся со времен Петра I) законов, а во времена «смягченные», «в царствование Александра, самодержца, умевшего уважить человечество». Пушкин упрекает Радищева за то, что тот «злится на цензуру», и опять считает, что тому «лучше было бы потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной» (7, 359). Здесь-то уж для Уварова все было ясно. С одной стороны, кто-кто, а он прекрасно понимал подлинное отношение автора статьи к цензуре. С другой — он видел, что автор пытался протащить свой взгляд на цензуру, которая бы не ограничивала мысль автора (этот «священный дар божий»). Видимо Пушкину не удалось убедить цензора в своей лояльности и в осуждении им «бунтовщика».

В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» творческий метод автора таков же, как и в статье о Радищеве. Вся статья внешне построена на споре автора с Радищевым. Однако вопрос в том, в чем заключается спор, о чем он, в чем различие позиции автора статьи и позиции «бунтовщика»? Очень часто спор с Радищевым для Пушкина лишь отправная точка. Так, особенно спорит он с автором «Путешествия» по вопросам, касающимся рассуждений Радищева о Москве, о Ломоносове, о российском стихосложении, о цензуре. Во всех этих случаях Пушкин как бы даже «забывает» о споре и использует полемическое начало, по сути дела, для выражения собственных мыслей, собственного взгляда на соответствующие предметы. Следует особо остановиться на пушкинском комментировании радищевских глав «Медное (рабство)» и «Шлюзы». В первой Радищев возмущается торговлей помещиков своими крепостными крестьянами, по сути, работоторговлей. Спорит ли с ним Пушкин? Вовсе нет. Вместо спора он прерывает цитату Радищева следующими собственными словами: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которым на сей раз соглашаюсь поневоле...» (7, 299). В главе «Шлюзы» Радищев рисует жуткую картину жестокого обращения помещиков со своими крепостными, доводя их до полуголодного существования. И опять-таки вместо спора с Радищевым или

возражением ему Пушкин приводит пример современного ему помещика, который подобным же жестоким отношением довел своих крестьян до того, что был убит ими. Тут уж нет и подобия спора, а есть полное согласие с Радищевым.

Конечно же, основной целью пушкинских статей о Радищеве был не спор с ним. Следует согласиться с мнением о том, что «Пушкин имел в виду привлечь общественное мнение к вопросу о крепостничестве и соглашался с Радищевым в его гневных разоблачениях жестокости и произвола помещиков, разделяя в данном вопросе его убеждения»²⁴. Почти все осуждающие замечания Пушкина относительно Радищева и его книги — это всего лишь метод «усыпления» бдительности цензуры. Метод, по современным представлениям, довольно наивный и, как показал опыт со статьей «Александр Радищев», для самого автора явно неудачный.

Вместе с тем в вопросе относительно методов преобразования русской жизни Пушкин спорил с Радищевым по-настоящему. И для того и для другого крепостное рабство было ненавистно. Но Радищев был «за» крестьянскую революцию, Пушкин же, как известно, не был революционером и отвергал крестьянский бунт как «бесмысленный и беспощадный». Свое несогласие с Радищевым поэт мотивировал и тем, что, по его мнению, в результате буржуазной революции XVIII века народ ничего не добился, кроме новых форм угнетения и эксплуатации. Об этом Пушкин писал в главе «Русская изба» своего «Путешествия» и пытался доказать, что судьба русского крепостного крестьянина предпочтительнее положения, например, английских фабричных рабочих.

Не будем, однако, преувеличивать серьезности этого спора. В черновом варианте «Памятника» — этого своего рода поэтического и политического завещания поэта, он не только не спорит с Радищевым, но одной из главных заслуг своей поэзии считает то, что «вслед Радищеву восславил» он «Свободу».

ИДЕИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОСУДИЯ

Известно, что круг интересов поэта был чрезвычайно широк. Не последнее место среди них занимали вопросы права. В его личной библиотеке было немало книг по чисте

юридическим вопросам*. В первую очередь в ней были представлены (в интересующем нас плане) сборники российских законов: царя Алексея Михайловича, Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, современного поэту законодательства (например, Полное собрание законов Российской империи, которое Пушкин широко использовал при работе над многими произведениями и в особенности над «Капитанской дочкой», «Историей Пугачева» и незавершенной «Историей Петра I»). При этом следует отметить, что собранный поэтом законодательный материал касался самых различных отраслей русского права. Не последнее место при этом занимали акты по уголовному судопроизводству. В качестве примера можно привести Руководство по следственной части (отпечатанное в 1831 году в типографии А. Смирдина в Санкт-Петербурге), составленное из выдержек важнейших нормативных актов, регламентирующих предмет и пределы доказывания по уголовному делу, процессуальный порядок основных следственных действий (допроса, очных ставок, взятия под стражу и т. д.). Из специальных правоведческих работ можно указать на двухтомную «Краткую теорию законов» известного русского юриста Л. Цветаева, несколько работ (в основном по вопросам государственного и уголовного права) западноевропейских авторов (преимущественно на французском языке). Кроме этого можно выделить находящиеся в библиотеке многочисленные журналы и альманахи, содержащие юридические разделы: десять номеров Журнала Министерства внутренних дел за 1832 год, комплекты журнала Северный архив за 1825 и 1826 годы. В последних, например, в разделе «Правоведение» было помещено «Историческое обозрение Российского законодательства» (от «Русской Правды» до законов начала XVI века). Разумеется, круг правовых и правоведческих материалов, которыми интересовался поэт и пользовался при работе над своими произведениями, этим не ограничивался.

Однако для современного читателя важен не сам по себе интерес Пушкина к правовой материи, а то, как он

* Библиографическое описание сохранившихся книг обширной библиотеки поэта было составлено известным пушкинистом Б. Л. Модзалевским и опубликовано в начале нашего века (Модзалевский Б. Л.). Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб., 1910. Каталог книг, бывших в библиотеке Пушкина и не сохранившихся, составлен Б. Л. Модзалевским. См. его работу «Библиотека Пушкина. Новые материалы» (Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934. С. 985—1024).

отразился в его творчестве. В связи с этим не будет преувеличением утверждать, что основные идеи законности и правосудия не просто нашли отражение в его творчестве, но занимают в нем важное место. «Пиковая дама» и «Дубровский», «Капитанская дочка» и «Полтава», «Маленькие трагедии» и «Борис Годунов», стихи и эпиграммы, т. е. практически все жанры, используемые великим поэтом, в художественную канву которых вплетаются, порой и в качестве основного сюжета, проблемы, например, преступления и наказания. Рассматриваются они, во-первых, прямо скажем, на вполне профессиональном, в правовом смысле, уровне, а, во-вторых, с позиций, отражающих прогрессивные правовые идеи, весьма близкие и нам, советским юристам. Само по себе обращение к материалам о преступлении и наказании для классической литературы всех времен и народов является не просто обычным, а, видимо, закономерным, — достаточно вспомнить Толстого и Шекспира, Достоевского и Диккенса, Стендаля и Золя и многих других выдающихся писателей. Ведь некоторые преступления обнажают глубину человеческих отношений, высвечивают тайники человеческой души, делают видимой психологию поведения человека. Думается, что этим данная проблема привлекала и Пушкина.

Как и других великих писателей, Пушкина интересовало психологическое содержание преступного деяния, накал человеческих страстей, выразившихся в нем, мотивация этого поведения. Не последнее место в этом отношении занимали проблемы преступлений, совершенных из бедности или даже нищеты. Впервые это нашло отражение в одной из ранних пушкинских поэм «Братья разбойники». Исходным моментом сюжета поэмы является история жизни крестьян, ставших разбойниками от крайней бедности. При этом поэт дает верные картины и нравов преступной среды («Тот их, кто с каменной душой прошел все степени злодейства... кого убийство веселит, как юношу любви свиданье»), и исполнения тюремного заключения («По улицам однажды мы, в цепях, для городской тюрьмы сбирали вместе подаянье» — чуть ли не комментарием к этим скупым поэтическим строчкам являются соответствующие сцены из «Записок из мертвого дома» Достоевского). Некоторые читатели, в том числе и близкие друзья поэта, усомнились в реальности одного из центральных эпизодов поэмы, — братья-разбойники, скованные цепями, сумели убежать, переплыв реку. П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 31 мая 1823 г. писал по

этому поводу: «Я благодарил его (Пушкина. — А. Н.) и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать с кандалами на руках»²⁵. Много позже в статье «Опровержение на критики и замечания на собственные сочинения» (при жизни автора не опубликованные) Пушкин свидетельствует о реальной подоплеке рассматриваемых им в поэме событий: «Не помню кто заметил мне, что невероятно, чтоб скованные вместе разбойники могли переплыть реку. Все это происшествие справедливо и случилось в 1820 г., в бытность мою в Екатеринославе»²⁶. Следует отметить, что подобный сюжет с его пенитенциарно-правовой основой поэт считал весьма характерным для России первой четверти XIX века. 13 июня 1823 г. он писал А. Бестужеву, издававшему вместе с Рылеевым альманах «Полярная звезда»: «Разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его» (10, 62). Чуть позже таким же образом Пушкин ответил и самому Вяземскому на его замечания. В своем письме от 11 ноября 1823 г. поэт писал: «Вот тебе и «Разбойники». Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы» (10, 70).

Эта же тема, но уже на примере дворянина и гвардейского офицера, у которого незаконно отобрано имение, и он остался без куска хлеба и без крова, развивается в романе «Дубровский». В основе его лежит также имевшее место в действительности событие. Сюжет был подсказан Пушкину одним из самых близких его друзей П. В. Нащекиным, рассказавшим об одном небогатом белорусском дворянине по фамилии Островский, который судился с богатым соседом за свое поместье, был лишен его и вместе со своими дворовыми стал грабить вначале подъячих, а затем и других. Нащекин видел этого Островского в остроге. (Кстати, вначале главный герой также назывался Островский, затем был изменен на Андрея Зубровского и только потом получил имя Дубровского). Сюжет заинтересовал Пушкина, в первую очередь, в плане того, как беззаконие повлияло на судьбу Дубровского, явившись изначальным мотивом его преступного разбоя («Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отече-

ского дома и послал грабить на больших дорогах»). Однако, хотя Дубровский и действовал вместе со своими крепостными крестьянами, в романе отсутствует крестьянское восстание как таковое. Для крестьян Дубровский остается помещиком, барин, которому дано исключительное право выбора объекта разбойных нападений (например, не подвергаются таковым владения наиболее ненавистного крестьянам Троекурова, что осложнено сугубо личной линией — историей любви Дубровского к дочери Троекурова и ее вынужденным замужеством). В общем и целом «Дубровский» — это историко-бытовой роман, созданный в традициях авантюрного романа XVIII века о «благородном» разбойнике, снижающий антикрепостническую тему. Очевидно, сам Пушкин был неудовлетворен результатом своей работы над романом, и он остался незавершенным.

Тема крестьянских восстаний, затронутая в «Дубровском», закономерно обратила мысль Пушкина к восстанию Пугачева. 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над двенадцатой главой «Дубровского», а 31 января им уже сделан набросок плана повести о «государственном изменнике» Шванвиче (в перспективе «Капитанской дочери»). 6 февраля он дописал последнюю страницу «Дубровского», а на следующий день Пушкин обратился к военному министру с просьбой о допущении его к ознакомлению со следственным делом о Пугачеве (что являлось документальной основой не только «Капитанской дочери», но и «Истории Пугачева»).

Не мог не занимать Пушкина как поэта (да и как человека) и мотив ревности. В качестве побудительной причины преступления (чаще всего убийства) это чувство было для поэта свидетельством крайнего проявления ревности, выражением нравственных пределов человеческих поступков, исходящих из этого мотива. В особенности это характерно для ранней поэзии Пушкина, ее романтического направления («Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»). Важно заметить, что для Пушкина любовь всегда сильнее преступления, и поэтому преступление (убийство) из ревности по сути дела бессмысленно даже с точки зрения самого преступника. Довольно ярко, например, это проявляется в «Цыганах».

Земфира: Нет, полно, не боюсь тебя,
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю...

Алеко: Умри ж и ты!

Земфира: Умру любя. (4, 232).

Можно сказать, что для Пушкина существуют два уровня ревности. Во-первых, ревность-любовь, ревность как едва ли не неизбежный спутник любви (вряд ли наступит когда-то такое время, когда, например, человек сможет оставаться равнодушным к тому, что его оставляет любимый человек, это было бы лишь грубым упрощением человеческих отношений). В своем письме к жене от 12 мая 1834 г. поэт писал: «...мой ангел! Конечно же я не стану беспокоиться от того, что ты три дня пропустишь без письма, так точно как я не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь с кавалергардом. Из этого еще не следует, что я равнодушен и не ревнив.» (10, 483). Иная ревность (по Пушкину) выражается в преступлении. Здесь ревность обычно связывается с мстостью за то, что обожаемый объект не отвечает тем же («Умри ж и ты!»). И в этом случае пушкинская позиция весьма близка и к современной трактовке в советской уголовно-правовой науке и судебной практике социально-психологического содержания ревности как мотива преступления (сюжеты бессмертных творений пушкинской поэзии и прозы сближаются с содержанием уголовных дел об убийстве из ревности в наши дни). По действующему уголовному законодательству в отличие от старого (п. «а» ст. 136 УК РСФСР 1926 г.) убийство из ревности, например, не признается убийством при отягчающих обстоятельствах и квалифицируется по ст. 103 УК РСФСР (разумеется, при отсутствии других квалифицирующих обстоятельств). При определенных обстоятельствах (например, когда убийство совершено в состоянии сильного душевного волнения, возникшего у виновного внезапно в результате того, что тот стал свидетелем факта супружеской измены) судебная практика справедливо квалифицирует такое убийство по ст. 104 УК РСФСР как убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах. Позиция действующих уголовных кодексов в оценке социальной опасности ревности как мотива убийства вполне справедлива. Ревность возникает чаще всего на почве взаимоотношений между близкими людьми, она всегда направлена на конкретных лиц. Поэтому лично-интимный оттенок ревности не может не снижать степень совершенного на ее почве убийства по сравнению, например, с убийством из корысти. В этом смысле и для Пушкина ревность как побудительная причина преступления, вызванная крайним накалом эмоций, выступала обстоятельством, снижающим опасность преступления и преступника, в том числе и убийства:

Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немymi
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

(«Бахчисарайский фонтан») (4, 192).

Пушкину, много путешествовавшему по Крыму и Кавказу, был интересен и мотив кровной мести. С одной стороны, он не мог не признавать высокого эмоционального содержания этого мотива (так сказать, высоких страстей), с другой, — он отчетливо видел в нем крайнее проявление тысячелетних предрассудков. И то и другое отчетливо выражено им в «Тазите»:

«Отец:

Ты долга крови не забыл!

.

Где ж голова? Подай... нет сил...»

«Сын:

Убийца был

Один, изранен, безоружен...» (4, 320).

Видимо не случайно закон кровной мести связывается со старшим поколением, а его отрицание — с младшим. Поэт уверен, что развитие цивилизации приведет к исчезновению преступлений, совершенных по этому мотиву.

С оценкой мотивов преступлений тесно соприкасается и этическая сторона проблемы преступного поведения в целом. Человеческая мораль отрицает преступление и преступника. В ответ на убийство Земфиры старый цыган говорит Алеко:

Оставь нас, гордый человек!

Мы дики: нет у нас законов,

Мы не терзаем, не казним,

Не нужно крови нам и стонов;

Но жить с убийцей не хотим... (4, 234).

В контексте нравственного неприятия преступления следует трактовать и пушкинское — «гений и злодейство — две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери»). Пушкин в принципе исключает нравственное оправдание преступления. В настоящее время известно, что не существует данных, которые бы подтверждали версию о том, что Сальери отравил Моцарта. Однако для нас важно, почему

Пушкин избрал в качестве сюжета именно этот вариант объяснения смерти Моцарта. Разумеется, что на него не могло не воздействовать широко распространенное в 1824—1825 гг. в немецких и французских журналах известие о том, что Сальери на смертном одре признался в отравлении Моцарта (друзья Сальери выступали против этого как против клеветы). Однако для нас гораздо важнее другое обстоятельство, проливающее свет на творческую историю формирования пушкинского замысла. В бумагах поэта сохранилась следующая его заметка: «В первое представление «Дон Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, сненаемый завистью... Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить и его творца» (7, 263). Пушкин согласился с распространенным в его время объяснением смерти Моцарта не столько в силу веры в эти противоречивые слухи, сколько в связи с присущим ему этическим подходом к оценке преступного поведения и его мотивов.

Как это на первый взгляд и ни странно, но Пушкина занимали даже мысли о пределах уголовно-правового регулирования и основаниях уголовной ответственности. В статье «Мнения М. Е. Лобанова (драматург, переводчик, биограф И. А. Крылова. — А. Н.) о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (опубликованной в третьей книге журнала «Современник») Пушкин высказывается по этому поводу следующим образом: «Мысли, как и действия, разделяются на *преступные* и на *не подлежащие никакой ответственности*. Закон не вмешивается в привычки частного человека... Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совести каждого» (7, 402, 403). Очевидно, что, по мнению Пушкина, в сферу уголовно-правового запрета не должны попадать поступки, характеризующие частную жизнь человека. В этом отношении Пушкина вообще возмущала бесцеремонность полиции и жандармов (да и ближайшего царского окружения и самого царя), вмешивавшихся в личную жизнь поэта (в своем письме Наталии Николаевне от 3 июня 1834 г. поэт писал: «...свинство почты меня так охладило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство...» (10, 487). В общем-то в противопоставлении частной жизни (слабости, пороки человека) и понятия преступного

поведения (подвластного закону) — всего один шаг до понимания категории общественной опасности преступного деяния. В этом смысле поэт намного опередил свое «юридическое» время (в объяснении центральной проблемы уголовного права — преступления и понятия о нем). Правда, современного юриста могут смутить слова Пушкина о преступных мыслях, как будто расходящиеся с нашим пониманием основания уголовной ответственности как обязательного совершения лишь общественно опасного деяния (мысли вне деяния — за пределами уголовной ответственности). На этот счет можно выдвинуть гипотезу о том, что Пушкин скорее всего под преступными мыслями и понимал объективированное выражение этих мыслей, нашедших свое воплощение в деянии, а не мысли сами по себе.

Говоря о пушкинском понимании оснований уголовной ответственности, следует отметить, что в литературоведении активно обсуждается (в связи с пушкинской поэмой «Анджело») вопрос об отношении поэта к наказуемости намерений, а не действий. «Анджело» является высокохудожественным пересказом комедии Шекспира «Мера за меру» (при этом Пушкин изменил в своей поэме ряд сюжетных линий по сравнению с шекспировской комедией).

Анджело — главный герой поэмы возрождает смертную казнь за прелюбодеяния. Первой жертвой вновь вводимого наказания должен стать молодой Клавдио. Однако в строгом правителе Анджело внезапно просыпается «преступная» страсть к юной сестре Клавдио — Изабелле. Не в силах совладать со своими чувствами он предлагает ей искупить собственным «грехом» наказуемый поступок ее брата, т. е. сам становится на путь прелюбодеяния. Правда, исполнить свое намерение ему не удалось, так как под видом Изабеллы и по сговору с ней в виде жертвы уже его прелюбодеяния выступила его собственная молодая жена. Тем не менее намерения Анджело разоблачены и его по им же введенному закону ждет смертная казнь, но милосердие мудрого правителя Дука спасает героя поэмы от грозящего ему наказания.

По мнению Ю. М. Лотмана, Анджело остался невиновен перед буквой закона: был готов совершить преступление, но не совершил его²⁷. Эту позицию разделяет и С. А. Фомичев²⁸. Такое понимание пушкинской концепции вполне вписывается в правовые воззрения поэта, однако противоречит законодательным (уголовно-правовым) установлениям как пушкинского времени, так и сов-

ременным. С. А. Фомичев в подтверждение своей позиции приводит фрагмент из «Духа законов» Монтескье. В трактате «О мыслях» Монтескье посвятил отдельную главу вопросу о неподсудности намерений: «Некто Марсий видел во сне, что он зарезал Дионисия. Дионисий велел его казнить, говоря, что верно бы не приснилось ему того ночью, если бы он о том не думал днем. Поступок сей можно назвать великим мучительством; ибо если бы он и точно о том думал, однако же не исполнил своего намерения. Законы должны наказывать одни только наружные действия»²⁹. С этим утверждением Монтескье сравнивается понимание этого вопроса лицейским учителем правоведения Куницыным: «Одно намерение, за которым еще не последовало никакого вредного действия, не дает властителю права употреблять за оное наказание; ибо права других нарушают не помышление, а дела»³⁰.

Воззрения и Монтескье, и Куницына соответствуют современным пониманиям оснований уголовной ответственности лишь за общественно опасные и уголовно-противоправные действия, то есть истины. Однако ситуация, описанная Пушкиным в «Анджело», по своему юридическому содержанию, иная. Дело в том, что намерения Анджело нарушить закон об уголовной ответственности за прелюбодеяние вовсе не остались чистыми намерениями, а объективизировались именно в действиях в физическом смысле, притом самых что ни на есть активных. На языке нашего уголовного закона они именуется, например, «понуждением женщины к вступлению в половую связь» (ст. 118 УК РСФСР). Возвращаясь к пушкинской эпохе, следует сказать, что в русском уголовном праве и уголовном законодательстве западноевропейских стран существовал такой состав преступления, как «склонение к любодеянию». Это склонение и есть начало реализации намерений «прелюбодея», хотя и не связанное с достижением им конечной поставленной цели. Это своего рода покушение на прелюбодеяние, оконченный состав которого образует самостоятельное преступление и наказывается всегда строже. Кроме того, европейская уголовно-правовая доктрина и в XIX и даже в XVIII веках под преступным деянием понимала не только деяние, наносящее фактический вред, но и деяние, заключающее в себе опасность причинения такого вреда, что являлось предварительной преступной деятельностью (приготовлением к преступлению или покушением на преступление). Например, в своем рукописном курсе Российского уго-

ловного права профессор Казанского университета Г. Солнцев в 1820 году различал три вида покушения: отдаленное, менее отдаленное и самое ближайшее. Первый его вид («состоит в том, когда кто-либо предпримет еще приготовительные только действия к совершению преступления, например, когда для умерщвления кого-либо ядом еще только изготавливает оный и в сем своем приготовительном действии будет кем-либо обнаружен») и третий («состоит в оконченном преступном предприятии, но коего ожидаемые действия невоспоследовали по какой-либо особенной причине, т. е. когда злодей совершит все деяния, могшие произвесть за умышленное им преступление, но оные на самом деле не возымели по чему-либо преднамеренного действия»)³¹ соответствовали действовавшему тогда русскому уголовному законодательству.

Другое дело, что и Ю. М. Лотман и С. А. Фомичев безусловно правы, связывая пушкинское понимание вопроса о неподсудности намерений в связи с расправой Николая I над декабристами, главной виной которых считалось намерение цареубийства. Сами осужденные заявляли об этом предельно откровенно. Например, М. С. Лунин замечал, что осужден за преступления, которые он мог совершить, и сочинения, которые собирался опубликовать³².

Против чрезмерного расширения сферы уголовно-правового регулирования Пушкин выступает в своей «Заметке при чтении т. VII гл. 4 «Истории государства Российского» Карамзина, который утверждает: «где обязанность, там и закон». Пушкин же замечает: «Г-н Карамзин неправ. Закон ограждается страхом наказания. Законы нравственные, коих исполнение оставляется *на произвол* каждого, а нарушение не почитается... преступлением, не суть законы гражданские» (7, 525). Думается, что такое разграничение уголовно-правовых актов и нравственных запретов, основанное на учете формально-юридического момента, — их связи с соответствующими санкциями, не устарело и на сегодняшний день.

Художественное воплощение под пером Пушкина получило и решение едва ли не «вечной» юридической проблемы — справедливости наказания, соотношение справедливости и гуманизма. Вопрос этот широко обсуждается в литературоведении (преимущественно путем анализа поэмы «Анджело» и повести «Капитанская дочка»). По этому поводу пушкинистами высказаны различные суждения, но, как это ни странно, в спор о пушкин-

ской трактовке этих правовых проблем юристы пока не вмешивались.

В «Капитанской дочке» предметом дискуссии является трактовка финальной части повести — разговора Маши Мироновой с императрицей, принявшей окончательное решение по делу Гринева.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехал подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

... Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха...» (6, 536, 539)

Ю. М. Лотман считает, что в этом случае «милость» побеждает формальное правосудие (юридическую справедливость, справедливость закона). «Судьба Гринева, — пишет он, — осужденного и, с точки зрения формальной законности дворянского государства, справедливо, — в руках Екатерины II. Как глава дворянского государства Екатерина II должна осуществить правосудие и, осудить Гринева»³³. Следовательно, прощение Гринева есть следствие милости, а не правосудия. К этой точке зрения присоединяется В. Э. Вацуро³⁴. Н. Н. Петрунина также считает, что Маша «одерживает победу, заставляя формальный закон отступить перед голосом человечности»³⁵.

По-иному оценивает указанный эпизод Г. П. Макогоненко. Его позиция представляется нам предпочтительней. Он справедливо обращает внимание на то, что суд осудил Гринева несправедливо, незаконно, что обвинение его в измене — это вымысел, не соответствующий фактам настоящего поведения Гринева. «Он был осужден потому, что судьи были предубеждены против Гринева и что основой этой предубежденности являлся донос Швабрина», который был «откровенной ложью, грубым оговором»³⁶. Таким образом дело в конкретном случае заключалось не в милости, возвышающейся над правосудием, а в справедливости правосудия.

Другое дело, что дискуссия (и с той и с другой стороны) зря ограничилась лишь противопоставлением милости и правосудия, гуманизма и юридической справедливости.

ности. Одно не должно противоречить другому. В идеале уголовный закон должен объединять в себе эти качества. Не случайно, например, проект Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, подготовленный и вынесенный на всенародное обсуждение в период происходящей в стране перестройки, в ст. 3 («Принципы уголовного законодательства») наряду с законностью, демократизмом, неотвратимостью ответственности, равенства граждан перед законом, личной и виновной ответственностью называет и принципы справедливости и гуманизма³⁷.

Если же исходить из того, что Екатерина II как «просвященная» государыня «возвысилась» над формальным законом, заставлявшим ее согласиться с осуждением Гринева, то следует признать правильной данную Ю. М. Лотманом трактовку пушкинского понимания соотношения человечности и политики. «В основе авторской позиции лежит стремление к политике, возводящей человечность в государственный принцип, не заменяющий человеческие отношения политическими, а превращающий политику в человечность. Но Пушкин — человек трезвого политического мышления. Утопическая мечта об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политических реальных систем, которые могла предложить ему историческая действительность... Поэтому стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих духовных движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма...»³⁸. По этому поводу можно сказать, что вот тот случай, когда пушкинские идеалы, и в самом деле, для его (да и последнего) времени бывшие утопическими, в преддверии XXI века начинают превращаться в действительность. Переход к новому мышлению в политике (как внутренней, так и внешней) в международных отношениях вполне реально возводит человечность в государственный и межгосударственный принцип, превращает политику в человечность. Этим обусловлено изменение оценки соотношения классовых и общечеловеческих интересов, признание первых подчиненными по отношению ко вторым.

Анализ пушкинских произведений (как художественных, так и публицистических) не может не привести к выводу о том, что поэт принципиально отвергал жестокие

наказания. Например, отвратительные по своей неимоверной жестокости сцены смертной казни приводит Пушкин из собрания сочинений архиепископа белорусского Георгия Конисского, рецензию на которое поэт поместил в первой книге своего «Современника» за 1836 год. Рецензент соглашается с автором в том, что «казнь оная была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устало бы самых зверей и чудовищ»³⁹.

Близки к этому и изображения смертной казни Пугачева и его сподвижников в «Истории Пугачева». Пушкин прямо не высказывался «за» либо «против» смертной казни как уголовного наказания (в отличие, например, от Льва Толстого, принципиально отвергавшего ее). Однако думается, что вполне обоснованно можно выдвинуть гипотезу о том, что поэт также в принципе отвергал это жестокое наказание. В пользу этого можно привести ряд доводов. Во-первых, художественное изображение сцен казней в целом ряде пушкинских произведений (и не только в названных) не могло не пробудить у читателей чувства отвращения к этим жестокостям и несогласие с ними. Во-вторых, вернемся к пушкинскому отношению к смерти Заремы в наказание за совершенное ею убийство Марии:

В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Таким образом, по Пушкину, даже за убийство смертная казнь не являлась необходимой и обоснованной. В этом же ключе можно трактовать и отказ от кровной мести в «Тазите», крайне нетипичный для того времени. Думается, что отрицание кровной мести — это позиция автора, а не прототипа реального человека, изображенного в «Тазите». Любопытно также сравнить художественное решение проблемы кровной мести у цыган, данное применительно к одинаковой ситуации Пушкиным и, например, Горьким. Если у Горького в рассказе «Макар Чудра» старый солдат Данило, отец Радды, тут же убивает Лойко в ответ за смерть дочери, то, как известно, Пушкин решил этот вопрос совсем иначе («мы не терзаем, не казним»). Этнографически горьковское решение ближе к истине, типичнее. Трудно предположить, что Пушкин, бу-

дучи в Молдавии, близко наблюдавший жизнь и нравы цыган, не знал об обычае кровной мести. Дело, видимо, не в этом, а в принципиальной авторской позиции.

Косвенным аргументом в пользу нашей гипотезы может служить и отношение поэта к Н. С. Мордвинову, адмиралу, государственному деятелю, пользовавшемуся авторитетом среди декабристов и даже намечавшимся ими во временное правительство. В 1826 году поэт посвятил ему свое стихотворное послание, в котором старый адмирал сравнивался со сподвижником Петра I Яковым Долгоруким («В советах недвижим у места своего, стоишь ты, новый Долгорукий»). Последний отличался смелостью и независимостью и как-то даже ввиду несогласия разорвал указ, подписанный царем. Для такого сравнения у поэта были веские основания. По одному вопросу Мордвинов и в самом деле занял чисто «долгоруковскую» позицию. Вскоре после восстания на Сенатской площади, 22 декабря 1825 г. он подал Николаю I записку, в которой выступал против смертной казни. Нетрудно предположить, что момент был выбран не случайно. Разумеется, что Мордвинов имел в виду предстоящую судебную расправу над декабристами. Свою позицию он отстаивал и как член Верховного уголовного суда, специально созданного для процесса над ними. Он был единственным из членов этого суда, не подписавшим смертный приговор и категорически высказавшимся против смертной казни.

В свете сказанного, видимо, будет правомерным толковать и следующие строки пушкинского «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал. (3, 373).

«Чувства добрые», «милость к падшим» — все это, разумеется, шире обсуждаемой проблемы, но то, что она вписывается в общее гуманистическое направление пушкинского творчества, это, по нашему мнению, несомненно.

Говоря о пушкинском понимании проблемы преступления, наказания и оснований уголовной ответственности, нельзя пройти мимо того, что непреходящими и полностью современными являются взгляды поэта на неотвратимость ответственности как одного из важнейших принципов права и правосудия. Особенно глубоко эта проблема решена Пушкиным в поэме «Анджело»:

В суде его дремал карающий закон,
Как дряхлый зверь уже к ловитве не способный...

...Зло явное, терпимое давно,
Молчанием суда уже дозволено...

Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы (4, 351).

К вопросу об идее неотвратимости уголовной ответственности Пушкин возвращается и в своих дневниковых записях 1833 года. Так, 29 ноября он фиксирует следующее событие и свое отношение к нему: «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: ... 3) Выдача гвардейского офицера фон-Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; государь не приказал его судить по законам, а отдал его на суд курляндскому дворянству. Это зачем? К чему такое свое-нравное различие между дворянином псковским и курляндским? Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?» (8, 28). Бринкен Р. Е. был подпоручиком лейб-гвардии Семеновского полка, при помощи разных проделок обворовавший английский и другие магазины в Петербурге.

Пушкин был хорошо знаком с произведениями французских просветителей и в особенности Вольтера. Известно письмо поэта Бенкендорфу от 24 февраля 1832 г. с просьбой разрешить ему пользоваться находившейся в Эрмитаже библиотекой Вольтера (приобретенной еще Екатериной II) для работы над историей Петра I (на этом письме есть разрешение Николая I). Вольтер же в ряде произведений (особенно по вопросам уголовного права и процесса) дал глубокий анализ основных идей выдающегося итальянского просветителя и гуманиста Чезаре Беккария, в том числе и по вопросу предупредительных начал наказания. Имея в виду именно эти идеи, В. И. Ленин отмечал: «Давно уже сказано, что предупредительное значение наказания обуславливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью»¹⁰.

С исторической точностью в своих бессмертных художественных творениях дает поэт и характеристику судопроизводства феодально-крепостнической России. В особенности это нашло отражение в «Дубровском» и «Капитанской дочке». Знание современного изображаемым в них событиям уголовного процесса, которое показывает в них автор, безупречно с профессиональной в юридиче-

ском смысле точки зрения. Можно смело утверждать, что поэт весьма широко и успешно использовал при работе над этими произведениями те многочисленные нормативные материалы и вообще правовую литературу, которая находилась в его личной библиотеке (и о которой уже говорилось в начале этого очерка). Современного читателя-юриста не может не поражать, например, скрупулезно точное с юридической точки зрения, пространное (на нескольких страницах) изложение текста определения уездного суда по делу Дубровского, в результате которого у того незаконно было отобрано имение и попораны его дворянская честь и нравственное достоинство. В действительности же Пушкин фактически использовал подлинный судебный документ по аналогичному делу. В рукописи «Дубровского» вшита копия подлинного дела Козловского уездного суда от октября 1832 года «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову, состоящим Тамбовской губернии Козловской Округи сельце Новопанском». В самой копии Пушкин в некоторых местах исправил фамилии Муратова и Крюкова на фамилии Дубровского и Троекурова. Предполагается, что копия этого тяжбного дела Пушкиным была, вероятно, получена от чиновника Опекунского совета Д. В. Короткого, поверенного Пушкина и Нащекина. Нет нужды говорить о том, что использование документа в художественной прозе (столь характерное, если не модное, например, для нашего времени) введено в литературу еще Пушкиным.

Творчество Пушкина сохраняет в юридическом плане непреходящее значение и как источник изучения судопроизводства феодально-крепостнической России. Так, ярко выраженная кастовость николаевского «правосудия» выпукло очерчена в «Дубровском». Там же исторически точно воспроизведена и продажность судей всех рангов. О пытках, как неизбежных спутниках феодально-крепостнического судопроизводства, поэт говорит и в «Полтаве» (чего стоит только описание пыток Кочубея по поводу якобы зарытых им кладов), и в «Капитанской дочке», и в незавершенной «Истории Петра» (например, описание пытки, которой был подвергнут по приказу Петра царевич Алексей, зафиксированной в материалах его допроса: «его показания, данные им собственноручно, были сначала — твердою рукою писанные, а потом после кнута — дрожащею») и в ряде других произведений.

Беззаконие феодально-самодержавной юстиции Пушкин обнажает художественными средствами путем противопоставления закона и правосудия, истины и правосудия (феодально-крепостнического). Так, в «Борисе Годунове» Шуйский на вопрос, почему он, имея на руках доказательство, не избил убийцу царевича Дмитрия — Годунова, отвечает:

А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили. (5, 221).

В то же время законность, по мнению Пушкина, элементарнейшее необходимое условие правосудия. Не случайно даже для юного Пушкина закон ассоциируется со щитом и мечом в борьбе с нарушением прав человека. В известной оде «Вольность» он провозглашает:

Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом. (1, 322).

Известно, что Пушкин был близок к декабристам, в числе которых были и его друзья-лицеисты Пущин и Кюхельбекер. Он переписывался с Рылевым и А. Бестужевым, встречался с Пестелем, спорил с М. Орловым. Вряд ли в беседах с этими и другими декабристами не задевались темы законности и правосудия. Содержание этих бесед проглядывает, например, и через уцелевшие строки сожженной им десятой главы «Евгения Онегина». Характерно в этом отношении и письмо Пушкина к Н. С. Алексееву, датированное 1 декабря 1826 г. Адресат этого письма — один из друзей поэта по кишиневской ссылке (кому Пушкин посвятил ряд стихотворений), служивший при генерале Инзове. Письмо заканчивается четверостишием:

Прощай, отшельник бессарабский,
Лукавый друг души моей —
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей (10, 220).

В советском литературоведении по поводу этой «русской правды» было выдвинуто заслуживающее внимания

предположение, что это был скрытый намек Пушкина на «Русскую Правду» Пестеля. Такая догадка тем более правдоподобна, что перед указанным четверостишием поэт пишет: «Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казенный и не столкнулись где-нибудь». Алексееву, конечно же, было понятно, что И. П. Липранди, привлеченный по делу декабристов, был отправлен из Кишинева в Петербург с фельдъегерем в начале 1826 года, а Пушкин, как известно, также с фельдъегерем осенью того же года был отправлен из Михайловского в Москву к Николаю I. В этом контексте и противопоставление «сказочки арабской» «русской правде» приобретает специфический смысл.

Привлекали внимание поэта и проблемы авторского права («План статьи о правах писателя», «Об издании газеты»). Если бы, например, мы не знали о том, что письмо Пушкина от 16 декабря 1836 года написано действительно самим поэтом, то вполне можно было бы предположить, что оно писалось юристом, притом цивилистом, настолько юридически профессиональны его суждения о российских законах по авторскому праву.

Заканчивая краткий обзор отражения идей законности и правосудия в творчестве поэта, нельзя пройти и мимо, казалось бы, специфически современного вопроса — об ответственности военных преступников. Пусть читателя не удивляет, что хотя этот вопрос нашел свое правовое разрешение лишь в 40-х годах XX века, мысль о наказании военных преступников волновала Пушкина более, чем за сто лет до этого. В его бумагах, обнаруженных после смерти, среди других заметок были «Заметки по поводу «Проекта вечного Мира» Сен-Пьера». В них Пушкин пишет: «Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п. ... Что же касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого остается гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала: у людей довольно других забот»⁴¹. Нетрудно заметить, что слова «великие воинские таланты» и «великие замыслы победоносного генерала» употреблены поэтом в откровенно иронически-издевательском смысле. Сегодня мы говорим об этих генералах проще — «ястребы». Как современно эти строки великого поэта звучат именно сегодня, когда проблема мира превратилась в главную проблему современности, в

проблему существования человечества и цивилизации. Как современны эти идеи сейчас, когда всего лишь несколько лет назад все прогрессивное человечество отметило 40-ю годовщину Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками. Слова Пушкина о гильотине над «победоносными генералами» служат нестарующим предупреждением для тех, кто и сейчас намерен решать любые споры между государствами военным путем. Как здесь не вспомнить Н. В. Гоголя, говорившего, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»⁴². По крайней мере, прошедшие после его гибели 150 лет высветили такие грани его гения и личности, которые не только отвечают духовному миру современного человека, но несомненно получают свое дальнейшее развитие и в будущем.

* * *

На этом заканчивается рассмотрение юридического или около юридического аспектов пушкинской темы. Жизненные точки соприкосновения гениального поэта с правом и правосудием своего времени так или иначе понятны. Каждый человек и в пушкинскую эпоху и в наше время неизбежно многими нитями связан с правовыми реалиями. Дело лишь в степени этой привязанности. Одним удастся ограничиться оформлением различного рода документов, знакомством с нотариусом, заключением тех или иных дозволенных и носящих юридический характер сделок. Другим суждены более тесные связи, а третьим — даже превратиться в объект уголовного и иного судопроизводства. И в этом отношении Пушкину «повезло» куда больше, чем людям его круга (и, слава Богу, что бенкендорфы его времени не додумались до изобретения «двоек», «троек», особых совещаний и *гулагов* еще очень недавнего нашего прошлого). Привлечение же внимания к существованию определенных связей творчества гения с правовой материей, на первый взгляд, может и насторожило читателя. Не попытка ли это «сделать» из Пушкина юриста? Понятно, что высочайшие вершины его поэтического искусства и предельная заземленность и заведомая казенность юридического бытия, по идее, должны противоречить друг другу как «лед и пламень» (что делать, и здесь не обойтись без пушкин-

ского, из «Евгения Онегина», сравнения!). Однако все это является неожиданным лишь вначале. Ведь мы уже привыкли к тому, что Пушкин не только поэт и прозаик, но, например, и историк. О Пушкине, как «своем» (и вполне обоснованно), пишут художники и музыковеды, лингвисты-филологи и философы, этнографы и экономисты⁴³. И никакой натяжки здесь нет. Андрей Платонов сравнивал творчество Пушкина с океаном⁴⁴. На самом деле и творения его гения, и сам он — это безбрежный океан, если не космос, способный вместить и вмещающий в себя целые миры, где определенное место занимает и затронутый в этой книге аспект. И дело совсем не в том, какое место он занимает, а в том, что он есть и что привлечение к нему внимания позволяет полнее представить космическое пространство бессмертного пушкинского творчества.

Примечания

- ¹ В. А. Жуковский-критик. С. 259.
- ² Литературное наследство. 16—18. М., 1934. С. 33.
- ³ Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1988. С. 41—42.
- ⁴ Цит. по: Мейлах Б. Жизнь Александра Пушкина. М., 1974. С. 421.
- ⁵ Иванов Вс. Н. Александр Пушкин и его время. М., 1977. С. 75.
- ⁶ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 225.
- ⁷ Архив бр. Тургеневых. Вып. 5. Пг., 1921. С. 93.
- ⁸ См.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982. С. 38.
- ⁹ См.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. Т. 1. М., 1950. С. 164.
- ¹⁰ Кулешов В. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. М., 1987. С. 62.
- ¹¹ Пущин И. И. Указ. соч. С. 59.
- ¹² Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман. А. С. Пушкина. М., 1950. С. 374.
- ¹³ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 407.
- ¹⁴ Декабристы. Избр. соч. В двух томах. Т. 2. М., 1987. С. 413—414.
- ¹⁵ Галатей. 1839. Ч. IV. № 27. С. 55.
- ¹⁶ Белинский В. Г. Собр. соч. в трех томах. Т. 3. М., 1948. С. 596.
- ¹⁷ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. М. — Л., С. 472.
- ¹⁸ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. М., 1931. С. 69.
- ¹⁹ Пущин И. И. Указ. соч. С. 67.
- ²⁰ См., например: Овчинников Р. В. Пушкин в работе над пугачевскими архивными документами («История Пугачева»). Л., 1969. С. 15.

- ²¹ См.: Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л., 1982. С. 29—30. См. также: Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 127.
- ²² Цветаева М. Проза. Кишинев, 1986. С. 392, 398.
- ²³ См.: Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 325.
- ²⁴ Орлов Вл. Радищев и русская литература. Л., 1952. С. 182. См. также: Самвелян Н. Пока сердца для чести живы. М., 1986. С. 111—117.
- ²⁵ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. СПб., 1899. С. 327.
- ²⁶ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 6. С. 302.
- ²⁷ Лотман Ю. М. Идеальная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962. С. 11.
- ²⁸ Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. С. 238.
- ²⁹ Монтескье Ш. О существе законов. М., 1810. Ч. 2. С. 141.
- ³⁰ Кунницын А. Право естественное. СПб., 1818. С. 34.
- ³¹ Курс был опубликован профессором Демидовского юридического лицея Г. С. Фельдштейном. Российское уголовное право, изложенное... Гавриилом Солнцевым. 1820. Ярославль, 1907. С. 92.
- ³² См.: Декабристы в Сибири: «Дум высокое стремленье». Иркутск, 1975. С. 71.
- ³³ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 15—16.
- ³⁴ Вацуро В. Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII. Л., 1986. С. 318.
- ³⁵ Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л., 1987. С. 277.
- ³⁶ Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., 1982. С. 124, 125.
- ³⁷ Бюллетень Верховного Суда СССР. 1988. № 6. С. 23.
- ³⁸ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 16.
- ³⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 6. С. 94.
- ⁴⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 412.
- ⁴¹ Пушкин А. С. Собр. соч. В десяти томах. Т. 6. С. 227.
- ⁴² Гоголь Н. В. Собр. соч. В восьми томах. Т. 7. М., 1984. С. 58.
- ⁴³ См.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени. — В кн.: Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 22—173.
- ⁴⁴ Платонов А. П. Размышления читателя. М., 1970. С. 33.

ДУЭЛЬ ПУШКИНА

СЪ

ДАНТЕСОМЪ-ГЕККЕРЕНОМЪ

ПОДЛИННОЕ ВОЕННО-СУДНОЕ ДѢЛО 1837 Г.

*Издано въ пользу фонда Пушкинскаго Лицейскаго
Общества*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФИЯ А. С. СУВОРИНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13

1900

ВОЕННОСУДНОЕ ДЕЛО *

Произведенное в Коммисии военного суда учрежденной при Лейб-Гвардии Конном полку над Поручиком Кавалергардскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка Бароном Геккереном, Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пушкиным и Инженер-Подполковником Данзасом за произведенную первыми двумя между собою дуэль а последний за нахождение при оной секундантом.

Начато 3 февраля

Кончено 19

1837 года.

С е н т е н ц и я

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Коммисия военного суда учрежденная при Лейб-Гвардии Конном полку над Поручиком Кавалергардскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка Поручиком Бароном Д. Геккереном, Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Александром Пушкиным и Инженер Подполковником Данзасом, преданными суду, по воле высшаго Начальства первые двое за произведенную 27-го числа минувшаго Генваря между ими дуэль, на которой Пушкин будучи жестоко ранен, умер, а последний Данзас за нахождение при оной посредником или Секундантом — находит следующее; между подсудимыми Камергером Пуш-

* Документы из материалов дела приводятся по изданию: Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900.

киным и Поручиком Бароном Д. Геккереном с давняго времени происходили семейныя неприятности, так что еще в Ноябре месяце прошлаго года первый из них вызывал последнего на дуэль, которая однако не состоялась.

Наконец Пушкин 26-го Генваря сего года послал к отцу Подсудимаго Геккерена Министру Нидерландскаго Двора Барону Геккерену письмо, наполненное поносительнаго и обидными словами. В письме сем Пушкин описывая разныя неприличныя поступки против жены его подсудимаго Геккерена, называл их низостью и ничтожностью, погасли в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Далее Пушкин самаго Министра Геккерена называя представителем Коронованной главы, изъяснился, что он родительски сводничал своему сыну и руководил неловким его поведением внушал ему все заслуживающия жалости выходки и глупости которые позволил себе писать и подобно старой развратнице сторожил жену его Пушкина во всех углах, чтобы говорить с ней о любви к ней незаконнорожденнаго сына и когда он оставался дома больной венерическою болезнью говорил, что умираит от любви к ней бармотал ей возвратить ему его. В заключение Пушкин изъясняя желание чтобы Геккерены оставили дом его и неговорил жене его казарменные коломбуры, назвал его подлецом и негодяем. Министр Нидерландский Барон Геккерен будучи оскорблен помещенными в сем письме изъясненными словами, того ж числа написал от себя к Пушкину письмо с выражениями показывающими прямую готовность к мщению для исполнения коего избрал сына своего Подсудимаго Поручика Барона Геккерена который на том же сделал собственноручную одобрительную надпись. Письмо сие передано было Пушкину чрез находящагося при французском посольстве Графа Д. Аршиака, который настоятельно требовал удовлетворения оскорбленной чести Баронов Геккеренов. По изъясненному на сие Пушкиным согласию, назначена между ним и подсудимым Геккереном дуэль, к коей секундантами или посредниками избраны были со стороны Пушкина Инженер Подполковник Данзас, а от Геккерена помянутый граф Д. Аршиак выехавший уже как из дела видно за границу. Дуэлисты и Секунданты по условию 27-го Генваря в 4 часа вечера прибыли на место назначения лежащее по Выборгскому тракту закомендантскою дачею в рощу. Между Секундантами положено было стрелятся соперникам на пистолетах в расстоянии 20 шагов так чтобы каждый имел право подойти к барьеру на 5-ть шагов и

стрелять по соперника неожидая очереди. — После сего Секунданты зарядив по паре пистолетов, отдали по одному из них противникам, которые по сделанному знаку тотчас начали сходиться: первый выстрелил Геккерен и ранил Пушкина так, что сей упал, но несмотря на сие Пушкин переменяв пистолет, который засорился снегом, другим, в свою очередь тоже произвел выстрел и ранил Геккерена, но неопасно. На сем поединок кончился и как соперники, так и посредники их возвратились по домам, где Пушкин как выше значит, от раны умер.

По формулярным икондуитным спискам показано Подсудимым Инженер Подполковнику Данзасу от роду 37 лет из дворян сын Генерал-Майора, в службу поступил из Императорского Царскосельскаго Лицея Прапорщиком 1817 Ноября 7-го, Подпоручиком 819 Апреля 26, Поручиком 823 Декабря 2, Штабс Капитаном 828 Генваря 1-го, Капитаном 828 Августа 30, Подполковником 836 Генваря 28, в походах и домовых отпусках находился, в штрафах не бывал, к повышению чина всегда аттестовался имеет ордена Св. Владимира 4 степени с бантом, серебряные медали: в память походов против Персиян 1826, 1827 и 1829 и за Турецкую войну 1828 и 1829 года установленные и золотую полусаблю с надписью за храбрость. Поручику Барону Геккерену от роду 25 лет из воспитанников Французскаго Королевства Военнаго училища Сант-сир, при вступлении в службу Корнетом 1834 Феврала 8-го, наверноподданство России не присягал. Поручиком 1836 Генваря 28, в походах домовых отпусках в штрафах и арестах не бывал, к повышению чина аттестовался достойным.

Комиссия военного суда соображая все вышеизложенное подтвержденное собственным признанием подсудимого Поручика Барона Геккерена находит как его, так и Камергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещеннаго законами поединка а Геккерена и в причинении пистолетных выстрелов Пушкину раны, от коей он умер, приговорила Подсудимаго Поручика Геккерена за таковое преступное действие по силе 139 Артикула воинскаго Сухопутнаго устава и других под выпискою подведенных законов повесить, каковому наказанию подлежал бы и Подсудимый Камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить а подсудимаго Подполковника Данзаса, хотя он и объясняет Коммисии что при изъявлении согласия быть посредником при вышеобъясненном произшествии спрашивал секунданта с про-

тивной стороны Графа Д. Аршиака не имеет ли средств к примирению ссорящихся миролюбиво, которой отозвался что нет ни каких, но как не поступил по всей силе 142 воинского Артикула, недонес заблаговременно Начальству о предпринимаемом ими злом умысле и тем допустил совершится дуэли и самому убийству, которое отклонить еще были способы то его Данзаса подолгу верноподданного неисполнившего своей обязанности по силе 140 воинского Артикула повесить. Каковой приговор Подсудимым Поручику Барону Геккерену и Инженер-Подполковнику Данзасу объявить и объявлен, а довоспоследовании над ними конфирмации на основании доклада Генерал Аудитора Князя Салагова от 18 июля 1802 года содержать под строгим караулом.

В прочем таковой свой приговор представляет наблагоусмотрение Высшаго Начальства заключен в С. Петербург Февраля «19» дня 1837 г.

Корнет *Осоргин.*

Корнет *Чичерин.*

Поручик *Анненков.*

Поручик *Шигорин.*

Штабс-Ротмистр *Балабин.*

Ротмистр *Столыпин.*

Флигель-Адъютант Полковник *Бреверн 1.*

Аудитор *Маслов.*

З а п и с к а

Составленная Коммисиею военного суда учрежденною при Лейб-Гвардии Конном полку, воисполнение ВЫСОЧАЙШЕЙ воли объявленной Коммисии по Команде о мере прикосновенности к дуэли бывшей 27 числа минувшаго Генваря между Камергером Пушкиным и Поручиком Кавалергардскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка Бароном Геккереном Иностраннных лиц

Кто Имянно.

Мера Прикосновенности.

Министр Нидерландский Барон Геккерен.

По имеющемуся в деле письму убитаго на дуэли Камергера

Пушкина видно, что сей Министр будучи вхож в дом Пушкина старался склонить жену его к любовным интригам с своим сыном Поручиком Геккереном. По показанию Подсудимаго Инженер Подполковника Данзаса основанном на словах Пушкина, поселял в публике дурное о Пушкине и Жене его мнение на счет их поведения, а из собственного Его Барона Геккерена письма писаннаго к Камергеру Пушкину в ответ на вышепомянутое его письмо, выражениями онаго показывал прямую готовность к мщению, для исполнения коего избрал сына своего Подсудимаго Поручика Барона Геккерена.

Состоящий при Французском посольстве Д. Аршиак, выехавший уже за Границу.

По имеющимся в деле собственноручным его письмам и показаниям Подсудимых Поручика Барона Геккерена и Инженер Подполковника Данзаса, находился со стороны Геккерена при произведенной им с Камергером Пушкиным дуэле Секундантом или посредником и в настоящем требовании со стороны Пушкина Секунданта.

Находящийся при Английском посольстве Господин Мегенс.

По показанию Подсудимаго Инженер Подполковника Данзаса сообщенному ему Секундантом Подсудимаго Поручика Барона Геккерена Гр. Д. Аршиаком, о имевшей быть между Камергером Пушкиным и Поручиком Бароном Геккереном дуэли знал накануне, послучаю приглашения его первым на балле у Графине Разумовской со стороны своей быть свидетелем оной.

Корнет *Чичерин*
Корнет *Осоргин*
Поручик *Анненков*
Поручик *Шигорин*
Штабс-Ротмистр *Балабин*
Ротмистр *Столыпин*
Флигель-Адъютант Полковник *Бреверн 1*
Аудитор *Маслов.*

МИНИСТЕРСТВА ВОЕННОГО

ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТОРИАТСКАГО

Отделения 4.

Стола 1.

№ 16.

По отношению Командующаго Отдельным Гвардейским Корпусом, с препровождением на ревизию военно-суднаго дела, о Поручике Кавалергардскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка *Бароне Де-Геккерене* и состоящем при С.-Петербургской Инженерной команде по строительной морской части Инженер-Подполковнике *Данзасе*, сужденных по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению: Геккерен запроизведенную им 27-го Генваря 1837 года с Камер-Юнкером двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Александром Пушкиным дуэль с причинением ему Пушкину раны от коей он вскоре умер, а Данзас за бытность при той дуэли со стороны Пушкина секундантом.

Началось 11-го Марта }
 } 1837.
Кончено 18-го Марта }

На 234 листах.

4 отдел.

Связка 25.

МИНИСТЕРСТВО

ВОЕННОЕ.

В Придворную Контору.

ДЕПАРТАМЕНТ
АУДИТОРИАТСКИЙ.

КАНЦЕЛЯРИЯ

Стол 2.

САНКТПЕТЕРБУРГ

16 Марта 1837

№ 889-й

Аудиториатский Департамент покорнейше просит оную Контору уведомить с сим же посланным: какое имел звание умерший от полученной на дуэли раны Пушкин, Камер-Юнкера, или Камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Подписал Генерал-Аудитор Ноинский: — Скрепил Правитель Канцелярии Дыздарев

Верно. Столоначальник *Полторацкий*.

Аудит. № 1720.

Получ. 16 Марта 1837.

МИНИСТЕРСТВО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА.

В Аудиториатский Департамент
Военного Министерства.

ПРИДВОРНАЯ
КОНТОРА

по 3 Экспедиции.

в С. ПЕТЕРБУРГ.

16-го Марта 1837.

№ 1355.

В следствие отношения онаго Департамента, от сего 16 Марта за № 889, Придворная Контора честь имеет уведомить, что умерший 29-го прошедшаго Генваря Титулярный Советник Александр Пушкин, состоял при ВЫСОЧАЙШЕМ Дворе в звании Камер-Юнкера.

Советник *Иван Яников*.

Секретарь *Иванов*.

**Наумов
Анатолий Валентинович
«ПОСМЕРТНО ПОДСУДИМЫЙ»**

Редактор
Т. С. Парфенова
Художник
В. А. Сидорова
Художественный редактор
А. Б. Бобров
Технический редактор
Н. Л. Федорова
Корректор
Л. Г. Кузьмичёва

ИБ №2441

Сдано в набор 10.12.90. Подписано
в печать 13.03.92. Формат 84×108¹/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура таймс. Печать высокая.
Объем: усл. печ. л. 17,64; учет.-изд. л. 20,52.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 86.

Качество иллюстраций обусловлено
использованием архивных фотографий.

Издательство «Российское право»,
МП «Вердикт».
121069, Москва, Г-69, ул. Качалова,
д. 14.

Ярославский полиграфкомбинат
Министерства печати и информации
Российской Федерации.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Поправки

На стр. 145 строка 7 сверху
напечатано: 1875,
следует читать: 1879.

На стр. 306 строка 3 снизу
напечатано: Б. Л. Модзалевским,
следует читать: Л. Б. Модзалевским

Зак. 86.

28. Гелв. 16

30

Полицию Эзнако, что беру
 таку по полиции, да третью Тору
 задан Команданткою. Дали, при
 ма дуэль, могоду Клант
 Александром Тушкинъ и
 тиломъ Кавшигардскис
 гсства Полка Бомонина
 первый шагъ нисъ ра
 ного гсствъ брзога, а на
 правую руку на ввме
 Конюдино въ брзога.
 привитъ гсствъ
 Его Превосходител
 Михайло Арс
 отакости офи
 Превосходит
 Стари
 Дителъ 88-
 нь Вашему
 нью гсствъ чомсвъ
 у Возмощъ

